

СМОЛНА

ISSN 0131 - 6656



1'94

ДМИТРИЙ КОРСАКОВ ■ ФАВОР И ПЛАХА

АЛЕКСАНДР БЕНУА ■ ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЖИВОПИСИ В XIX ВЕКЕ

ДИПЛОМНИ БЕГЕСАД - ИСАЯ ИСАИИНА ДУСЛУК ИСАИИНА



«ФРАГМЕНТ». *Конкурс знатоков мировой живописи.*

(Читайте стр. 55)



194 СМЕНА

**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ**
Основан в январе 1924 года.

Главный редактор
МИХАИЛ КИЗИЛОВ

Редколлегия:

ВАЛЕНТИНА БОЧАРОВА
ВАЛЕРИЙ ГУРИНОВИЧ
БОРИС ДАНЮШЕВСКИЙ,
зам. главного редактора

НИКОЛАЙ ЛЕВИЧЕВ
СЕРГЕЙ ПОПОВ,
зам. главного редактора

МИХАИЛ ТЕЛИЧКИН
ВИТАЛИЙ ФЕДОРОВ,
главный художник

ТАМАРА ЧИЧИНА

Оформление
ВАЛЕНТИНА ДАВИДОВА
**Художественно-
технический редактор**
АЛЕКСАНДРА ГУСЕВА

Сдано в набор 20.10.93.
Подписано к печати 15.11.93.
Формат 84×108 $\frac{1}{2}$.
Бумага «Газетная».
Печать офсетная.
Усл. п. л. 15,54.
Усл. кр.-отт. 17,64.
Уч.-изд. л. 23,10.
Тираж 167 500 экз.
Заказ № 895.
Цена свободная.
101457, ГСП, Москва,
Бумажный проезд, 14.
212-15-07 — для справок.
250-29-39 — отдел рекламы
и реализации.
250-49-98 — отдел писем.
Факс (095) 250-59-28.
Журнал зарегистрирован
в Министерстве печати
и массовой информации
Российской Федерации. Рег. № 166.
Учредитель —
коллектив редакции
журнала «Смена».
Рукописи, фото и рисунки
не возвращаются.
Типография издательства
«Пресса», 125865, ГСП, Москва,
А-137, ул. «Правды», 24.

1 (1551) ЯНВАРЬ

© Издательство «Пресса».
© «Смена», 1994.

В НОМЕРЕ:

Проза

26

ВЯЧЕСЛАВ ДЁГТЕВ. 7.62
Документальный рассказ

62

ВИКЕНТИЙ ВЕРЕСАЕВ. ЖЕНА ПУШКИНА

146

МИККИ СПИЛЛЕЙН. ЛИКВИДАТОР
Рассказ

184

ДЖЕФФРИ КОНВИЦ. СТРАЖ-II
Мистический роман

Поэзия

50

ТАТЬЯНА БЕК

112

НИКОЛАЙ ПЕРЕСТОРНИН

Человек и общество

6

ВЛАДИМИР БУТ. КРЫЛАТАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

36

СЕРГЕЙ СМОРОДКИН. ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ ЕЛЬЦА...

83

ФОТОВЕРНИСАЖ ГЕННАДИЯ БОДРОВА

98

АЛЛА БОГДАНОВА. ТРАВЛЯ

108

НАТАЛЬЯ ОЛЕГОВА. ВСЕГДА ОДНА,
ВСЕГДА СОЛИСТКА

117

ЕЛЕНА ЦЫГАНКОВА. ДЕШЕВЛЕ БАТОНА ХЛЕБА

162

ДМИТРИЙ КОРСАКОВ. ФАВОР И ПЛАХА
Исторический очерк

На нашей
обложке:
**ВЛАДИМИР
БОРОВИКОВ-
СКИЙ.**
Портрет
М. И. Лолухиной.
(Читайте
стр. 122)



■ **В. ФИЛАТОВ.** «БУНТ».

«На рубеже двух эпох — между Петром и его «тишайшим» отцом Алексеем Михайловичем — лежит смутная, бурная эпоха, полная заговоров, убийств и крови. В эти необыкновенные годы резко выделяется небывалая на Руси фигура царевны-правительницы. Не только русская жизнь, но ни преданья, ни сказки не знают такого чуда, чтобы царь-девица правила государством...»

■ **ВЛАДИМИР КОРНИЛОВ.** «ИСПОЛИН».

Почему и сегодня, спустя почти два века после написания, интересны нам стихи Гавриила Державина...

■ **ДЖЕФФРИ КОНВИЦ.** «СТРАЖ-II».

«— Ты избранник Господа Бога — нашего заклятого врага и тирана, — произнес Чейзен. — И ты должен будешь охранять от нас вход на Землю. Ты — тот самый человек, который должен взять в руки скипетр Божий. Но ты и тот, кого мы должны уничтожить — иначе нам не видать свободы... И теперь настал твой черед принимать решения и действовать. Если ты все сделаешь правильно, то станешь одним из нас, и мы вознесем с тобой к самым высотам Греха и Смерти! А твое имя будет навеки прославлено и на том, и на этом свете. Для этого ты должен сейчас собственной рукой умертвить свое тело. Ибо нет для тебя иного выхода!..»

Читайте окончание романа Джеффри Конвица «Страж-II».

АНОНС

ИЗМЕНЧИВАЯ ИЗМЕНЧИВАЯ ЮБИЛЕЙНОЕ...

4

Вот и «Смена» уже 70 лет...

Подумалось прежде всего: как же грандиозно много заключено в этом семидесятилетии — ведь это почти весь путь нашей страны от вихрей революции до сегодняшних дерзаний и борений за лучшую жизнь! И все 70 лет «Смена» была своеобразной художественно-документальной летописью этих событий.

«Смена» жила, росла, мужала и развивалась вместе со всей страной.

В 20—30-е годы журнал отражал те преобразования, которые происходили в экономике и в сознании людей, и прежде всего молодежи.

В годы Великой Отечественной «Смена» стала военным изданием — звала к победе над врагом, печатала произведения, которые учили мужеству и стойкости.

А потом началась эпоха великих строек — и журналисты «Смены» отправились в самые отдаленные районы и края, чтобы зафиксировать печатным словом то новое в развитии общества, что связано было с человеческой деятельностью. БАМ и нефтегазоразработки Тюменского Севера, молодые города Сибири и Нечерноземье — просто трудно сегодня отыскать событие большого общественного значения, которое бы за все прошедшие десятилетия не нашло отражения на наших страницах. Музыка Времени, его ритм, его характер, его движение — вот что всегда интересовало нас и бросало в самую гущу современных проблем.

И в этой музыке Времени мы всегда стремились искать и ценили

молодых людей, кто горит, у кого есть дерзание, есть дело и цель в жизни. Разве, когда вы читали в «Смене» документальные очерки о таких людях, вам самим не становилось легче: ведь они помогали всем нам жить, бороться, добиваться цели.

Это они — молодые, сильные, мужественные, думающие, красивые люди, реальные наши современники, о которых на протяжении семи десятилетий писала «Смена», — делали и ее биографию. Биографию, за которой целая эпоха.

Вспомним сегодня, что именно со страниц «Смени» читатели впервые познакомились с произведениями таких мастеров литературы, как М. Шолохов, Дм. Фурманов, В. Катаев, В. Астафьев, В. Шукшин, Ю. Семенов.

Вспомним благодарно и всех редакторов, литсотрудников и фотокорреспондентов, кто в разные годы увлеченно создавал журнал и чей творческий вклад в «Смену» мы, работающие в ней сегодня, ценим очень высоко и будем ценить всегда.

А самое главное, что наследовали мы от них, — это создание журнала в атмосфере, где нет места интриганству и склокам, умалению труда других, шараханью то влево, то вправо. Нам просто очень нравятся слова Булата Окуджавы: «Ах, были б помыслы чисты — а остальное все приложится!»

Еще признаемся вам, что все журналисты, кто в разные времена служил в «Смене», всегда с особым почтением относились к печатному слову. Потому что, на наш взгляд, нет ничего более значительного, важного и верного, чем слово, когда оно уже напечатано. Как оно прочитается, как скажется и где аукнется? А вдруг — брошенное неосторожно, необдуманно — отзовется нечаянно в чьей-то судьбе? Если есть среди читателей такие, кто носит в себе обиду на нас, простите великодушно сегодня, в дни юбилея.

Скажем «спасибо» и многим-многим ныне здравствующим и активно печатающимся у нас прозаикам и поэтам, критикам и переводчикам, ученым и артистам, художникам и фотографам — без них мы вряд ли имели бы возможность отмечать сегодня наш юбилей.

И самая большая наша благодарность — всем читателям, кто был с нами все эти годы, кто поднимал наши тиражи до миллионов, кто и в сегодняшние трудные времена остается с нами и поддерживает нас.

И, пожалуйста, дорогие наши читатели, не думайте, что мы успокоились, что мы постарели.

Нет, несмотря на свои 70 лет, мы молоды — молоды духом, молоды вкусом жизни, ощущением перспективы, уверенностью в лучшем будущем!

КАЛИСТОВА



ВЛАДИМИР БУТ

АКОЛОЩА

СССР-Л 1956





Как делают самолеты? А кому, собственно, это неизвестно? Я, например, уже в семилетнем возрасте знал, как их делают. Берешь четыре дощечки, скрепляешь крест-накрест гвоздиками, и получается неплохой биплан.

Смогу, пожалуй, рассказать кое-что новое и о том, как делают не игрушечные, а настоящие самолеты, привнести, если хотите, один неожиданный нюанс в то, что, по общему мнению, в наше время досконально известно каждому. Поведать, например, как я тоже делал настоящие самолеты. Не в одиночку, конечно, а... впятером — с Владимиром Калининым, Виктором Сажиным, Семеном Борухманом (в дальнейшем Бор. Семеновым, соответственно его псевдониму) и Васей Мишиным за компанию. И не самолеты, если быть точным, а самолет, маленький такой самолетик на восемь посадочных мест — незаконнорожденное детище прародителя целой плеяды и сегодня еще бороздящих воздушные просторы АНов. Назывался он АН-14 — по фамилии его конструктора Олега Константиновича Антонова. Да, создал полюбившуюся пассажирам безотказную работяжку, нежно нареченную «Пчелкой», Олег Антонов. Но сделали ее...

ИДЕЯ

Гремели литавры, били барабаны, звонили колокола. На жаркий август 1961 года пришелся пик очередного «всенародного» предсъездовского ажиотажа.

Негоже, неразумно было отставать от других и нашей «Смене»: как же так, журнал ЦК ВЛКСМ, трибуна передовой советской молодежи и вдруг не в роли самого боевого застрельщика предсъездовского соревнования? Нелепо и, знаете, чрева-ато...

Сногсшибательную идею предложил Бор. Семенов. Никого, впрочем, это не удивило: Сеня без видимой натуги, как-то сам собой стал заметной фигурой в редакционном «мозговом центре». Тому способствовали многие его личные качества: завидный нюх на конъюнктуру, умение достаточно «не лобово» подыграть ей, несомненная живость и изворотливость ума при отсутствии излишней, скрывающей щепетильности в достижении намеченной цели.

— Предложения, в общем, любопытные... — сделав серьезное лицо, веско сказал Бор. Семенов на заседании «мозгового центра», где обсуждался вопрос: чем бы таким особенным долбануть читателя по кумполу в ответственную предсъездовскую пору? Но, понимаете, «дневники», рейды, переключки... — все это уже сто раз было. У меня тут возникли кое-какие мысли... Что вы скажете, если мы обратимся к авиации?..

Авиация была его коньком. Все знали это, и потому упоминание о ней поначалу вызвало лишь скептические ухмылки. Но потом... Не далее как за полгода до того разговора он, Бор. Семенов, напечатал в журнале, надо надеяться, памятную всем беседу с летчиком-испытателем Сергеем Анохиным. Если кто-то думает, что все самое интересное из услышанного от прославленного аса было в той беседе использовано, так он глубоко ошибается. Кое-что Бор. Семенов приберет на будущее. (Надо же, какая предусмотрительность!) Тогда Анохин проговорился, выдал чужой секрет. И хоть Бор. Семенов дал ему слово «не протрещать», настала пора, решил он, обещанием тем пренебречь, поскольку «секрет», надо полагать, уже стал полишинелевым. А состоял он вот в чем: в Киеве, в КБ Антонова, вне всяких плановых

заданий, по существу, нелегально, сконструировали чудо-самолет...

— Ну и что из того? — спросил кто-то.

— А то, что ни одна душа, кроме нас, об этом не знает.

— Подумаешь, сенсация! Можно, конечно, сделать очерк, но...

— Какой очерк?! — оборвал недотепу Бор. Семенов, даже не повернув головы. — Наш это самолет! Наш, сменовский, понимаете?

— Как то есть наш?

— Очень просто... Идем в ЦК комсомола, пробиваемся к первому, просим подписать письмо на имя генерального конструктора, прикатываем в Киев, приходим к Антонову, так и так, мол, Олег Константинович, разрешите нам полетать на вашей машине по стране... Предсъездовский полет «Смены», улавливаете, братцы?

— На чем? На чертежах?

— Спа-акойно! — поднял руку Бор. Семенов. — Я все разузнал. Готов и даже прошел аэродромные испытания опытный образец.

— Это меняет дело! — решительно сказал наш главный...

У АНТОНОВА

Не знаю, как на других, а на меня Олег Константинович произвел впечатление, житейски выражаясь, самое обыкновенное, даже несколько разочаровывающее. Мы же к чему были приучены газетно-журнальными публикациями, кинохроникой, телеинформацией? Возникает перед тобой очень важный дядя крупной комплекции, со строгим, переходящим в сердитость лицом, в генеральских погонах и целым золотым созвездием на левой стороне могучей груди. А тут... Выходит из-за стола чело-век не то чтобы щуплый, но никак уж не богатырского сложения. Ко-

стю на нем серый, определенно модного покроя, треугольничек платочка торчит из кармашка — платочек почему-то сразу убедил меня: мы имеем дело с начальником интеллигентным, что тут же и подтвердилось, когда он, приветливо улыбаясь, стал здороваться с каждым из нас за руку. И сразу же ничего не осталось у меня от трепета, с которым я переступал порог этого кабинета.

Такое неожиданное послабление моей боязливо-восторженной почтительности проистекло, я думаю, не только по причине доброхарактерности и воспитанности Олега Константиновича, а еще и в большей мере от того, что ни я, ни мои молодые коллеги ни черта толком не знали про выдающегося авиационного конструктора. Ликбез в отношении его мы прошли гораздо позднее. Я, к стыду своему, лишь годы спустя уразумел, с каким человеком мы имели дело. Предоставлю слово тем, кому довелось войти в круг его близких знакомых и друзей. Известный ученый **П. В. Цыбин**: «Он был неустанным искателем способов овладения тайнами природы, развития в людях шестого — «птичьего чувства», чувства полета, которое так облагораживает, возвышает человека. Отсюда страстное увлечение Антонова планеризмом. С создания планеров и начался конструкторский путь Олега Константиновича...» **С. А. Анохин**: «В начале войны ему в сложнейших условиях пришлось срочно организовывать серийное производство семиместного планера А-7, получившего первую премию на конкурсе еще в 1940 году... А-седьмые уходили в ночь, приземлялись с продуктами на борту в блокированном Ленинграде, доставляли оружие, боеприпасы в партизанский край. Партизанам, однако, требовалось еще

и тяжелое вооружение — орудия, танкетки... Тогда-то Олег Константинович и задумал построить крылатый танк. Мне выпало поднять эту необычную машину в воздух. Лишь нехватка мощных самолетов, способных буксировать «крылатый танк», не позволила довести эту конструкцию до боевого применения...» **А. А. Борин**, сотрудник антоновского ОКБ: «Мы работали в тесном контакте с ЦАГИ, нам помогал А. Н. Туполев. «Хороший сарай» — с похвалой отзывался о нашем первом «грузовике». На очереди стояло создание транспортного комплекса из двух машин — АН-10 и АН-12. Вот где понастоящему раскрылся талант Антонова...»

Когда мы приехали в Киев, в конструкторском бюро рождался прославленный «Антей». Создание его требовало от конструктора огромного интеллектуального да и физического напряжения... Но... Вот что значит разносторонняя одаренность природы Олега Константиновича — он ведь был еще и художник, и писатель, великолепно разбирался в музыке — и его неугасающая страсть к планеризму: в тени будущего воздушного гиганта, под его, так сказать, крылышком, тайно от всех, на сэкономленные крохи от многомиллионной государственной субсидии было сконструировано и появилось на свет «дитя любви» — как называл «Пчелку» второй участник этого «несанкционированного» проекта инженер **Ю. Киришнер**. Чудо-самолетик — двухмоторный, восьмиместный, ширококрылый моноплан — стал воплощением авторской мечты о машине, способной парить с выключенными моторами, зависать в воздухе, подобно степной орлице, взлетать и садиться на грунтовом пятачке диаметром в сорок — шестьдесят метров. Единственный опытный

МАРШРУТ ПОЛЕТА

образец АН-четырнадцатого прошел аэродромные испытания, вызвав переполох в местных летных кругах и долгую головную боль у своих прародителей о его дальнейшей судьбе...

Ничего этого мы, журналисты «Смены», повторяю, не знали. Тогда, в начале сентября 1961 года, нас поразило многое: интеллигентный облик генерального конструктора, радушие, с которым принял он посланцев молодежной «Смены», его просторный, светлый кабинет, напоминающий магазин дорогих игрушек: куда ни помотришь, везде макеты антоновских планеров, самолетов — на столе, на тумбочках, полках, иные подвешены к потолку, впечатление такое, будто сюда залетела стая диковинных, не похожих одна на другую бело- и серебринокрылых птиц. Но более всего поразило то, с какой легкостью он согласился предоставить нам «Пчелку» для задуманного предсезонного полета по стране. Мы думали, добиться его согласия будет нелегко, придется долго объяснять нашу идею, уговаривать, а он без обиняков:

— Ну что ж, дело вы, ребята, задумали интересное, я не против, летите...

Щелкнул клавишей на пульте связи, проговорил:

— Разыщите и пригласите ко мне Владимира Дмитриевича.

Десятью минутами позже, представляя нам вошедшего в кабинет рослого, худощавого, смуглолицего человека в белой тенниске и хлопчатобумажных брюках цвета хаки, Антонов сказал:

— Знакомьтесь, Калинин, летчик-испытатель высшего класса. Он первым поднял «Пчелку» в воздух, ему и быть вашим пилотом.

У Калинина крепкая рука, прямой, сразу же располагающий к себе взгляд голубых глаз, скупая, немного застенчивая улыбка. Пока мы обмениваемся рукопожатиями, генеральный объясняет ему, кто мы такие есть и зачем пожаловали.

— А теперь, — приглашающим жестом показывает на висящую на стене огромную карту Союза, — давайте прикинем маршрут.

Прикидка заняла не более получаса. И вот что получилось, понятно, с учетом стоящих перед нами ответственных задач: из Киева летим в Городище под Жашковым, на центральную усадьбу колхоза имени... конечно же, Ленина — затевать серию репортажей и очерков о грядущем съезде, не осеная святым именем, все равно, что служить обедню, не поминая Христа! Далее в Кривой Рог, к металлургам. Тоже ежу понятно — гегемон есть гегемон! Да еще из группы «А», на которой вся наша мощь держится. Потом в Красноперекопск — на трассу знаменитого Северо-Крымского канала. Опять же все ясно — стройка коммунизма, того самого, в котором, как провозгласил Никита Сергеевич, мы все вскорости будем жить... Оттуда берегом Азовского моря до Ростова-на-Дону. Потом прыжок через Кавказский хребет — и мы в Грузии. Тут у нас тема нерушимой дружбы братских советских народов — «Навеки вместе!». Возможно, с тем же самым и в Баку заскочим, поскольку все равно нам лететь в Астрахань, к рыбакам. Пока не знаем, что мы накопим в Астрахани и ее окрестностях, а уж ушицы осетровой отдадем наверняка. Но это так, шутки-малютки. Волга! Вот, что нам требуется. Главная река Рос-

сии! Волго-Дон! Гиганты энергетики! Автомобильный колосс в Тольятти... Словом, есть где развернуться... Наконец, берем курс на север: Пермь, Сыктывкар, Архангельск, Холмогоры, естественно, Ломоносов, от которого, ежели разобратся, так и вся наша наука пошла... Из Холмогор поворачиваем на юго-запад. Петрозаводск. И, наконец, Ленинград! Колыбель революции. Броневики у Финляндского вокзала. Крейсер «Авора»... В заключение намечалось прошвырнуться по Прибалтике и завершить полет в столице партизанского края Минске...

Олег Константинович ни в чем нам не перечил. Но странное у него было в отдельные моменты лицо. Очень серьезное, — затеваемая нами широкомасштабная предсъездовская пропаганда великих достижений — это вам не фунт изюма! — временами оно вдруг начинало странно подергиваться, особенно когда мы наперегонки выдавали на-гора оригинальные свои мысли насчет того, где, что и как собираемся освещать. Олег Константинович отворачивался на несколько секунд и что-то там такое с ним делал. Во всяком случае, нервный тик прекращался. До новой нашей какой-нибудь сногшибательной идеи.

— Ну что ж, — сказал он, не к месту как-то, весело похмыкивая, — маршрут я одобряю. Думаю, четырех недель вам будет достаточно. А теперь можете отдыхать. Нам же с Владимиром Дмитриевичем придется поработать денька два. Надо расписать программу полета по времени, согласовать все с ПВО, а то, не приведи господи, посчитают вас иностранными шпионами, залетевшими в наше воздушное пространство на самолете неизвестной конструкции... С аэродромными службами договориться, чтоб принима-

ли машину и без помех заправляли горючим. В полетном листе поставим «рабочие испытания». Это позволит вам взлетать и садиться где пожелаете, в любую погоду и в любое время...

Хорошо все, что хорошо кончается. Заносило, однако, головы нам не совсем понятное, несколько даже неожиданное и странное: отчего так легко, без малейшей натуги все у нас получилось?

ЛЕТИМ!

В понедельник, в семь утра, мы уже были на аэродроме. «Пчелка» приютилась в стороне от бетонированных взлетных полос. Неожиданно маленькая, серебристая машина оказывается самой заметной здесь — сановитые воздушные лайнеры вызывают куда меньшее любопытство, на нашу кроху смотрят, щурясь от яркого солнца, пассажиры, вышедшие на посадку в элегантный ИЛ. К ней группами и поодиночке подходят пилоты только что прибывших или стоящих на заправке самолетов. С видом знатоков ощупывают «Пчелку» со всех сторон, заглядывают внутрь. Мнения самые разные: «Красивая машина!», «Неуклюжая», «Ничего подобного, симпатичная птичка», «Ну что это за самолет? Шасси не убираются...», «А обзор-то, обзор из пилотской кабины какой отличный!».

Мы не специалисты, мы пассажиры. Но нам известно кое-что такое, чего не знают придирчивые «экскурсанты». К тому же мы уже успели полюбить «Пчелку». Приятно слышать о ней хорошее и хочется «дать сдачи» тому, кто говорит о нашей воздушной «тачке» не очень уважительно. Особенно привередничает щеголеватый блондин — бортрадист с ИЛ-18.

— Улитка, — презрительно кричит он губы, — заклепки торчат наружу. Лишнее сопротивление. При такой аэродинамике у машины должна быть черепашня скорость...

— А, может, в этом-то как раз и вся соль, — неторопливо басит ему в ответ Сажин. Витя в нашей группе старший. Мы безоговорочно согласились с этим, ничего не обсуждая и не распределяя ролей. Способствовали тому и внешняя, и скрытая в нем, но ощутимая всеми нами основательность. Рослый, большеголовый увалень, с крупными чертами лица и несуетливыми черными глазами, строго смотрящими из-под высокого, чуть нависающего лба, был он немногословен, терпелив к нашим подчас импульсивным, излишне эмоциональным речевизлияниям, никому не навязывал своей точки зрения в частых спорах, но почему-то так получалось, что почти всегда суждение его оказывалось решающим. Да и кому, как не ему, сам Бог велел стать лидером в компании балаболитого говоруна Бор. Семенова, хохмача Мишина и... Что сказать о себе? Ограничусь в самооценке «золотой серединой»: не рожденный кем-либо командовать, я столь же органически не способен быть бессловесным исполнителем чужой воли... Что касается Калинина — раз уж зашел разговор о том, кто есть кто в нашем экипаже, то тезка мой, как и всякий капитан, становился полновластным хозяином наших судеб, как только мы рассаживались в креслах пассажирского салона, и превращался в своего парня Володю, когда его «клиенты» покидали борт корабля...

— «Пчелка» может летать не только сравнительно быстро, — продолжает Сажин увещевать скептика бортрадиста, — но и пре-

красно маневрировать на минимальных скоростях — около пятидесяти километров в час, для разбега ей достаточно тридцати пяти, а для посадки сорока метров.

— О-о, это уже интересно! — отступает поклонник больших скоростей...

По травяному полю мы выруливаем на бетонку. И вот старт. Смотрим в иллюминаторы, как бежит мимо серая дорога. И вдруг... Что это? Кажется, машина встала на дыбы. Нас вжимает в спинки кресел. Потом мы валимся набок и видим, как земля встает торчком. Удивительно, как на этой наклонной плоскости удерживаются и не скатываются куда-то вниз стоящие на аэродроме самолеты, автомашины, люди, потом дома, огороды. Все это быстро уменьшается в размерах. «Пчелка» выравнивается и с набором высоты берет курс на юг...

ШТРИХИ И ПОРТРЕТЫ

Первый свой репортаж на страницах «Смены» мы начали, как тогда водилось, с вдохновенной преамбулы: «...Веками мечтали люди о самом справедливом, самом прекрасном обществе на земле. За него боролись и умирали лучшие представители человечества. И вот теперь Коммунистическая партия Советского Союза на весь мир торжественно провозглашает: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!»

Пафос каков! Читаешь это сегодня, более тридцати лет спустя, и приходит на ум: может, мы были чокнутыми? Да вроде бы нет, нормальные мужики. И нормальные служители пера шестидесятых годов... Посему в этой ответствен-

ной командировке мы смотрели на мир вообще и на житье-бытье жашковских тружеников полей в частности с восторженным оптимизмом и наметанным глазом выхватывали прежде всего то, что «работает на идею».

Так какие «думы и чувства волновали в те предсъездовские дни» трудящихся колхоза имени Ленина Жашковского района Черкасской области?

«Жарко в поле. Запрокинув голову, жадно пьет воду комбайнер Николай Билык. Струйки сбегают по щетинистому, запыленному подбородку за расстегнутый ворот промасленного комбинезона. В той стороне, куда он смотрит, до самого горизонта стерня с рядами копен соломы. За спиной несомненное поле. Пшеница по пояс. Под тяжестью колосьев сгибаются стебли, сплетаются в колючие грибы...»

Хорошо работает лучший колхозный комбайнер...

Ну и пускай себе на здоровье работает! Не будем мешать человеку. Тем более что о его «думах и чувствах» нам все уже доходчиво разъяснил в колхозном управлении... заместитель председателя, секретарь партийной организации Николай Степанович Шалаев — «человек средних лет, завидного роста и неподдельного радушия»:

«Ради чего старается хлебороб, чего хочет, о чем мечтает? — сказал он. — Только ли о том, чтобы побольше заработать? Мало этого, слишком мало сегодняшнему колхознику. Не может он сейчас жить по принципу: «У меня всего вдоволь, а до других мне дела нет!»

Это нам подходит. Яркий штрих бескорыстия и заботы об общем благе! Вообще от нас требуется насобирать как можно больше штрихов, признаков, черт комму-

нистической психологии воспитанного партией «нового человека». И что характерно, люди это понимают. Никто не заводит разговоров о каких-нибудь там житейских неурядицах, бедах, личных трудностях, неурстройствах. Порой, правда, возникает ощущение, будто они тоже прекрасненько знают, что хотим мы от них услышать и спешат высказаться в «правильном духе», чтобы... отвязаться от пристающих корреспондентов. Но на данном этапе, опять же «в преддверии...» и с учетом особенностей полученного нами «социального заказа», мы без особых угрызений совести относим это к мелочным издержкам производства высокохудожественных пропагандистских материалов... Вот и передовая доярка Мария Малюх, понимая цель нашего визита к ней и экономя свое и наше драгоценное время, не обременяет нас никакими жалобами, разглагольствованиями о каких-либо собственных проблемах, а сразу, что называется, берет быка за рога: все у нее отлично — коровы дают по 2700 килограммов молока, к осени ферма перейдет на электродойку, начнет строиться Дом животноводов, а в колхозном клубе сегодня — «Свадьба в Малиновке»...

Из Жашкова мы собирались улетать рано утром. Но, как часто случается, возникают какие-нибудь непредвиденные обстоятельства и приходится вносить коррективы в намеченный план действий. Кто-то предложил: «А не слетать ли нам в колхоз имени Пархоменко?» Искушение состояло в том, что представлялась возможность выловить очередной «штрих» — на сей раз вошедшую в плоть и кровь советского человека скромность и полнейшее отсутствие у него презренного чувства зависти. Эталонном в этом плане можно было считать... Да

хоть бы того же партсекретаря Николая Шалаева. «Что мы,— смущенно потупясь, сказал он.— Вы вот к соседям нашим загляните, у них успехи похлеще!»

Такого в Бузовке, где был «прописан» сосед, еще никогда не видели. Самолет приземлился в самом селе, зырулил на шоссе и покати́л прямо к колхозному правлению. По пути мы разминулись с грузовиком. А вот с телегой разминуться оказалось куда труднее. Лошадь не хотела сворачивать. Пришлось уступить ей дорогу.

Такая вежливость окончательно сразила и без того удивленных свидетелей посадки нашей «Пчелки». Особенно неистовствовали высыпающие на улицу мальчишки. Крича, размахивая руками, они со всех сторон ринулись к самолету, и у нас возникло серьезное опасение: не растащат ли они его по частям?..

Шалаев оказался прав. Пархоменцы действительно многого добились. За полчаса, проведенные в правлении, мы узнали, что здесь, на ответственных участках, введена гарантированная оплата труда, налажено бесплатное питание... Невольно вспомнился слух, одно время будораживший воображение москвичей: на каком-то совещании Никита Сергеевич четко заявил, что в столице коммунизм грянет не сегодня-завтра и начнется он с бесплатной продажи хлеба... Мы уже было настроились обыграть это, но вовремя сообразили: перебор получится...

Во время беседы в правлении выяснилось, что из-за поломки встал один из работающих в поле комбайнов. Автомшины, чтобы доставить запасную часть, под рукой не оказалось. Да и ехать было далеко. И тут Бор. Семенову пришла гениальная мысль:

— Давайте деталь, доставим ее к комбайну на самолете!

До последней минуты не хотели принимать это предложение всерьез. Только когда мы, взяв посылку, сели в «Пчелку», люди поверили, что это не шутка.

Самолет благополучно приземлился возле комбайна. Получив запасную часть, изумленный и обрадованный комбайнер только и сказал:

— Вот это да!..

Заключительным аккордом оптимистической «жашковской кантаты» стал преподнесенный нам (в соответствии с разработанной нами же программой) «сюрприз»: комсомольцы колхоза имени Ленина, узнав, что мы направляемся в Кривой Рог, решили послать криворожским домностроителям сноп выращенной ими пшеницы. Нам было велено передать им такое послание: «Наш колхоз собрал рекордный урожай. Мы уверены, что и вы сдержите свое слово и ко дню открытия XXII съезда партии ваша домна вступит в строй!»

ШТРИХИ И ПОРТРЕТЫ

(Продолжение)

Строительство аналогичной домны-гиганта в Бхилаи (Индия) велось три года.

В два года завершилось сооружение такой же в Новой Гуте (Польша).

Криворожская-комсомольская строилась восемь месяцев!

«Секрет» выдающейся победы нам раскрыл Володя Волков, комсомольский секретарь треста «Криворожстрой»:

— Никакого секрета нет. Все дело в наших людях, в их энтузиазме, патриотизме и высочайших нравственных принципах...

И привел пример...

Это было еще зимой, когда

строительную площадку заливали дожди и грунт превратился в густое, липкое месиво. Экскаваторы как бы нехотя ворочали своими ковшами. Самосвалы то и дело вязли на пути к котловану...

Стоп! Знакомая картина. Где-то я читал об этом. И не так уж давно... Ах, да! В «Котловане» Андрея Платонова... Правда, ни экскаваторы, ни самосвалы там не фигурировали. Но и на Криворожской-комсомольской в описываемую зиму (согласно лежащему сейчас передо мной нашему сентябрьскому репортажу шестьдесят первого года) толку от них было не больше, чем от совковой лопаты и тачки платоновских созидателей. В отличие от тех «наши» оказались большими «придумщиками». Как рассказал нам Володя, начались приписки. На бумаге выполнение плана росло как на дрожжах. В бухгалтерских отчетах работа шла далеко за стопроцентным рубежом. В ведомости на зарплату значились только солидные цифры. Экскаваторщики, шоферы — все, кто в те дни работал на грунте, — получали в полтора-два раза больше обычного. С полочки легко можно было купить новый костюм, быстро собрать деньги на аккордеон, частенько дарить дорогие подарки девушкам...

Да-а... большой сдвиг произошел за десятилетия советской власти в сознании потомков платоновских землекопов! Те были счастливы, вкалывая за баланду, «наши» же быстренько отыскивали способ совершить прорыв в опутавшей всю страну колючей проволоке нищенской зарплаты. Осудим их? Зачем? Как с восторгом вещал нам все тот же Володя (а вслед за ним и мы на страницах «Смены»), они сами себя осудили. «Где и когда ребята разговаривались по душам? — патетически

вопросал Володя. — Мы этого не знаем. Но такой разговор состоялся... (Уж не в прокуратуре ли? — **В. Б.**) И ребята пришли в комсомольский штаб! В душе каждого скребли кошки: честность, правдивость, нравственная чистота... Где вы? Разве можно все это поменять на деньги?.. Выложили все, что мучило их совесть. В том числе и деньги, полученные за работу, которую не делали...»

Вот бросил я злую реплику: «Уж не в прокуратуре ли разговаривались ребята?» — а у самого заскребло на душе: может, и правда, засовестились парни? Вспомним себя в шестидесятые годы. Много ли было среди нас прохиндеев? Вспомним полюбившуюся песню: «...А я еду, а я еду за туманом, за туманом и за запахом тайги!» И как же горько было услышать перефраз этих строк в конце семидесятых: «...А я еду, а я еду за деньгами, за туманом едут только дураки!»... Нет, не было «сплошным дурачьем» наше поколение, как, презрительно кривя губы, роняют в наш адрес нынешние преуспевающие молодцы! Обманутым было. Что ж, молодцам «повезло». Они прозрели. Только вот за чей счет? Не будем мелочными, не станем уточнять. Зададимся лишь безобидным вопросом: а сегодня ЧТО ПОНЯЛИ непрерывно хватающие народ за глотку шахтеры, энергетики, бумажники, торгаши-оптовики и прочие монополисты, не говоря уже о разъезжающих в роскошных лимузинах нуворишах, спекулянтах, владельцах разномастных «комков»? Хватай! Рви! Выжимай! Выколачивай!

РЕКОРДНОЕ ВРЕМЯ

Но вернемся в сентябрь шестьдесят первого. На «нашу» домну:

«Случилось так, что поставка оборудования на строительство затянулась. Из-за этого на спуск восьмисоттонного кессона времени не хватало. А задержка со спуском грозила остановить все работы.

«Молнии», словно белые птицы, разлетевшиеся по стройке, возвестили об угрозе прорыва. И тогда пришли в комсомольский штаб два бригадира — Иван Богунец и Иван Додукало. Пришли со своими бригадами.

— Опустим к сроку, — сказал Богунец. — Это точно.

И бригады пошли на кессон. Работали круглые сутки. По колено в грунтовых водах. А по плечам, по спинам, по рукам хлынул ледяной дождь. Так было день за днем, ночь за ночью. 528 часов. Но кессон встал на место. Стройка вошла в график...»

Теперь уже настал наш черед, подобно ошарашенному прилетом «Пчелки» комбайнеру, восторженно воскликнуть: «Вот это да!»...

«Потом возникла угроза нового прорыва — теперь на спуске скиповых ям. Туда ушли работать ребята из бригады Ивана Лещенко. Они повторили подвиг «богунцовцев» и «додукаловцев», поставили невиданный рекорд: спуск двух скиповых ям вместо шести месяцев занял... восемь дней!

И был еще рекорд, который навсегда войдет в летопись домностроения. То был рекорд бригады железнодорожников Ивана Воробьева. Они сооружали стрелочные колесаме переводы буквально под колесами двигающихся шлаковозов...»

Одни, недосыпая, недоедая, неделями без передыха загибаются в ледяной жиже — «спускают кессон», другие на пределе человеческих возможностей горбятся на «скиповых ямах», третьи, нарушая все мыслимые и немыслимые пра-

вила техники безопасности, ни в грош не ставя свои жизни, кидаются под колеса шлаковозов, «сооружая стрелочные переводы»... Что же такое мы описали? И с таким захлебным восхищением? Подвиги? Мы что, забывали истинный смысл этого слова? Да, забывали. Забыли, что подвиг — это когда, рискуя собой, спасают тонущих, гибнущих в огне, когда, обвязавшись гранатами, кидаются под вражеские танки, чтобы не пропустить их к осажденному Севастополю, когда летчик горящего самолета использует последние секунды не для того, чтобы катапультироваться, а чтобы тяжелая машина не рухнула на жилые кварталы города... А при чем тут смертоубийственное строительство «Криворожской-комсомольской» ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ — идиотизм невиданной штурмовщины, «опережение» всех графиков и сроков, за которое в любой цивилизованной стране с «героев» головы бы снимали? И вообще на кой черт нашему вечно полуголодному, полуодетому, гниющему в очередях «советскому гражданину» эта очередная дурища, способная в несколько приемов залить расплавленным чугуном всю Красную площадь? У нас что, все еще мало этого чугуна?

За полгода до нашего предсъездовского полета я побывал на «Азовстали». Собрав материал для очерка о сталеварах, решил поделиться впечатлениями с директором металлургического гиганта. Рослый, седоватый человек, с умными, немного ироничными глазами — увь, не помню его фамилии, — терпеливо выслушивал, как я соловьем разливался о «красоте огненной профессии», о том, какое огромное впечатление имеет она для страны. И еще о том, что он и все его товарищи, от главного инженера до горново-

го, могут гордиться — это им обязаны мы грандиозными успехами тяжелой промышленности: шутка сказать, Америку обогнали по выпуску стали!.. Тут он не выдержал — поглядев, как на Богом обожженного дурачка, огорошил меня фразой, смысл которой я просто отказывался понимать.

— Американцы сокращают производство стали.

— Как?! Почему? Кризис, что ли?

— Нет, не кризис, — усмехнулся мой собеседник. — Им она не требуется в таких объемах, в каких выплавляем мы. Химия у них сильна. На многих производствах сталь заменяют синтетическими материалами.

— Да, но... — растерянно попытался я подыскать убедительные аргументы в защиту наших «ста пятидесяти миллионов тонн». — Помните, Сталин говорил: «Нам не будет страшен никакой враг, если мы доведем выпуск стали до шестидесяти миллионов». А тут... сто пятьдесят!!!

— Да, сто пятьдесят... Но почти треть ее никуда не годится...

Я чуть со стула не свалился: что он такое говорит?! Наша сталь никуда не годится?! Как он не боится такие речи толкать?

— У меня мертвым грузом лежат сотни тысяч тонн несортowego металла. Никто его не хочет брать...

Понадобились годы и годы, чтобы у меня и моих коллег свалились наконец шоры с глаз. А тогда, в шестьдесят первом, мы искренне верили, что описываем подвиг домностроителей. Но преждевременной инвалидностью аукались бравым комсомольцам залитые ледяной водой котлованы домен и ГЭС, пятидесятиградусные морозы БАМа и заполярных буровых, радиация Чернобыльского саркофага и атомных

подводных монстров. И пуще всего доставалось российскому Ивану. Обратили внимание: все четверо восславленных нами бригадиров «Криворожского чуда» — Иваны...

КАК СЪЕЛИ «ЭСТАФЕТНУЮ ПАЛОЧКУ»

На полу кабины «Пчелки» лежит модель чугуновоза. Криворожская-комсомольская посылает ее строителям Северо-Крымского канала, к которым направляется наш самолет. Не беда, что подарок сделан по нашей подсказке. Кто, кроме нас, да уже известного читателю Володи Волкова об этом знает? Главное «...этой своей трудовой весточкой молодые домностроители как бы говорят: недалек день, когда наша печь выдаст первый чугунок. Трудитесь и вы так, чтобы скорее пришли в засушливые степи Северного Крыма живительные воды Днепра!»...

В раскрытой двери пилотской кабины появляется голова Калинина. Он кивает на иллюминатор, кричит:

— Смотрите, Каховское море!

Красноперекопск выныривает из-за горизонта внезапно, словно до этого нарочно прятался где-то в степи. Садимся на маленькую площадку возле длиннющего каменного забора. Весь он облеплен людьми. Они прыгивают, бегут к машине. Знакомимся, расспрашиваем, отвечаем на град вопросов. Оказывается, мы попали туда, куда нужно. За забором главная база строительства Северо-Крымского канала, а люди, которые окружили нас, его строители.

Жарко. Солнце блестит в небе так, что не дает поднять глаза выше горизонта. Небо кажется ослепительно белым. Вот уже боль-

ше месяца с него не упало ни одной капли влаги. Земля под ногами настолько высохла, что, кажется, вся превратилась в пыль, мелкую, как мука. Трава тоже высохла и стала похожа на колючую проволоку.

Алексей Белецкий, главный инженер СМУ-4 «Крымводстроя», медленным движением руки отодвигает соломенную шляпу на затылок, щурясь, поднимает голову и вдруг улыбается.

— Скоро воды тут будет вдоль... Мы сейчас здесь, — тычет он пальцем в верхнюю часть карты Крыма. — Краснопереконск. Вот Армянск. Вода пойдет отсюда, от Каховки, через Перекоп и Джанкой. И дальше на юго-восток и восток, мимо Старого Крыма до Керчи. Канал протяженностью в 425 километров позволит оросить шестьсот тысяч и обводнить около миллиона гектаров земли — почти всю степную часть полуострова до границы Евлатория — Феодосия...

Весной того же шестьдесят первого я был в Крыму и виделся там с одним из самых уважаемых его жителей, с профессором... Фамилии называть не буду по причине, которая станет понятна читателю чуть позднее. Старый ученый-виноградарь принял меня у себя в просторной рабочей комнате, где была размещена богатая коллекция виноградных лоз. На столе стояли бутылки, на этикетках которых были выведены странные, похожие на химические, формулы. Хозяин пригласил меня к столу и для начала разговора, наполнив бокалы, предложил попробовать напиток... В бутылках оказалось вино, приготовленное его учениками из ими же выращенных сортов винограда. Крошечными глотками отпивая из бокала, он, щурясь, поглядывал на меня, как бы

спрашивая: «Что скажете?»... Вино было превосходным.

Всю жизнь посвятивший воспитанию виноградарей, превращению земли в сад, профессор говорил о времени, когда с крымских аэродромов ежедневно будут подниматься десятки самолетов с виноградом, чтобы свежим доставить его в самые отдаленные уголки страны; о потоках грузовых автомобилей во время уборки плодов; о самоходных баржах, которые пойдут по Северо-Крымскому каналу, увозя богатый урожай. Проблема воды, орошения виделась ему решенной: вода должна быть, и она будет, будет в достатке. Куда больше заботили его механизация возделывания виноградников, снижение трудоемкости, поиски новых способов выращивания виноградной лозы.

— В четырнадцать раз мы должны увеличить производство винограда к 1965 году по сравнению с сегодняшним! — сказал он в заключение своего оптимистического монолога. — Это будет более миллиона тонн. Значит, через четыре года только наш маленький полуостров преподнесет каждому советскому гражданину по пять килограммов отличного винограда. Не считая яблок, груш, персиков, айвы, вишни, клубники...

Где они, эти килограммы? Где вожделенные персики и айва? Где, наконец, сегодня сам профессор?.. Великий труженик, специалист с мировым именем, восторженный мечтатель... Он покончил с собой, когда пошли под топор ценнейшие крымские виноградники. Нет, не вкушать нам крымского муската, плавая и шаслы и не пить божественных массандровских вин. Уготовано с превеликим трудом раскошелиться раз-другой в год на пару-тройку кисточек с базарных лотков. Возблагодарим

за это поборников «всенародной трезвости»...

Занимать кресло рядом с пилотом — привилегия Сажина. На этот раз он уступил ее мне. И, наверно, пожалел об этом, ибо определенно лишился ощущения непередаваемого: полета на сказочном ковре-самолете. Далеко позади осталась Каховка, мы перемкнули Керченский пролив и вот уже около получаса парим на восток, вдоль южного берега Азовского моря, повторяя изгибы береговой полосы. Скорость около ста пятидесяти километров, высота... В этой-то сорока — пятидесятиметровой «высоте» как раз и весь смак. В плексигласовом колпаке пилотской кабины я чувствую себя, как в прозрачной капсуле, только прикосновением колена или локтя ощущая твердь почти невидимых ее стенок. А надо мной по одну сторону зеленеватая гладь сменяющих друг друга лиманов в белой оторочке пены от набегающих на песчаные плесы волн, просмоленные лодки, баркасы, развешанные на кольях сети, что-то кричащие, машущие руками люди; по другую — желтые квадраты скошенных полей, зеленые луговины, напуганные гулом неведомого крылатого чудища, разбегающиеся стада, купы тронутых сентябрьским багрянцем деревьев, побеленные хаты, домишки в окружении садов и огородов... Все это уносится куда-то назад, мгновенно становится прошлым, уступая место все новым и новым идиллическим картинам жизни рыбаков и селян...

Три часа колдовского полета — и мы, минуя Жданов (ныне Мариуполь), Таганрог, приземляемся в аэропорту Ростова-на-Дону. После однодневного передыха, с короткой остановкой во Владикавказе (тогда Орджоникидзе), переле-

таем в Тбилиси. Пешком прошли весь проспект Руставели, восхищаясь его красотой и заглядывая в разные значные места вроде старого духана, где, как нам сказали, частенько сиживал Пиросмани. Съездили посмотреть Мцхету, исторический храм на горе, откуда было хорошо видно, как «...сливаясь, шумят, обнявшись будто две сестры, струи Арагвы и Куры». Неизгладимое впечатление произвел на нас один тамошний ресторанчик. Познакомились с грузинской кухней. Прекрасен был цыпленок табака! Я съел его с огромным удовольствием. Он тоже не остался в долгу, съев недельную порцию моих командировочных...

И еще: преподнесли грузинским геофизикам карту с нанесенной на ней трассой канала. В приложенном к ней письме крымчан говорилось: «Мы заняты общим великим делом. Пусть ученые примут наш подарок, как пожелание новых успехов в борьбе за обновление лика земли...»

Сноп пшеницы, модель чугуновоза, макет «Пчелки» и вот карта... Сей предмет стал последним в ряду символов трудовой солидарности, которыми в соответствии с нашим сценарием должны были и дальше обмениваться строители коммунизма. Кончина эстафеты произошла в мое отсутствие — меня срочно вызвали в Москву по одному неотложному делу личного характера. Когда спустя неделю я снова присоединился к нашей экспедиции уже в Сыктывкаре, никаких символов «Пчелка» больше не перевозила.

— В чем дело, братцы? — поинтересовался я.

— Да понимаешь, — сказал, отводя глаза, Сажин, — дали нам геофизики ящик мандаринов для передачи бакинским нефтяникам... Ну на кой черт бакинцам цитрусовые? Их у них у самих на-

валом. А потом... такая жара была в самолете.

— Понятно...

— А в Астрахань мы повезли банку нефти. Взяли ее рыбаки, но без энтузиазма. Спасибо, конечно, говорят, только у нас полпобережья пленкой от этой заразы загнуто. Вы бы, говорят, для подарков чего-нибудь пополезней выбирали. И презентовали нам осетра для продолжения эстафеты.

— Продолжили?

— Еще как! — встрял в разговор ухмыляющийся Мишин. — На аэродроме в Элисте. Костерок развели. Я такой ушицы сроду не едал!

— Пижоны...

— Какие пижоны! Не видать бы того осетра никаким строителям коммунизма! — продолжал ерничать Вася. — Красовался бы он на столе у какого-нибудь начальника. А так... На всю аэродромную команду хватило...

НЕМНОГО ВОЗДУШНОЙ АКРОБАТИКИ...

Мимо Сыктывкара, Холмогор, поболтавшись пару часов над тундрой, мы наскоро промахнули Архангельск.

В Кондопоге не было сухопутного аэродрома, садились тут только гидросамолеты. Минут двадцать наш Володя закладывал над прибрежной полосой крутые виражи, высматривая подходящий пятачок для посадки. И высмотрел — «Пчелка» закончила свой посадочный пробег в... полутора метрах от огромного валуна, почти повергнув нас в обморок и приведя в восторг сбжавшихся на гул моторов аборигенов. Имелся соблазн отобразить этот факт, как подвиг. Но поскольку с самого начала было решено, что подви-

ги — в честь съезда опять же — совершаем не мы, а рядовые советские труженики, пришлось ограничиваться десятью строками в «Дневнике» об экстраординарном нашем приземлении...

Дальше — Петрозаводск. На полднете к нему Сажин во второй раз уступил мне место рядом с пилотом. И опять прогадал. А, может, наоборот, выгадал? Уже виден край взлетной полосы. Давно пора резко снижаться. В ларингофоне на шее Калинина слышно, как где-то на земле бьется в истерике дежурный авиадиспетчер: «Прома-ажешь!.. Заходи на новый разворот... Ты что там, с ума спятил?!..» Мы уже почти над центром полосы, а Калинин и ухом не ведет. Лишь с усмешечкой поглядывает на меня. И вдруг резко посылает штурвал от себя. Клынув носом, машина все более накреняется и вот уже чуть ли не под прямым углом, ревя моторами, все убыстряясь, валится вниз. Вижу, как стремительно приближается земля, сердце вот-вот лопнет, такой его бьет колотун. Сжимаюсь в комок, но глаза не закрываю, помирать, так уж до конца видеть, какая будет она, моя погибель. Вот до земли не более ста... пятидесяти метров... Успеваю подумать: убить он нас решил, что ли?.. И тут меня резко, до метеликов в глазах, вжимает в кресло, ноги задираются вверх, будто я вхожу в длинный кульбит, совершаю треть оборота и сразу же плюхаюсь на что-то мягкое, пружинящее. А «Пчелка» уже неторопливо катит по бетонке, останавливается прямо напротив здания аэродромных служб. Оттуда, что-то крича, бегут к ней люди в летной форме, в рабочих комбинезонах.

— Я думал, ты завопишь от страха, — хлопает Калинин меня по плечу. — Молодец!

— Мы что, в штопор свалились?

— Нет,— смеется он.— Можешь поздравить себя с полетом на пикирующем бомбардировщике...

Вылезаем, нагруженные шмотками, бредем к аэровокзалу.

— Я догоню вас, ребята! — кричит Калинин. Его плотным кольцом окружили летуны, авиамеханики. Не отпустят, пока не расспросят все о невиданной машине, и что за цирковой трюк он на ней отчебучил...

ВИДИМОСТЬ — НОЛЬ

Рига. Тарту. Вильнюс... Двое суток болтания в этом прибалтийском треугольнике ни строки не прибавили к нашему «сменовскому» досье о предсъездовском энтузиазме эстонцев, литовцев и латышей. Не без удовольствия мы подальше засунули свои блокноты и превратились в незадачливых, несущихся галопом по Европам туристов.

Позднее я не раз бывал в этих городах, но от того вояжа в памяти сохранилось лишь одно: хорошие города! Пребывание в Риге ознаменовалось посещением органного концерта в Домском соборе и халявной — за счет местного Союза журналистов — бухаловкой в знаменитом ресторане «Лидо» на побережье Рижского залива. В Тарту мне более всего запомнились свиные ножки с бобами и с пивом в каком-то средневекового вида подвальчике и еще... Тартусский университет, где состоялся потрясающий брифинг — ни до, ни после ничего подобного мне ни видеть, ни слышать, ни чувствовать не доводилось. Хозяева усадили нас за длинный струганый стол, сами уселись на-

против и полтора часа просвещали по интересующему вопросу... на чистейшем эстонском языке, произнеся по-русски лишь два слова: «здравствуйте» и «до свиданья». Переводчика с нами не было, и сказать определенно, что такое они нам наговорили и насколько исчерпали тему, не было никакой возможности. Воспитанные в духе интернационализма, мы без колебаний пришли к убеждению: национализм тут абсолютно ни при чем, нас просто приняли за полиглотов и интеллигентно дали понять, с каким глубоким уважением относятся к нашим лингвистическим способностям...

В Вильнюс мы тем не менее улетали не в лучшем настроении. Было твердо решено литовцам никаких таких вопросов не задавать. А еще лучше вообще ни о чем у них не спрашивать в канун предстоящего исторического события. Будет охота, сами расскажут...

Ничего выдающегося более не ожидая от нашего полета, мы совершенно неожиданно и именно тут, на пути в литовскую столицу, испытали, можно сказать, самое волнующее за всю экспедицию впечатление. И подарил нам его... Володя Калинин. Выглянул из кабины, оглядел наши кислые физиономии и вдруг сказал:

— Кто хочет попробовать пилотировать машину?

— ???

— Ну, посидеть за штурвалом есть желающие?

— Е-есть!!! — хором гаркнули мы.

Выпал на редкость ясный солнечный день. «Пчелка» шла не шелхнувшись на высоте шестисот метров. Внизу ровные квадраты скошенных полей, луга, речушки, перелески...

Я был третьим. После Сажина и Бор. Семенова Калинин уступил мне свое место, сел в кресло ря-

дом, предварительно проведя трехминутный инструктаж: это альтиметр — показатель высоты; это — авиагоризонт. Следи за обоими приборами. Если начнешь снижаться, тяни ручку на себя; вверх полезешь — от себя; крены выравнивай поворотами влево-вправо, так, чтобы подвижная линия альтиметра все время совпадала с горизонтальной неподвижной... Минут пять он наблюдал, как усвоил я нехитрую науку, потом сказал «молодец» и ушел в салон, оставив меня одного...

Помните, я рассказывал о своих ощущениях во время полета из Каховки в Ростов-на-Дону? Так то была ерунда по сравнению с этим! Вот где я по-настоящему понял, что ощущает парящая в небе птица! Нет, словами это передать невозможно. Скажу одно: с того дня я стал вечным завистником тех, кому доводится пилотировать легкие машины на небольшой высоте.

И еще один сюрприз преподнес нам Калинин.

Мощнейший циклон из Атлантики превратил утро следующего дня в крошечный ад. Над вильнюсским аэродромом непрерывно хлестал дождь, одна грозовая туча сменяла другую, грохотало, как при бомбежке.

— Над всей европейской частью Союза закрыты все аэродромы, — сказал Калинин дежурный авиадиспетчер. — В воздухе нет ни одного самолета. Вы же не самоубийцы, чтобы лететь в такую погоду!..

— Мы полетим! — настаивал Калинин.

— Я не дам разрешение на вылет.

— А мне и не требуется ваше разрешение. Вот, — протянул он диспетчеру полетный лист. — Я прожужу испытания машины. И могу действовать по своему усмотрению.

— В таком случае я снимаю с себя всякую ответственность за вашу авантюру!..

Свидетели этого разговора, мы кучкой жались в дверях диспетчерской, игнорируя горящее над входом: «Посторонним вход воспрещен». Типичное репортерское нахальство? Нет. Просто таким путем мы пытались убедить аэродромного чербера, что полностью поддерживаем своего пилота... Через час мы будем горько раскаиваться в этом — разумеется, втайне друг от друга. И так же втайне задавать каждый себе один вопрос: как мог наш испытанный капитан пойти на такой риск? И, главное, для чего?..

Машину болтало, как щепку в бушующем море. Видимость за окнами — ноль, сплошная стена воды, будто мы попали в центр гигантского водопада и валимся вместе со всей его массой в какую-то бездну. Привязных ремней «Пчелка» не имела, и мы вылетали из кресел, как мячики, стучаясь головами о потолок салона, идотски при этом улыбаясь, хохоча, выкрикивая бессвязные слова и междометия, вроде «Ух ты!», «Ой-ей-ей!», «Вот-эт-да!», таким примитивным способом загоняя вовнутрь раздирающий нас на части панический страх. Бултыхаясь в салоне, подобно пробкам в пустой резко встряхиваемой бутылке, мы — то один, то другой — оказывались возле пилотской кабины и тогда видели то, что видеть нам было никак не положено: бледное как полотно лицо Калинина, дергающийся в его руках штурвал, что-то яростно кричащий в ларингофон рот... Не знаю, как другие, но я вспомнил Бога, незаметно крестясь, я приговаривал: «Гос-споди, смилуйся над нами, спаси наши грешные души!..»

Мы все-таки приземлились. Как это произошло, никто не заметил и не понял. Просто «Пчелку» вдруг перестало кидать из стороны в сторону, наступила тишина и мы сообразили, что стоим на твердой земле. Шумел только дождь. И еще в стекла иллюминаторов бились метелки каких-то растений, похоже, дикого проса... Вылезли, не говоря ни слова, ошалело огляделись. Степь без конца и края, ни жилья, ни построек каких-либо и ни души кругом. В стороне, опершись рукой о фюзеляж, стоял и грустно смотрел на нас наш пилот...

— Простите, ребята,— сказал потупясь.— Сил нет, как по семье соскучился... Мы на полевом аэродроме под Минском. Скоро за нами приедут...

МАРШАЛ ДАЕТ «ДОБРО!»

А через полмесяца состоялась наша последняя встреча с Калининым и «Пчелкой». Состоялась она на Центральном столичном аэродроме. Володя успел за это время побывать в Киеве, отвести душу в кругу родных, вернуться в Минск и перегнать машину в Москву. Мы тоже кое-что успели: соорудили огромный толстый альбом с цветными и черно-белыми фотографиями, на которых было запечатлено все наиболее интересное: прилет к комбайну в Жашкове, посадка в Кондопоге в полутора метрах от валуна, «Пчелка» над горами, «Пчелка» на одном моторе. И, конечно же, все о том, как мы пошли на грозу...

Теперь «Пчелка» стояла на бетонной взлетной полосе. А альбом лежал на принесенном сюда же покрытом кумачом столике и ждал будущего своего хозяина.

— Едут! — крикнул кто-то.

На бетонку выкатился кортеж черных лимузинов: впереди бронированный «ЗИЛ», а за ним с полдюжины «волг». Подкатали. Из «Волги» выскочил щеголеватый офицерик, подлетел к «членовозу», проворно распахнул тяжелую дверь. Мы увидели ступивший на землю начищенный до солнечного сияния сапог, брючину с широкими лампасами, массивную фуражку с золотоносным козырьком и, наконец, все крупное тело их сановитого владельца...

Когда примерно неделю назад мы пришли со своим альбомом в Министерство обороны, попасть к Малиновскому нам не удалось. Принял нас кто-то из его многочисленных замов. Послушал наш рассказ о «Пчелке». Сказал: «Вам позвонят...»

И позвонили.

Хорошо, видать, доложил заместитель. Мы узнали самого Родиона Яковлевича. Подошел он, окруженный свитой генералов, приложил руку к козырьку, на что мы дружно прокричали: «Здравия желаем!» — и, показав на «Пчелку», сказал:

— Это и есть штабной самолет?

— Предполагается, что будет штабной,— чуть надломившись в талии, проговорил уже знакомый нам зам.

— А где летчик?

— Здесь я, товарищ Маршал Советского Союза! — выступил вперед Калинин.

— Так, давай показывай, что это за птичка...

Сперва он взлетел не вдоль, а поперек полосы. Сделал круг и таким же манером приземлился.

— Хорошо,— сказал Родион Яковлевич,— что еще?

Второй раз Володя взмыл в небо вдоль полосы. Но уже на одном моторе. На одном же и сел.

— Недурственно,— довольно

хмыкнул маршал.— А баки у тебя полные?

— Так точно, полные! — отпортовал Калинин.

— Зато салон пустой...

— Я и при полном могу так же...

— Не потя-анешь...

— Я, товарищ маршал, когда испытывал «Пчелку», на сиденья чугунные чурки клал. А тут чурок-то нету...

— Как это нету?! А они на что? — оглядел Родион Яковлевич свою генеральскую свиту.—

А ну давайте залезайте в самолет!

И опять взлет поперек полосы. Сделал Володя два круга, вылез из кабины, подошел к маршалу строевым шагом и зычно так:

— Товарищ Министр обороны Советского Союза, ваше задание выполнено!

— Оре-ел!

Вылезли на бетонку и генералы.

— Как полетали, товарищи? — подошел к ним Малиновский.

— Хорошо.

— Годится на роль связной машины?

— Годится...

А тут и мы со своим альбомом: вот, дескать, подарок вам от журналистов, смотрите, Родион Яковлевич, на что способна «Пчелка»... Полистал он фотографии, покрякал, рубанул:

— Берем!

ТАК МЫ «СДЕЛАЛИ» САМОЛЕТ...

Если вы думаете, что главное в работе авиаконструкторов создать новую машину, то серьезно ошибаетесь. Это только начало. Куда сложнее запустить ее в серийное производство. Конкуренция тут сумасшедшая. Нужны не только талант, организаторские способности, но, увы, банальное

везение, благоприятное стечение обстоятельств и та изворотливость, которая на нашем совковом лексиконе называется «пробивной силой». Если же говорить на языке сегодняшних нормальных экономических отношений, то, как воздух, необходимо умение показать товар лицом. Иными словами — реклама. Кто знает, может, Олег Константинович Антонов, во многом опередивший свое время, уже тогда прекрасно понимал перспективность «плановой экономики», полнейшую противоположность отрицания рыночных отношений. Вот почему, не раз обжегшись на попытках «узаконенным путем» дать путевку в жизнь многим своим детищам, он так охотно согласился на наш полет.

«Пчелка» пошла в серию. Много лет добросовестно служила в армии, не раз модифицировалась и долгие годы была добротной «рабочей лошадкой» на местных линиях Аэрофлота.

Так кто же ее сделал? Антонов? Калинин? А может, еще и четверка журналистов «Смены» вместе с ними?

Пусть это решат читатели...

Вы хотите похудеть, очистить свой организм от шлаков и токсинов, омолодить кожу, нормализовать обмен веществ, повысить свой жизненный тонус и настроение.

Все это возможно благодаря сбалансированному природному продукту питания

ТЕРБАЛАЙФ

Телефоны: 119-68-74 и 313-64-53

с 10.00 до 20.00.

Факс: 313-64-53

(круглосуточно).



ВЯЧЕСЛАВ ДЕТТЕВ



РИСУНОК АЛЕКСАНДРА ГРИНА

Часы пробили семь. А ее нет. Неужто обманула? Странно, не похожа она на тех, кто обещает и не держит слова. Во всяком случае, месяц назад не возникло никаких сомнений, когда она обещала быть тут, на перроне, первого августа, в семь вечера; просила ждать ее в оранжевой ветровке ровно через месяц, именно первого, у них, добавила, уже и билеты заказаны на обратный поезд.

И вот сегодня первое августа, и уже восьмой час, а ее все нет. Наверное, и не будет. Вряд ли она просто опаздывает.

Скорее всего опять не судьба, как и пятнадцать лет назад. Тогда растащило — похоже, все повторяется.

Первый раз встретились на сборах в Перми. Два дня переглядывались, потом на «вечере отдыха» он танцевал только с ней, но они даже не познакомились. А взгляды... что взгляды?

Месяц назад случайно столкнулись в поезде, сразу угадали друг друга и сразу все вспомнили. Так и остались стоять в тамбуре и говорили... говорили...

Она рассказывала о своей дочери, о том, что с мужем рассталась, так же, как и со спортом, вполне безболезненно, тренирует сейчас городскую команду биатлонистов, но, похоже, скоро уйдет, платят униженительно мало, держаться нет смысла, не из-за чего и не из-за кого — все ребята в команде почти без данных; что сейчас в отпуске и едет с подругой (которая, кстати, совсем ему не обрадовалась) на Кавказ, подзаработать через одну контору, и тут же заговорщицки приложила палец к губам: «Но только — тсс!» И он, в тон ей, поспешно: «Ну что ты — могила!»

«А ты все там же, в своей Костомукше?» — «Да». — «Бегаешь? Стреляешь?» — «Да, промышляю охотой». — «Про тебя ходили легенды, как ты за двадцать километров — на лыжах в школу...» — «Я и сейчас еще километров за шестьдесят... на соседнее зимовье, за учебниками. Простые книжки надоедают быстро, а учебника хватает иногда на полгода. Особенно если предмет трудный. Например, латынь». — «Латынь?» — «Мне нравятся римские точность и краткость... А потом приходит лето, и я еду в Абхазию, к куму: вино, море, скалы — Аршак заразил их покорять. Помнишь Аршака?» — «Такой маленький, кривоногий, шутник и балагур и совершенно бесперспективный?» — «Да, выше четвертьфинала никогда не поднимался, но его начальство и этим бывало довольно: единственный биатлонист на всю Грузию, и тот из Абхазии». — «А стрелял он, помнится, совсем недурно... Слушай, но ведь в Абхазии война». За окном южный воздух быстро заполнялся лиловыми чернилами, и оттого глаза ее сделались почти черными, и в них горела тревога. «Да ну, какая война, — отмахнулся он. — Небось журналисты треплются». — «Но по телевизору...» — «У меня нет телевизора. Аршак пишет, отдохнешь, мол, как всегда». Она вдруг с чисто

женской непредсказуемостью произнесла: «Хорошо зарабатываешь, если в такое время...» — «Работа — грех завидовать. На зимовье иногда с волками воешь. Правда, с позапрошлого года нашел себе еще одно занятие, кроме учебников... Пстой, я сейчас». Через минуту вернулся с гребнем из желтой кости. «Вот! Режу вечерами». Она взяла в руки и не удержалась: «Ка-акая красота! И это ты все сам?» — «Сам. Нашел бивень мамонта, и теперь вот... В общем, дарю». — «Но это, наверное, стоит бешеных...» — «Перестань!» Она смутилась и долго рассматривала гребень. «А у вас в самом деле — белку в глаз?...» — «Нет. У мелкашки пуля тупая, сильно рвет шкурку на выходе — брак. Из ружья, дробью номер девять, аккуратнее». — «А правда, чтобы спугнуть затаившегося соболя, на пуле делают надпилы — звук получается?..» — «Нужна самозарядная винтовка — одной пулей спугнул, другой — срезал... Может, вместе к Аршаку? Он будет рад». — «Нет, нет. Нас ждут, каждый день расписан, и даже билеты на обратную дорогу заказаны». — «Что же это за дело такое важное?» — «Секрет. Но чтобы не сомневался — вот тебе залог. — Ветровка была яркая, оранжевая и еще совсем новая. — В ней и встречай меня на перроне, чтоб издалека...» — «Мне будет тебя не хватать». — «Всего тридцать суток... А первого августа, в семь вечера, под часами, хорошо?»

Ах, словно и не месяц назад это было!..

Расстались мы спокойно. Женщин забрал автобус, специально ожидавший их. Я помог погрузить увесистые полосатые капроновые мешки и целый час ждал Аршака, а потом, когда он наконец-то прикатил на побитом своем «Москвиче», выслушивал его упреки: почему не уговорил? Почему не задержал хотя бы на часок?.. Но упреки его пролетали мимо ушей. Я всю дорогу старался не изводить себя попусту, а просто ехать, слушая Аршака, и поддакивать, нет, не получалось, по-прежнему лезли в голову всякие непрошенные мысли и сомнения, я злился на себя, но ничего не мог поделать. И только когда приехали к Аршаку и я подбросил к потолку маленького Ашотика, а потом сел со всеми за стол, я немного оттаял. Аршак, глядя на меня, тоже посветлел, порывшись в сундуке, достал альбом со снимками, где мы все молоденькие, белозубые, и на одном из фото Инга, в центре, среди прочих девушек — царственная, в лыжном костюме, с распущенными волосами, стянутыми на голове вязаной шапочкой, как короной.

«Эта? Как же, помню... — вздохнул Аршак. — Королева!»

В ту ночь засиделись надолго. Вино на этот раз не пьянило, но что-то бунтующее происходило в мозгу, и я опять видел себя со стороны, вроде и не я сидел за столом, напротив — друг, которого знаешь полжизни, на столе горит свеча, на окнах затемнение, и мы сидим, как в склепе, вспоминаем юность, рассматриваем фотографии, перебираем сборы, соревнования, поминаем друзей и подруг, кое-кого уже и на свете нет, кого добрым словом, а кого еще как, а земля... Земля между тем вращается вместе с домом, с садом, виноградником, с горами и морем, неумолимо поворачивается наша твердь, плывет вокруг свечи, и с каждым градусом

ее поворота мы становимся старше, ближе к рубежу, одинаковому для всех, и этот великий закон бытия жесток до безумия и до гениальности прост и прекрасен... Потом мы как-то резко останавливаемся, словно бы наткнувшись на какую-то стену, и Аршак говорит обыденным, протрезвевшим голосом: «Спортивный опыт мне сильно пригодился. Я сейчас охотник за снайперами». — «Как? У вас тут в самом деле война? Но где же?..» — «За горой, — как ни в чем не бывало отвечает Аршак. — Ребята дежурят круглые сутки, в основном, конечно же, абхазы, но есть и русские, казаки или называющие себя казаками, есть греки, армяне, адыги, черкесы, даже грузины, местные, причерноморские; военные действия начинаются с десяти часов, к тому времени грузинские гвардейцы приезжают из города на своих грузовиках, а я хожу на позиции через двое суток на третьи или же когда случается в том нужда, ведь я не простой снайпер, а охотник за снайперами, высшая квалификация... Если б не помощь горцев, да если б не казаки... Знаешь, какая у них дисциплина! Недавно одна грузинка указала на двух казаков — изнасиловали. Собрался круг. Постановили: по пятьсот плетей. Так и засекли».

Я долго не мог заснуть. Прислушивался — все было как всегда. Пели цикады, где-то кричал ишак, в горах выл шакал, и все это глохло, вязло в густоразведенной синьке ночи. Да, все было как всегда, и в то, что кругом идет война, невозможно было поверить...

Утро проявилось как на фотобумаге: туманное, сырое, расплывчатое. Собрав скальную амуницию, я отправился к любимой скале, похожей на клык, — Учаджи. Со мной увязался Ашотик — он, похоже, всю ночь не спал, — а с ним двое козлят с острыми рожками.

— Сейчас взойдет солнце, и нам станет жарко, — сказал мальчик, и мне ничего не оставалось, как согласно кивнуть.

Подошли к скале, я положил ладонь на потный теплый бок: «Ну, здравствуй, старушка!» И она, кажется, отозвалась: «Привет, бродяга! Опять явился...» Стукнул молотком, и скала звонко откликнулась гулом до самой вершины — оттуда посыпались камешки.

— Сердится, — рассмеялся Ашот.

— Пересердится. У нее каменное сердце.

Размявшись, я надел оранжевую ветровку и не спеша пошел по знакомому маршруту. Лез по стене, а снизу за мной следили малыши и козы, которые даже жевать перестали. Был соблазн крепиться на прошлогоднюю страховку, но я, к счастью, переборол его и начал забивать свежие крючья. Поднимался медленно и осторожно: было почему-то очень страшно разбиться на глазах у мальчика и козлят.

Что-то не ладилось у меня сегодня: то путался в страховочных концах, то ломал ногти, то молоток выскальзывал из рук, то ударялся преобильно о выступы, которых в прошлом году вроде как и не было, и на середине скалы сорвался и полетел, раскинув руки

и цепляясь за кустики полыни и выступы. Но хорошо, обвязка шведская и не сильно потертая, выдержала, хоть и заскрипела, заскрежетала вся, и костыль попался новый, без дефекта и ржавчины, и забит был надежно, и сам за зиму не очень разъелся, лишь скрипнуло, треснуло да шлепнуло о гранит, считай, легко отделался и после этого протрезвел словно, очнулся от дремы, вся сонная одурь слетела мигом: ну, здравствуй, жизнь!..

Снизу раздалось:

— Крестный, тебя сейчас Бог спас, да?

Вытирая кровь из носа, перебрался на карниз — не отпуская ощущение чуда, может, и спасся потому только, что внизу стоял мальчик, на чьих глазах нельзя было разбиваться? Закрепился, сделал гамак, и решил перекусить: всегда после таких смертельных встрясок у меня сосет под ложечкой и появляется волчий аппетит.

— Эй! На стене! Слезать надо.

— А что случилось?

— Пока ничего, но может... В два часа фугасы над скалой пойдут.

Внизу стоял человек в бараньей папахе; на штанах — красные лампасы; за голенищем — кнутовище плетки.

— И зачем только люди лезят по скалам?

— А зачем воюют?

— Я — казак. — Когда сблизилась, казак заправился, сдвинул набок папаху, щелкнул каблуками кирзовых сапог и представился: — Лавр. — Рука у него оказалась тонкая и белая.

— О-о, так это вы в честь генерала Корнилова имя сменили?

— Ну что это за имя было — Станислав?..

— А как же допустили, чтоб засекали товарищей? Неужто нельзя было как-то помочь?

— Секли по очереди, все, как тут поможешь? По десять ударов. Филонишь — самому пять плетюг. Ребята кончились на второй сотне.

— А когда тут замёрится, что делать думаете?

— Хм, прямо интервью какое-то... В Приднестровье зовут, кордоны строить. Может, в Югославию подамся... Впрочем, что раньше времени решать? Как говорится, *memento mori*, — сказал он, немного бравируя.

Но не легкой и далеко не безобидной показалась эта бравада.

— Раньше-то кем были?

— Учителем географии.

Орудия ударили ровно в два. Дымя и закручивая воздух в спирали, летели снаряды и мины над скалой. Слышно было, как рвались они на перевале, у грузинских гвардейцев. Один вдруг, задев за вершину сосны, росшей наверху скалы, лопнул с сухим рассыпчатым треском. Мы с Ашотиком наблюдали за этим с моря, из лодки, с которой я пытался ловить ставриду. Мальчик поглаживал борт.

— А правда, что давным-давно в этой лодке в бурю папа родился?

Я не стал ему возражать, не хотелось рушить семейное предание.

Часы пробили восемь. Хриплый, словно простуженный, голос объявил, что «пассажирский поезд до Риги подается на второй путь». Я встал у начала платформы, чтобы не пропустить ни одного пассажира. Было жарко, а я стоял в оранжевой ветровке и, наверное, озадачивал своим видом людей, шедших мимо, я всматривался в них, а они шли, волоча ноги и пританцовывая, молодые и старые, но не появилась та, которую я искал, и никому не было дела до одинокого мужчины, странного, в оранжевой ветровке, который вдруг все острее и острее стал чувствовать себя сиротой в этой шумной и кипящей толпе.

Да, теперь, похоже, у тебя в жизни не осталось ни-ко-го.

Аршак в засидку ходил через двое суток на третьи. По графику. Он контролировал линию фронта длиной в семь километров. Последнее время у него давно уже не прибавлялось зарубок на прикладе: стоило грузинским самодеятельным снайперам узнать, что против них стоит бывший биатлонист, как они спешно меняли позиции. Два дня Аршак работал в школе физруком, а на третий облакался в бронежилет, надевал каску, брал длинноствольную СВД калибра 7.62 и шел на позиции. С самого приезда меня не покидало ощущение, что война какая-то ненастоящая. Казаки с плетьюми, в бараньих папахах, горцы в черкессках, с кинжалами, кушающие вилками гуляш из свинины... маскарад, да и только. Чуть ли не каждый день появлялись какие-то добровольцы, получали оружие, палили в белый свет, фотографировались в свирепых позах; побыв недолго, бесследно исчезали, порой в самое горячее время. Так же, говорят, и у грузин; те и вовсе по восемь часов воюют, ни минутой больше. Такая вот война.

Однажды к Аршаку прибежал запыхавшийся казак. Тот, который Станислав-Лавр. Сбиваясь, стал рассказывать: на грузинской стороне появился неизвестный снайпер. Началось с того, что один из абхазцев пошел поутру за водой. По водоносам не стреляли — неписанный закон. В этот раз закон был нарушен. Парень упал с простреленной ногой. Место ровное, спрятаться некуда, лежит, бедняга, кровью истекает. Никто за ним не шел, ждали второго выстрела. Но снайпер молчал. Друзья того абхаза решили его вынести. Только они выбрались на открытое место, как один тут же и споткнулся; а за ним — другой. У обоих ноги перебиты. Лежат, уже втроем, на гальке — жара, кровища так и хлещет. Один попытался ползти — тут же новая пуля в плечо. Тогда к ним четверо казаков пошли — ребята оторви да брось! По очереди все четверо и споткнулись. После этого никто уже не решался вылезать из окопов. Стали ждать темноты. Когда солнце спряталось за гору, раздалось семь выстрелов подряд, хотя двое или трое раненых в этой милости уже и не нуждались.

«Это не снайпер, — закончил свой рассказ Лавр. — Это какой-то людоед».

Собираться Аршак начал еще с вечера. Починил бронежилет, обтянул каску маскировочной сетью, смазал винтовку и отсорти-

ровал патроны: выбраковывал, если был тусклый капсюль или хотя бы маленькое ржавое пятнышко на гильзе — не дай Бог осечка. Поднялся чуть свет и стал облачаться в боевую амуницию. Перед уходом сказал: «Я убью его. Как бешеного шакала». Вернулся уже по темноте. Нервный, злой, голодный. «В другом месте, гад, разбойничал. Пока себя обнаружил, да пока я туда перебрался, да пока обустроился, он, как и вчера, шестерых греков — там греческий легион стоит...»

Четыре дня Аршак гонялся за «людоедом» — тут уж не до «графика» стало. Без толку. Бойцы боялись даже выглядывать из-за бруствера — реакция и кровожадность у «людоеда» были, как у тигра. Он попросту терроризировал абхазскую сторону: никто не знал, откуда ждать его пуль. Он был, похоже, дьяволом во плоти: только Аршак опустил в окоп перекусить — винтовку оставил на бруствере, — как над головой свистнула пуля и на каку посыпалось стекло: прицел был разбит вдребезги.

Вечером Аршак рвал и метал:

— Он меня унизил! Как мальчишку!

Жена причитала, маленький Ашотик испуганно плакал.

— Может, пощадил? — осторожно высказался я.

— Что? Он — меня?! — Аршак бесновался. Я почувствовал: еще одно-два слова — дружбе конец. И смолчал.

В течение следующих трех дней, пока Аршак искал новый прицел, «людоед» уничтожил восемнадцать человек. Народ повалил из окопов. Не до фотографий стало... На четвертый день Аршак вернулся.

— Вот, нашел! Цейсовские стекла. Теперь уж он у меня...

И началась охота. Аршаку отрыли четыре ячейки, рядом с ходами сообщения и противоминными укрытиями, и он постоянно менял места, чтобы сбить с толку соперника. Пять дней было затишье, снайперы присматривались друг к другу, а бойцы ждали, чем все это кончится. И вот на шестой день раздался роковой выстрел. Рассказывали, Аршак вдруг выскочил из ячейки и кинулся в траншею, в укрытие. Кто-то из абхазцев утверждал, что слышал свист мины, которая не разорвалась, — она-то, похоже, и напугала Аршака. Когда он выскочил из ячейки, свинец куснул в плечо. Рана могла быть пустяковой, если бы пуля прошла навывлет, но она, пробив плечо, срикошетила от внутренней стенки бронежилета и, пропорвав мышцы вдоль ребер, вошла в пах. Аршак истекал кровью. Бинты сочлились.

— К морю! — хрипел он. — Везите к морю!

Его взгромоздили на грузовик и помчали. Скорее!.. И вот показался голубой, искрящийся перламутром выпуклый диск моря. Аршак замахал рукой. Грузовик развернулся так, чтобы раненому было видно море, открыли борт, приподняли голову... Тело дернулось, вытянулось, и друга не стало.

А я в это время ловил с лодки жирную салаку и радовался, что полный штить и что рыба хорошо берет на тесто. Прости меня...

Похоронили Аршака по абхазскому обычаю, хоть и был он армянин по крови, — прямо у него в палисаднике, под старой

айвой. Когда опускали гроб в могилу и дали прощальный залп, маленький Апотик крикнул вдруг в наступившей тишине, указывая на небо: «Вон! Вон мой папа полетел!» Все вздрогнули... На могиле я взял в руки винтовку друга. На ней еще не просохла кровь, деревянное ложе липло к пальцам...

Стал готовиться к охоте. Предстояла работа, где выстрел — заключительная точка, подводящая итог. Сделал на пяти пулях различные надпилы — горизонтальные, вертикальные, кольцевые — и попросил Лавра посидеть за валуном. Я над камнем буду пускать пули с километровой дистанции, а его задача — отметить ту пулю, чей свист будет наиболее похож на свист падающей мины. Лавр оказался не из робкого десятка и выполнил все, как я просил. Сказал, что от звука четвертой пули душа прямо скукоживается, как листок. Ага, заключил я, значит, спиральный надпил...

Наутро Лавр установил в соседнем окне миномет. Я проинструктировал: по знаку надо очень громко скомандовать: «Батарея! Шесть снарядов, беглым — огонь!» Но выпустить следует пять, пять — и ни одной миной больше.

Стрелком Лавр был отменным: однажды, рассказывали, заметил, как у грузинского блиндажа суетились гвардейцы. Он положил мину прямо перед входом — убило восьмерых да сторел мешок денег. Оказывается, там зарплату выдавали. На такого спеца можно было положиться. Осталось обнаружить снайпера. Непросто это. Сколько ни выставляли на палках над бруствером папах, фуражек-«аэродромов», касок — ну, стрельни! — все без толку. Но мы с Лавром и тут приготовили сюрприз. На вершине небольшой скалы спрятали манекен скалолаза в ярко-оранжевой ветровке, осталось только спустить его. Пока в окопах ругались, выставляя на палках головные уборы, нехорошо при этом поминная «людоеда» и его матушку, один из казаков стал потихоньку спускать со скалы манекен — даже с расстояния в двести метров его запросто можно было принять за живого человека, — отличная приманка для снайпера; в окопах бурчали, хлопец спускал вдоль стены «скалолаза», а я наблюдал за противоположным склоном долины, следил внимательно, боясь пропустить вспышку выстрела, слушая вполуха ворчание бойцов, а перед глазами... перед глазами всплывали и выстраивались другие картины: вот подойдет первое августа — совсем уже чуть-чуть осталось!..

В грузинских окопах, между тем, начался шум, поднялся гул, слышались крики: «Вон — на скале! Да стреляй же!» Из-под валуна, на котором одиноко чах сутуловатый кипарис, вдруг резко блеснула кинжальная красноватая вспышка выстрела — нервы у «людоеда», видно, были не из веревок — такая яркая приманка на совершенно голой стене — где тут удержаться? Ан нет! Пуля не менекен продырявила, а, как ни странно, из казачьей папахи вылезла клокастая вата. Видимо, наживка на скале показалась уж очень яркой и явной, а снайпер, похоже, далеко не дурак. Но зачем тогда вообще стрелял?..

Валун чернел выпукло и влажно, отливая металлом, как шлем с шишаком, на маковке — кипарис, словно перо. Машинально отметив, что траншея, где можно укрыться в случае артналета, слева от снайпера, я разгреб локтем гальку справа от себя, расширяя сектор обстрела, и дал знак Лавру. Тот, сложив ладони рупором, взревел: «Квадрат... беглым... шесть снарядов!». Мины ложились строго вокруг валуна, как и было задумано, недаром про Лавра говорили, что он при желании и в карман мину забросит, надо только пошире его оттопырить, — одна справа, другая слева, третья с недолетом, четвертая, пятая... Я выстрелил прямо под комель кипариса, под перо — шесть! — в черный выпуклый валун, где затаился снайпер, и, ожидая реакции, повел влево. Через секунду над черной галькой майским жуком мелькнула каска. Она находилась над поверхностью всего несколько мгновений, которых мне хватило, чтобы успеть влестить в этого глянцевого жука свою хлесткую, со стальным сердечником-жалом, пчелу: за Арш-шака!

Шлем слетел, словно лопнул орех, и по черной лоснящейся гальке разметались длинные волокна волос. Ч-черт возьми! Вот это людоед! Ба-аба! Что-то кольнуло меня больно и резко... В следующее мгновение голова снайперши исчезла в траншее, и лишь каска валялась на виду до самой темноты.

Наутро не стало и каски.

Часы пробили девять. Через семь минут поезд отойдет. Перрон опустел, а Инга все не шла. Я решил было уходить и уже с тоской представлял безрадостный путь домой, в Костомукшу, с болезненным содроганием осознавая надвигающуюся осень, старость, одиночество... Как вдруг увидел перед собой женщину с двумя капроновыми ярко-полосатыми мешками. Она показала знакомой. И мешки... Да ведь это подруга Инги!

— Привет! А где же?!

— Ее не будет.

— Почему?

— Ну, так...

— Это же ее мешок.

— Да, ее. Но она не придет.

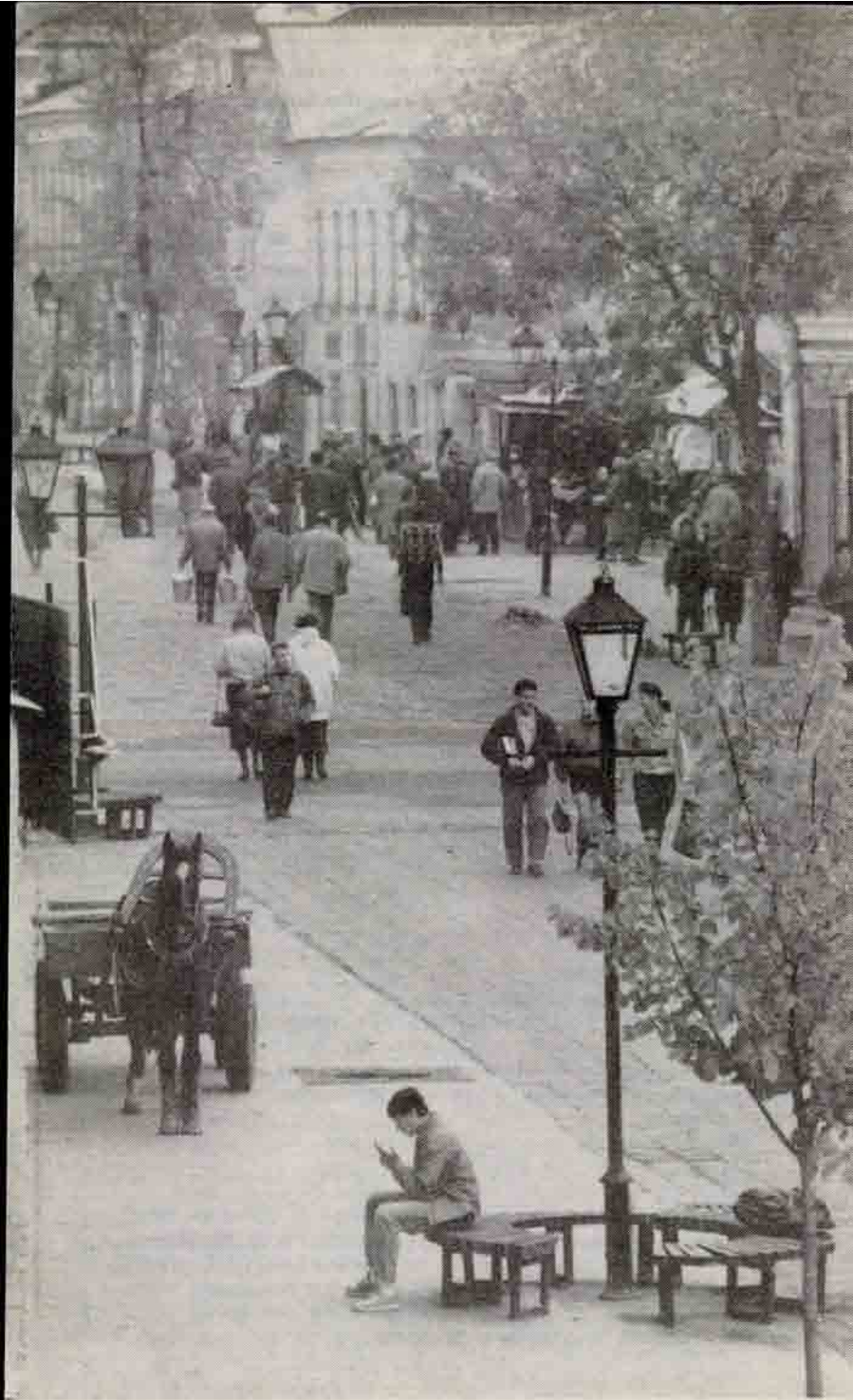
— Тогда передай ей, пожалуйста, вот эту ветровку.

— Хорошо, передам.

Войдя в вагон и забросив в тамбур полосатые мешки, женщина полезла в один карман, в другой и протянула мне гребень из кости мамонта.

— Вот. Возьми. И не ищи ее. Не надо...

Поезд трогается и проплывает мимо, мимо... А я стою, смотрю перед собой потерянно и жду зачем-то, пока проедет последний вагон и скроется за поворотом, и сжимаю в руках гребень. И боюсь на него взглянуть. Там, среди бегущих оленей, рваная дыра. Будто тупым сверлом продавленное отверстие — этот диаметр, братцы, мне знаком до боли...





Елец... — один из лучших русских уездных городов и немногим уступает Орлу.

Энциклопедический словарь
Брокгауза и Ефрона,
1894 г.

1

Города, словно люди: с одними чувствуешь себя свободно, доверительно, легко, с другими — связано, напряженно, точно камень тяжелый волочишь. Приедешь в незнакомый город, и кажется, он носит тебя сам, поддерживает, помогает на каждом шагу, и даже обычная твоя походка меняется — становится стремительной, летящей. А попадешь в дру-

гой — и он подавляет, сковывает, пригибает, да так, что, вернувшись из него, едва ли не заново учишься ходить прямо.

Елец не давит. Его носишь в себе незаметно, как нечто цельное, органичное, состоящее из древнейшей Красной площади с ее жемчужиной — Вознесенским собором, творением зодчего Константина Андреевича Тона (он — автор храма Христа Спасителя в Москве, уничтоженного в 30-х



Владимир Заусайлов — потомок знатных елецких купцов и промышленников, нынче сам купец, промышленник и домовладелец...

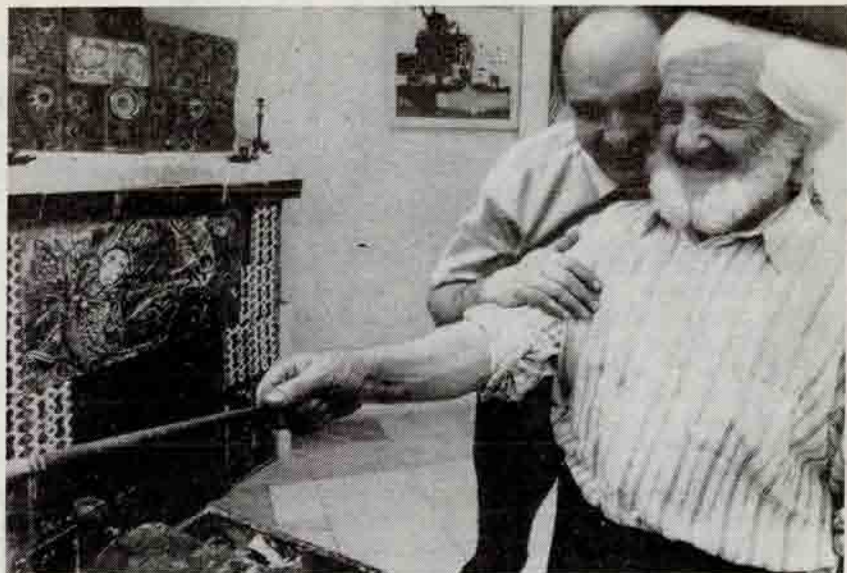
годах), уютных садов и скверов, романтического Ельчика, притока Сосны, из внешне неспешной, прочной жизни.

Город живет не сам по себе, а вместе с тобой. Неторопливо прохожу его улицами и переулками, разглядывая выразительные архитектурные детали, вычурные водостоки, балконы и галереи. Дохожу до бывшей гимназии, и тут, кажется, все осталось таким же казенным и скучным, как и в тот осенний день, когда впервые в каменный двор входил стриженный под гребенку первоклассник в новеньком синем картузе с серебряными пальмочками над козырьком и в новой гимназической шинельке с блестящими, тоже серебряными пуговицами. Широкая старинная улица лежит в тени, и я ступаю по пятнистому тротуару, словно усталому сквозными кружевами. Через много-много лет суховатый, изящный, с бородкой, с боковым

пробором всему миру теперь известной остроугольной головы, Нобелевский лауреат Иван Бунин вспомнит эту елецкую улицу, тротуар, испещренный шелковыми кружевами, и как он торопился на свидание — худой юноша в косovorотке, подпоясанной кавказским ремешком.

Это было начало его счастливой и несчастной любви к Варе Пашенко — дочери елецкого врача. Начало еще ничем не омраченного чувства, восторженной нежности, доверчивости, близости.

«Ночью, в темном саду, постоял вдальке, посмотрел в мезонин освещенный: вот ушла... вот вернулась — уже належке и с косой на плече, заплетенной. «Вспомни прежде! Вспомни, как тут»... Не спеша, лишь собой занятая, потушила огонь... И поют, и поют соловьи, изнывая. Темен дом, полночь в тихом саду. Помолись под небесною бездною, на заветную



В.Сорокин и Е. Крикунов: художник и его меценат.

глядя звезду в белой россыпи звездной».

Провожая до калитки, девушка поцеловала на прощание. И услышала:

— Если есть будущая жизнь и мы встретимся в ней, я стану там на колени и поцелую твои ноги за все, что ты дала мне на земле.

Встретились ли они? Вернулись ли их разлученные души на эту улицу, в этот сад, под это выцветшее елецкое небо?..

2

Бывшие дворянские и купеческие дома сохранили удивительную историю Ельца, донесли до нас его самостоятельность, гордость своей древностью, богатством, залихватским желанием не ударить в грязь лицом перед всем миром. В них было и осталось что-то действительно нарядное, ликующее, озорное, о чем до Бунина

писал Лесков, а позже Пришвин, также тесно связанные с Ельцом.

Полагаю, не случайно из поколения в поколение передавался рассказ о том, как ходили местные купцы к царю, чтобы «милостиво указать соизволил» сделать Елец городом губернским, и якобы государь пообещал: «Построите тридцать три церкви — будет Елецкая губерния!» Стали купцы церкви ставить. Последнюю не успели поднять — революция помешала.

Так рассказывают ельчане, гордящиеся своим городом, заложенным почти тысячелетие назад «среди великих черноземных полей Подстепья на той роковой черте, за которой простирались земли дикие, неизвестные». Елец был одним из тех важнейших оплотов Руси, что, по слову летописца, первые вдыхали бурю, пыль и хлад из-под азиатских туч, первые видели зарева страшных пожарищ, первые давали знать Москве о беде

и первыми ложились костями за нее.

— Быть может, нам только кажется, что мы изобрели нечто новое и что наша сегодняшняя жизнь строится на иных принципах, чем сто или триста лет назад. — размышлял, беседуя со мной, елецкий предприниматель, а в недавнем прошлом инженер-строитель Владимир Михайлович Богатиков. — Наверное, у каждого коренного русского города есть свои основы, которые не меняются, как бы ни изменялся строй. Не случайно попал наш Елец в число шести городов, в которых начинается обкатываться федеральная программа «Возрождение». Ее цель — восстановить хозяйственное, духовное значение исторических российских городов. Как аукнется в Ельце или в Торопце, так, думаю, откликнется и по России.

Мой собеседник из древней казачьей семьи. Его предки и обороняли ту роковую черту Подстепья, проливали свою кровь и кровь татарскую, польскую, турецкую, литовскую... По преданию, будто бы собирались основать даже казачью республику, «чтобы все по справедливости и чтобы воля была».

Богатиков ловок и точен в движениях, горяч в разговоре. Представляю его не в модном костюме, не за столом, заваленном бумагами, а в спецовке и сапогах, привычно шагающим по шатким трапам, спускающимся в котлован или разглядывающим «синьки», на которых темнеют брызги раствора.

Какая-то тень, смутное облачко легли на загорелое лицо моего собеседника. Богатиков потер рукой висок:

— Все-таки душно... К дождю, что ли?.. Иногда думаю: вчера все мы были «красными». А сегодня точно полюса поменялись. Вспом-

нили «поручика Голицына», с умилением поминаем русских царей и цариц. А во враги теперь попали едва ли не все революционеры, чуть не с Радищева. А разве русское бунтарство — Разин, Пугачев, те же казаки, декабристы или народники — не наша традиция? Разве идеи социальной справедливости умерли? Да никогда! Они и нас переживут, и потомков наших. Будут жить столько, сколько живо человечество. Уже и от Октября спешим отречься. Дескать, это Ленин, большевики втравили народ в революцию. Что вроде случайно туда попали. Да почитайте историков, почитайте мемуары! Обиды накапливались не одно столетие и выплеснулись в братоубийственную гражданскую войну. Историкам не верите? Мемуаристам? Перечитайте Толстого, Чехова, нашего земляка Бунина... «Деревню» его перечитайте. Или тот же «Суходол»... Нет, из учебника истории ни одну нашу страничку не вырвать.

Владимир Михайлович Богатиков — директор товарищества «Курс». Под его началом около ста пятидесяти человек. «Профессионалы. Другие не удерживаются», — кратко характеризует он коллег. Товарищество строит, реконструирует, ремонтирует здания и сооружения в Ельце и в районе. Выкупило, расширило, модернизировало строительную базу. Экспериментируют, и успешно, с отвальными шлаками Новолипецкого металлургического комбината, предполагая использовать отходы на прокладке дорог. Одним словом, товарищество как будто твердо стоит на ногах. Говорю об этом Богатикову.

Он отвечает не сразу, взвешивая слова:

— Скажу прямо — нелегко. Приходится действовать как бы на два фронта: выживание и разви-



Директор товарищества «Курс» В. Богатиков уверен, что он сотоварищи выбрали верный жизненный курс...

тие. Если бы можно было рассчитывать на долгосрочный кредит, да еще под человеческие, а не людоедские проценты, взялись бы за дороги, за производство деталей для малоэтажного строительства и, конечно, за реконструкцию Ельца, его исторического центра. Но кредиты сегодня краткосрочные, проценты ростовщические. Это выгодно посредникам-перекупщикам, а не нам, производителям...

Поморщился, поднял руку, словно предупреждая возможные возражения.

— Начинать надо не с фанфар, не с лозунгов «Возродим родной Елец», а с экономической базы. Не стричь производителей, как овцу — благо фининспекторам особых усилий и прилагать не надо: у нас все на виду, на стройплощадках, — а помочь. Рубли наши трудные, и мы их снова вкладываем в труд. Часть нало-

гов, которые с нас «отстегивают», хорошо бы снова пускать на расширение производства, на создание новых рабочих мест. Тогда у рядового, как недавно говорилось, труженика в кармане появятся деньги. Тогда он будет работать с уверенностью, что фирма развивается, что у него и семьи твердое будущее. Вот с чего начнется возрождение города, его культуры.

Последняя фраза о возрождении культуры для Богатикова не случайна. Несколько лет «Курс» материально поддерживал народный хор Ельца, помогал и помогает первой в городе частной гимназии, не жалеет средств на благотворительные цели, а недавно при содействии городского Совета стал владельцем телевизионного канала, организует собственную телестудию.

Позволю небольшое отступление...

Удивительную власть все-таки имеют над нами стереотипы. По одному из них — отечественный предприниматель — интеллеktуал, занявшийся бизнесом, ибо в «застойные» годы он не мог себя реализовать в избранной области. Как уверяют социологи, коллеги, литераторы и журналисты, «новый делец» — человек с идеями, патриот, цель которого не обогащение, а спасение России. Политика его интересует мало. Зато благотворительность, поддержка музыкантов и артистов — едва ли не главная сфера его интересов.

Другой расхожий стереотип — бизнесмен-мафиози, вынырнувший из подполья. В уголовном мире, среди рэкетиров, торговцев наркотиками чувствует себя как рыба в воде. Он не слишком учен, зато имеет нужных людей во властных структурах. Как всякий «крестный отец», суров, но справедлив. Любит широкие застолья, бросает «хрусты» направо и налево, требуя личной преданности.

Как ни искал в Ельце, других городах подобных персонажей, но в поле моего зрения они не попали. Возможно, потому, что первые слишком «бесплотны», а вторые столь глубоко законспирированы, что выйти на них не удалось. А может, они и не спешат выставляться на всеобщее обозрение? Как известно, свет для подполья не в радость. Сумерки, темнота привычнее.

Предприниматели, с которыми удалось познакомиться, обычно мужчины в возрасте от тридцати до сорока лет. Как правило, с высшим образованием. Собранны, активны, честолюбивы. До того, как начать собственное дело, нередко меняли работу. Немало среди них бывших хозяй-

ственников, комсомольских работников. Они организаторы: могут профессионально наладить любое дело — от высадки десанта на БАМе до музыкального фестиваля. То, что, к примеру, бывшие комсомольские лидеры пересели в кресла директоров фирм, инвестиционных фондов, товариществ и т. д., не случайно. Не только потому, что «деньги комсомола» помогли на первых порах взять новым коммерческим структурам резкий старт и отвоевать место под солнцем. Не менее важно и другое. Западные социологи называют подобный феномен «социальными сетями», подразумевая под ними личные контакты, связи, знание неформальных законов, по которым функционируют государственные и прочие механизмы. Такие «сети» дают фору перед конкурентами не меньшую, чем деньги.

Добавьте клановую солидарность, умение отыскать «своего» человека в Чечне или в Таджикистане, в Мурманске или на Камчатке, и вы поймете серьезное преимущество людей нового склада, которые явились на смену героям 60-х или 70-х годов. Этот «новый деловой человек», вобрав в себя самые густые соки перестройки, совершившейся в таинственной глубине сознания, вышел на арену без треска и грома. Скорее он не очень заметно протискался, напирая полегоньку плотными плечами. Зато сел крепко и место как бы само собой слилось с ним. Политические бури, «суверенизация», противоборство ветвей власти, неразбериха, кажется, не очень тревожили бизнесменов, а может, и напротив, помогли наиболее приятно жить.

Но вернемся в Елец к конкретному деловому человеку Владимиру Михайловичу Богатикову.

Разговариваем с Богатиковым, сидя в просторной солнечной комнате товарищества. Дом старый, купеческий, каменный, кажется окаменевшим от времени. Доски пола непомерно широки и темны. В лад с ними тяжелые железные задвижки на таких же тяжелых половинках дверей. Створки небольших окон выходят на улицу. Когда-то она называлась Торговой, теперь — Мира, но как была, так и осталась улицей торговцев и покупателей.

За самодельными прилавками стоят молодые люди, странно похожие друг на друга. Коротконогие, широкоплечие, одинаково одетые в кожаные куртки и штаны, напоминающие шаровары. Посверкивая золотыми зубами, расхваливают товар, смеются, перекликаются друг с другом.

Богатиков отворачивается от окна:

— Базар... Нет, вы мне скажите, почему так бережно поддерживаются посредники-перекупщики? Почему сквозь пальцы смотрят на тех, кто имеет на счете несколько десятков тысяч рублей, а ворочает сотнями миллионов? Почему дают производителя, заставляя его уходить в «тень»? Разве не очевидно, что нужна разумная налоговая, финансовая политика, направленная не на латание дыр в бюджете, а на развитие предпринимательской инициативы, идущей снизу?

Он как-то весь подобрался, глаза у него потемнели.

— Почему товарищество затеяло все это дело с телестудией? Надо смотреть трезво: рынок только-только зарождается. Инфляция жесточайшая. Подумали-подумали и пришли вот к чему: важно не столько заработать деньги, сколько создать фирме

имя. Ее авторитет складывается постепенно. Телевидение тоже будет работать на наше имя, на наш товарный знак. Разумно? Ну, а прибыль от телестудии... Мы готовы к тому, что несколько лет прибыли от нее не будет.

Помолчал.

— А что реформы не идут... Так они и не пойдут, пока не соблюдаются правила честной игры. Да, выгода нас заботит, но еще больше заботит, что нам все время твердят: закон для нас не писан — его еще только предполагается написать. Берутся ходы назад. Фигуры прячутся в рукав... Я, знаете, не выдержал, написал письмо о наших проблемах главе администрации и в Совет народных депутатов области. Жду ответа... А вообще хотелось бы задать эти вопросы правительству...

Мне понятна тревога моего собеседника. Предпринимателей, которые действительно что-то производят, в Ельце можно пересчитать по пальцам. Как и в других городах России, их угнетают паразитарное стяжательство посредников, рэкет чиновников и «крутых» ребят, грабительские налоги. В атмосфере «базара» чахнут ростки предприимчивости, основанные на идее честного дохода. Нет, я не оговорился, именно честного дохода, хотя мне могут возразить, что само это словосочетание абсурдно, вроде «деревянного железа», что предпринимательство возрастает на цинизме, бессовестности, безразличии к нравственным нормам. Это заблуждение чрезвычайно соблазнительно, особенно если понаблюдать изнанку жизни владельцев «комков» и «лавок». И тем не менее полагаю, что честное обогащение возможно. Но выполнимо оно лишь на известных условиях, которые можно обрисовать с помощью от века существующих запретов: не

убий, не обманывай, не воруй, не нарушай соглашения, не попирай чужого доверия, не захватывай того, что добыто не твоим трудом. Это и есть добросовестное предпринимательство. Мыслимо ли оно в России?

В разговоре Богатиков вспомнил Александра Николаевича Заусайлова — известного в дореволюционной России елецкого предпринимателя, девизом коего было «торговать как можно выгоднее для покупателя». Причем эта дешевизна не отражалась на оплате или условиях труда рабочих и служащих, на качестве продукции. За счет чего же формировалась прибыль? Заусайлов, как и многие российские предприниматели, как и его современник Генри Форд в США, понимал, что нужно резко сократить издержки производства. И тогда за счет сокращения производственных затрат и будет формироваться прибыль. Сокращение же затрат — есть прежде всего востребование научных открытий, изобретений, различного рода усовершенствований и новаций. И Заусайлов первым в Ельце покупает электростанцию, ввозит самые современные машины, устанавливает телефон и т.д.

Современное производство создает современного потребителя. Рабочим и служащим обеспечивается оптимальная зарплата, причем в массовом порядке, достойные условия жизни. Тот же Заусайлов строит и открывает для детей рабочих бесплатные сад и ясли. Создает и материально поддерживает различные кружки, школы для своих работников. Наконец, разрабатывает такую пенсионную систему, которая не приближала человека к помойке, а поднимала его на более высокий уровень потребления.

Отсюда вытекала и предпринимательская этика.

Для Заусайлова, как и для других деловых людей Ельца, было характерно заключение сделок под «честное слово», скрепленное не подписью и печатью, а крестным знамением. Вот почему, видимо, крупные сделки тогда заключались нередко не на бирже, а в клубах, амбарах, трактирах. Слова «вера» и «кредит» до революции были в России почти синонимами.

«Купцы между собою сохраняли строго данное слово и большие дела делали на словах, не прибегая ни к маклерам, ни к нотариусам, а старообрядцы, которых в Ельце было немало, так даже и не любили векселей и боялись формальностей и бумаг пуще антихриста,— читаю воспоминания одного из купцов.— Нередко бывали такие сцены: «Гарвасий Демьянович, дай извернуться тысяч десяток!» — «А тебе надолго?» — «Месяца на три». — «Ну, ладно». — Отсчитывает купец деньги да на стене у себя в лавке и напишет мелом: такому-то дано столько-то. Срок приходит — не несет деньги должник. «Любезный, гляди в оба — деньги-то отдай, а то, видит Бог, сотру!» — предупреждает купец, подразумевая, что сотрет со стены заметку и тем самым лишит должника жизни, т. е. кредита. И надувательства не было».

Другое проявление нравственности елецкого предпринимательства — культура конкуренции. Не в обычае, к примеру, было обмениваться справками о кредитоспособности или другими деловыми сведениями. Заходить в чужой амбар или лабаз считалось не только неуместным, но просто неприличным. Об этом свидетельствуют воспоминания купцов, которые, рассказывая о покупателях, о том, как было налажено дело, практически не упоминают о конкурентах. Как тут не вспомнить слова

Солженицына: «Совесть выше выгоды».

Конечно, были и иные «торговые люди», что норовили содрать с живого и мертвого, обвешивали, обмеривали, лгали и клялись безо всякого стыда. Как были они и в других сословиях. Но характерно, что в воспоминаниях купцов сообщается о них с неохотой, вскользь, не называя фамилий (берегли честь, достоинство детей, внуков бессовестного дельца), понимая, что остается на земле только высокое, доброе и прекрасное. Только это. Злое, подлое, низкое неминуемо исчезает.

Сегодня между новыми экономическими отношениями, зарождающимися в стране, и теми, кто пытается честно вести дела, существует некий нравственный барьер. Для «бизнесменов» такого барьера нет, или они его преодолели, заглушив тихий голос совести. Как отмечают юристы, социологи, «бизнесменов» отличают неконкурентоспособный стиль поведения, стремление к торговой монополии путем сговора или даже внеэкономического уничтожения соперника, ставка на спекулятивную сверхприбыль. Неужто не поймем, что теневики, торговые воры, околомонетарные спекулянты сырьем, взяточники и казнокрады никогда не станут хозяйственными благодетелями России. Нахраписто, беззастенчиво навязывается «рынок», противоречащий нашей культуре, духовным ценностям. Но без предпринимательской этики, признанной и поддержанной обществом, рынок никогда не достигнет нравственно приемлемой формы.

Любопытно, что, с одной стороны, беспрестанно объявляются местные и общероссийские крестовые походы против преступности и коррупции, с другой — исподволь внушается мысль, что рынок

и должен быть таким, что бороться с ворами и мошенниками бесполезно. А лучше бы, к примеру, выписать из Соединенных Штатов нашего бывшего соотечественника, некоего знаменитого «пахана», который прибудет и наведет порядок в своей вотчине...

5

Как полагает другой елецкий предприниматель Владимир Александрович Заусайлов (он инженер-мостостроитель, депутат городского Совета, дальний родственник знаменитого фабриканта), рынок должен расти снизу, из провинции. Если этого не произойдет, то, по его мнению, «никакие миллионы американского дедушки и германской бабушки не помогут. Отдавать же их все одно придется. Да еще с лихвой».

Фирма Заусайлова производит экологически чистое средство для борьбы с вредителями садов и огородов. Оно успешно продается в Ельце, в других городах российского Черноземья. На вырученные деньги Владимир Александрович собирается открыть небольшой цех по производству керамики. Помещение для него ремонтируется, техника закупается, подбираются единомышленники.

Из скупых слов Заусайлова понял, что фирма не раз была на грани разорения, но выстояла. Помогает «выкрутиться» магазин, где Заусайлов торгует всем: от электроники до мыла и оцинкованных ведер. Скромной семейной фирме Заусайлова пока далеко до тех возможностей и капиталов, которыми располагает хотя бы то же товарищество «Курс», но молодой предприниматель считает, что у малого бизнеса в небольшом городе неплохое будущее. Его имущества: гибкость, менее болезненное приспособление к посто-

янно меняющейся рыночной конъюнктуре, органичная связь с традиционными занятиями и ремеслами.

Прав Заусайлов и в том, что культура, как и экономика, не просто набор ценностей, традиций, обычаев, уклада жизни, сваленных в кучу, а целостная система. Безболезненно убрать из нее или что-то добавить нельзя. Это обязательно отразится на всей системе.

Ни Англия, ни Япония, ни Корея или Бразилия не строили рынок вопреки национальной культуре. Германская модель рынка, к примеру, так же непохожа на французскую или японскую, как и культуры этих стран. По-другому и быть не могло: разные народы, уклад жизни, история, традиция или, выражаясь по-новомодному, разный менталитет.

Как же добиться прогресса в экономике и при этом не разрушить, а сохранить, обогатить свою культуру? Как приспособить ее к современным методам рыночного хозяйствования, сделав их российскими?

Вот вопросы, на которые непросто найти ответы, что в Ельце, что в Москве.

Пока же экономическое и культурное положение Ельца диктуется тем, что из всех поступающих доходов в городском кошельке остается около двенадцати процентов. Представьте, что из вашего заработка годами отбиралась и отбирается львиная часть? Как жить, как сводить концы с концами?!

Как ни кроили, как ни шивали, концы так и не сходились. Культурное пространство города сжималось. Помните, чеховская Нина Заречная, мечтавшая о славе, ехала в Елец, где в местном театре «взяла ангажемент на всю зиму». Современные Заречные в Елец не едут: в городе нет театра. Как и у-

дожественного училища, народных промыслов — кузнечного, ткацкого, гончарного, а ими славился некогда Елец. Кружевное дело еще живо. Правда, ему далеко до того расцвета, которое оно переживало в начале нашего века, когда около тридцати тысяч мастериц плели кружева. И какие! Только во Францию вывозилось кружев почти на сто тысяч золотых царских рублей. Это при жесткой конкуренции с мастерицами из знаменитого французского Валансьенна.

Список утрат можно продолжать и продолжать...

Сегодня в Ельце администрация и городской Совет думают поправить дела на средства, выделенные городу по программе «Возрождение». Детально разработанного плана возрождения древнего русского города пока нет. Предлагается открыть драматический театр, создать собственную киностудию, реконструировать центр и прежде всего Красную площадь, вернув ей исторический облик. Ждут поддержки от «Елецкого землячества», в которое вошли деятели культуры и искусства, «стремящиеся потрудиться на ниве духовного возрождения Ельца», как было обозначено на презентации общества. Рассчитывают, естественно, на помощь, понимание местных предпринимателей. Но, как заметил один из руководителей городской администрации, «не так склалось, як жадалось». И все же, все же...

6

Дорога, заросшая муравой. Поле — пустое, просторное, но еще по-летнему светлое. Пруд, жарко блестящий на солнце своей удлиненной поверхностью. Небо и несколько старых деревьев. У каждого свое выражение, своя

душа, своя грустная дума. Но в этой грусти угадываются и большая тайная радость, счастье, внутренняя свобода. А еще нежность и возвышающая душу отрада, смешанная с горькой страстностью.

Одним словом, удивительно русская картина.

Другое, третье, четвертое живописное полотно. И свет, какой-то удивительный свет идет изнутри холстов, поражая богатством оттенков. Десятки таких полотен представлены в коллекции одного из замечательных художников России, Виктора Семеновича Сорокина. Показывал мне коллекцию елецкий деловой человек и владелец картинной галереи — первой частной галереи в городе, открытой для всеобщего обозрения, — Евгений Павлович Крикунов.

— Чудо, правда? Художнику девятый десяток, а он чувствует себя таким молодым и заставляет нас чувствовать себя молодыми, — говорил Евгений Павлович, ведя от картины к картине. — Большинство холстов родилось в Ельце, в этом доме. Виктор Семенович приезжает из Липецка и живет, работает здесь. Вот взгляните на этот холст... Да-да, зимний пейзаж! К нему и моя рука прикасалась. Сорокин попросил белилами покрыть, а потом говорит: «Снегом, снегом посыпьте и разотрите!» Видите, какой снежный Елец получился.

...Да, так вот о юбилее Сорокина. Создали комиссию. Расписали, кому что и когда говорить, кому венки одевать... А я Сорокину говорю: «Виктор Семенович, не приходите на чествование и венок этот дурацкий не принимайте, пока вам телефон не установят. О каком юбилее говорить, если у вас нет ни мастерской, ни телефона?!» В общем, устыдил комиссию. Совместными усилиями поставили телефон, а здесь, в Ельце,

администрация города подарила художнику дом. Сделаем ремонт — и, пожалуйста, мастерская. Ведь Сорокин у нас в Ельце жил, преподавал в художественном училище. А когда училище закрыли, переехал в Липецк.

Нравится вам экспозиция? А мне не очень... Кое-что изменю. Отремонтирую залы, что напротив Вознесенского собора, сделаю там каскад выставок наших художников, а потом постоянную экспозицию. В одном из залов — только ранние работы Сорокина. Как бы переключка с работами Клодта, Самокиша, Коровина, Краснушкина, которые будут представлены рядом. А в соседних залах — моя коллекция западноевропейской живописи. Италия, Франция, Германия. Постараюсь сделать и интерьер такой, какой был в начале века...

Евгений Павлович — сын железнодорожного машиниста. Родился, вырос в Ельце. Работал и продолжает работать преподавателем физкультуры в школе. Коллекционирование произведений искусства — страсть, которую невозможно подавить, и чтобы иметь средства на их приобретение, Евгений Павлович, как он рассказывал, не брезговал никакой работой. Подсобный рабочий, грузчик, пчеловод, разводил кроликов, занимался звероводством. Организовал небольшой цех по производству фурнитуры. Сейчас пришлось от него отказаться: невыгодно. Выручает коммерция.

В городе же отношение к лекционеру неоднозначное.

«Да, Крикунов создал уголок света, — говорили мне работники городского Совета, — но, на наш взгляд, он все же маловато делает для развития культуры...»

Как ни пытал собеседников, что же они подразумевают под словом «маловато», ясного ответа не по-

лучил. Сам же Евгений Павлович, вспоминая бесчисленные тяжбы с городскими чиновниками, препятствовавшими приобретению полуразвалившегося дома, а затем и помещения под частный художественный музей, тоже не скрывает застарелой обиды. Так что взаимопонимания сторон пока нет.

Художники же, елецкие и приезжие, — а они постоянные гости Крикунова, — на стороне коллекционера. Для них он не только источник материальной поддержки, но и покровитель, защитник, советчик. Наконец, тонкий ценитель.

— Иногда думаю вот о чем... Почему мы боимся жизни? Боимся быть самими собой? — размышлял Евгений Павлович за чаем. — У нас возникают прекрасные мысли и проекты, а мы им не следуем. Представьте: вы увидели по-настоящему красивую женщину и подумали: «Сейчас подойду и скажу ей, что она прекрасна!» А через мгновение... постояли и пошли молча. Так незнакомка и не узнает, что в этот миг она прекрасна. Сами не живем полной жизнью и лишаем этого других. Я за риск, потому что, быть может, самый большой риск в жизни — не рисковать. Мне кажется, что человек, который не рискует, ничего не имеет и никем не станет. Он раб своей осторожности. Нет, надо рисковать!

Собираюсь организовать еще одну экспозицию. Заказал художнику эскизы женских костюмов, в которых используются елецкие кружева. Мастерицы сейчас их плетут по моему специальному заказу. Так что будет выставка костюма. Все это для Ельца. Все остается в городе...

Слушаю Крикунова и думаю о том, что культура, как и экономика, невозможна без внутренней

свободы тех, чьим делом, чьим достоянием она стала. Но и свобода без уважения к культуре, без воспитанного культурой чувства достоинства и ответственности — бессмыслица. То же рабство, только вывернутое наизнанку. Думаю об этом не с отстраненным безразличием, а с горечью, ибо, получив, кажется, не снисходящую прежде свободу, не знаем, что с ней делать, и ведем себя как рабы — нетерпимые, злобные, завистливые.

— ...Да, вы спрашивали, есть ли у меня машина, — слышу голос Крикунова. — Нет. Зачем она? У меня есть другое...

Недоговаривает. Разглядывает золотистые чайники, кружащиеся в чашке.

«Где сокровище ваше, там и сердце ваше», — приходят мне на память слова древнейшей книги.

7

Уезжал из Ельца в ледяной дождь.

Один из новых знакомых пообещал отвезти на вокзал, да подвел. Пошел на остановку автобуса. Но недаром в Ельце шутят: «Сделали бесплатный проезд — автобусы ходить перестали». Ждал-ждал автобус — не дождался. Времени в обрез. И машин, как нарочно, нет. Наконец появился зелененький, в пятнах ржавчины «Москвич». Ехали не быстро, но старенькая машина гроыхала так, что, казалось, вот-вот развалится на выбоинах и колдобинах.

Ехали мимо облезших, в трещинах и грязных подтеках, домов, лепившихся на глинистых пустырях. Мимо покосившихся черных от влаги заборов. Мимо свалок и пустырей, заросших каким-то библейским репейником.

Молчаливый владелец «Мо-

сквича». моложавый мужик с седыми, аккуратно причесанными волосами, быстро взглянул на меня, будто проверяя, спросил:

— Приезжий?

Я кивнул. И он, словно извиняясь за разбитую дорогу, за неухоженные дома и свалки, вдруг сказал:

— Ничего, оттерпимся... Живы будем — и Елец наш наладим. Еще и в люди выйдем.— И повторил: — Живы будем!

Деньги отказался взять наотрез.

И уже в поезде, глядя на пронозящиеся мимо сжатые поля, на лес, синевший на горизонте, на вспыхивавшие и гаснувшие зарницы, я все вспоминал этого случайного знакомого, его чистое, худощавое лицо и глаза, правдиво и ясно смотревшие на меня.

Живы будем...

РАБОТА и УЧЕБА **за рубежом.**

115409, Москва, а/я 45.
Телефон: 326-38-79,
329-54-57.



Из толщи родовой, из адовых глубин,
Из каменной земли, из отческого грунта
Взошел суровый вопль —
и душу окропил —
И заново ее замешивает круто.

— Да разве ты одна?
— Ты слишком не одна —
Душа летит вперед, покуда молодая,
А повзрослев, она
глазами колдуна
В минувшее глядит,
пророча и гадая.

...В потомственную глушь...
В наследственную тишь...
В тяжелые слои с прожилками кривыми...
Ты падаешь туда — и с ними говоришь,
С ушедшими во тьму, но более живыми, —

Чем этот день в лучах —
с ребенком на плечах,
С дорогою в снегу от почты до трамвая...
Не потому ль наш дух не спик и не зачах,
Что бодрствует под ним прапочва вековая?



Время, что ли, меня замучило,
Сбивши с толку, с дороги, с ритма?
Люди жгут человечье чучело,
Полагая, что это — битва.

Обнищание — эка невидаль!
Оскудение много хуже.
Время паузы, смерти, нереста ль —
Настоящее наше. Лью же

Настоящие слезы! Замысел
Искажен посторонним жестом.
В эти сани втолкнули, сам ли сел,
Но летишь над пустынным местом

И глядишь, как росток из ящика,
Поправляя седые пряди.
...Убегает во тьму, как ящерка,
Предпоследняя воля к правде.

≡
Горизонта уже не вижу.
Гаснет солнышко за болотом,
Продырявивши дух и крышу...
Отзываюсь на шорох: «Кто там?» —
Но стоит темнота за дверью.

Все равно почему-то верю
Со смирением желторотым —
Яду, мороку, суховею.

≡
Мороча, пророча, колдуя,
Из темного года приду я
С охапкою света, затем,
Чтоб он тебя больно задел.

Осколками, моросью, пылью
Печаль неумную вылью —
Носком опрокину ведро!
Как холодно, чисто, светло,

Свежо наконец... На колени
Паду, вострубив по-оленьи:
«Здорова, сильна, спасена
Отныне — на все времена».

Горя, польхая, пылая,
Сбегу — точно в юности: злая,—
Отринувши сглаз и навет.
...Свободна, свободна навек!

А ты, кто вгонял меня в плесень,
Отпрянешь от света и песен,—
Тебе я такой не нужна:
Здорова, вольна, спасена.

Огни — точно лица живые...
И, счастлива мстью впервые,
Стою среди голых деревьев,
Смертельную хворь одолев.

≡
Ну, чего тебе надо, лахудра,
Вместо хлеба жующая жмых?
Даже сны показали под утро,
Что любви уже нету в живых.

Эта нежность — она за пределом
Вероятия... Эта тоска

*В полумертвом лесу поределом,
Где не вырезать ни туеска...*

*Почему-то, конец ощущая,
С пущей страстью жалеешь того,
Чья жестокая тень небольшая
Возле дома легла твоего.*

РЕВНОСТЬ

*У ревности зрачки косые
И острый беззащитный взгляд...
И я антоновку в корзине
Перебираю наугад,—*

*Чтоб спрятать свой недуг безмерный
В простые черенки и прутья...
(А помнишь ли, мой друг неверный,
Как я боялась перепутья?)*

*О, что за власть над жизнью тающей
У ржи, и окиси, и пыли!
...Я умираю, но жива еще,
Покуда яблоки не сгнили.*



*Не боялась огня и копья,
Не боялась воды и недуга...
Пуще всех опасалась себя:
Глубины, закипающей глухо*

*И толкающей в пицее зло,
В подозрение, спесь и безволие,
И ломающей напрочь весло
По дороге в открытое море,—*

*Где я мяла себя и несла
В одинокий свинец поднебесья.
...Что мне, недруги, ваша стрела,
Если самоубийственна песня?*



*Ты мне спишься, в местах, где мы не были:
На лугу ли, где травы засохли,
Или в темном подвале без мебели...
Как ты жив без меня? Одинок ли*

*Или весел? В последнюю очередь
Я желала бы мести. Не так.
Просто с ужасом брошенной дочери
Я гляжу в немоту и во мрак.*

Я люблю — я сильнее. Тем более
Не уместны ни окрик, ни плеть.
...Ты мне спишь на той территории,
Где друг друга нельзя не согреть.



Ты приедешь по улице талой,
Где снега обернулись водой, —
Ненаглядный, измученный, старый,
Но, по мне, на века молодой.

Ты всегда уходил от погони...
А со мною — доверчив и рад,
Что, как бедные дикие кони,
Эти руки навстречу летят.

.....
Ты приедешь по синему небу,
Ты приедешь по черной земле —
Улыбнешься картошке и хлебу:
Больше нечему быть на столе!

Эра кончилась — грянула кара...
Но еще не сожгли соловья,
И душа обрела, что искала,
И мучительно счастлива я.



Юность я вижу могилой
В зарослях снесьи и боли...
Вот и вернулся мой милый
Белым, как зимнее поле.

Звезды разбились о полночь.
Дрогнули сильные веки.
...Детское это:

«А помнишь?»
— Помню ли! Все — и навеки.



О чем я? О почве и сине,
О сумме проступков и кар...
Любила, —
как любят разини
Ходить на воскресный базар.

Любила,
как любят салоты,
Любила,
как любят приборой..

Но даже такие минуты,
Как видишь, не стали судьбой.

...И только недавно,
 в Кварели*,
Где праздник гремел допоздна,—
Я вздрогнула: сны отгорели,
А ты, как и прежде, одна.

Жила на земле, как мотовка,
Дотла разорявшая кров...
Подняться и выйти?

 Неловко.
Но я недостойна пиров.

≡

Если в дверь постучит коробейник
И одарит за так барахлом,
И цветком оглушит рпейник,
И срастется любовный разлом,—

Если лик обернется пещерой,
Где стрекозы трепещут слюдой,
И развеется плащ темно-серый,
Точно знамя страны молодой,

И другие чудесные «если»
Станут яслями, верой, ковшом,—
Это значит, надежды воскресли
И, как дети, вошли нагишом.

≡

Когда я, вечер коротая,
Крошу орехи кулаком,—
То роза желтая, крутая,
Как чай с топленным молоком,

Смеется, вздрагивает, плачет
В домашней емкости своей.
...Межвременье.

 Финал лишь начат.
Не задохнулся соловей,

Но ворон, над страной прокаркав,
Стремится в глушь ее полей.

...Ступай в поля.
 Не жди подарков
И розу, уходя, полей.

* Кварели — маленький город в Кахетии.

«ФРАГМЕНТ»



Конкурс знатоков

мировой живописи

ПЕРВЫЙ ТУР

Приглашая читателя принять участие в конкурсе «Фрагмент», мы не столько стремились увлечь его занимательностью, свойственной такого рода играм, сколько хотели отвлечь от непереносимой уже суеты нашего торгашеского времени — к истинным и вечным человеческим ценностям.

В январском, февральском и мартовском номерах публикуется по 12 фрагментов картин известных мастеров живописи. По этим фрагментам вам предстоит точно назвать авторов, а также сами произведения, украшающие музеи России и мира.

За каждый правильный ответ жюри будет начислять одно очко. Для победы в конкурсе нужно набрать максимальное их количество.

Победителей всех трех туров ждут ценные призы и дипломы «Смены».

Ответы на вопросы январского тура нужно отправить в редакцию «Смены» до 15 апреля. В письмах просим указывать свою профессию и возраст. На конверте сделайте пометку: «На конкурс «Фрагмент». I тур».

Для разминки попытайтесь определить, фрагменты каких картин каких художников публикуются на второй странице обложки этого номера. За правильный ответ жюри конкурса начислит дополнительное очко.

Желаем успехов!



1



2



3

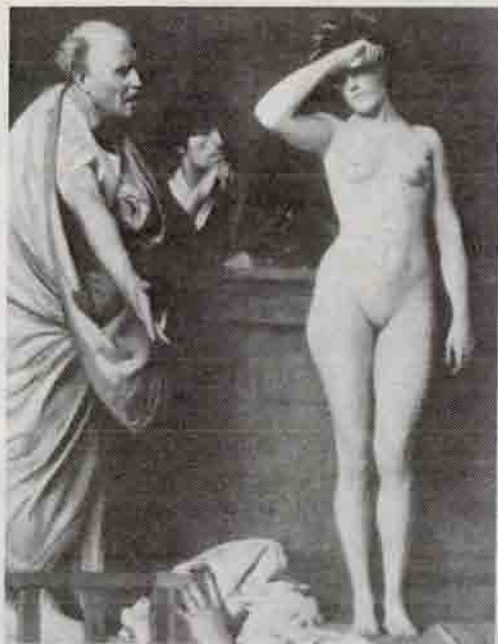


4

5



6



7



8



9



10



11



12

Жена Пушкина

Свидетельства современников о Наталье Николаевне Пушкиной так же многочисленны, как и разноречивы. Это привело к тому, что в пушкинской литературе обозначилось как бы два подхода к образу Натальи Николаевны — апологический, с одной стороны, и осуждающий — с другой. В последние годы появились интересные книги И. Ободовской и М. Дементьева, основанные на вновь найденных архивных материалах. Тем не менее то, что сделано в пушкинской литературе в давние годы, сохраняет ценность и авторитетную доказательность. В этом смысле особенно интересен напечатанный шестьдесят лет назад очерк известного писателя и пушкиниста В. В. Вересаева. В понимании и оценке Натальи Николаевны автор близок к точке зрения Марины Цветаевой, которая писала: «Было в ней одно: красавица, без коррективы ума, души, сердца, дара. Голая красота, разящая, как меч, и сразила».

Спорная точка зрения, скажет иной читатель. Возможно, ответим мы.

С акварели А. П. Брюллова. 1831 г.





восемнадцатом веке широко славились промышленные предприятия энергичных калужских купцов Афанасия Абрамовича Гончарова и сына его Николая. Бумага, вырабатывавшаяся на их бумажной фабрике, считалась лучшей в России, производимые на их заводах парусные полотна вошли в такую славу, что из Англии требовали полотен именно гончаровских. Гончаровы стали миллионерами, получили дворянство, владели несколькими тысячами душ крестьян.

Сын Николая Афанасий уродился не в деда и отца. Он быстро стал расстрчивать доставшееся ему колоссальное состояние. Жизнь свою он превратил в сплошной праздник. В имении «Полотняный Завод» выстроил огромный дворец, обставленный с безумною роскошью; в нем всегда толпились гости; пиры, балы, концерты, охоты следовали непрерывно один за другими; деньги бросались без счета. К концу жизни Афанасия Николаевича на имуществе Гончаровых лежало долгу около полутора миллионов рублей. Сын его Николай воспитывался в роскоши и безделье. В 1807 году он женился на Наталье Ивановне Загряжской. Вскоре ему пришлось убедиться в полном расстройстве дел отца. Николай Афанасьевич обладал энергией своих дедов. Он уговорил отца уехать за границу, а сам в несколько лет успел значительно поправить пошатнувшиеся дела. Но воротился отец, отстранил его от дел и снова принялся за свои причуды. В 1814 году Николай Афанасьевич упал с лошади, ушиб голову. После этого у него стали обнаруживаться признаки умопомешательства, склонность к которому у него была наследственной от душевнобольной матери. В 1823 году он совсем сошел с ума. Болезнь его гнетом лежала на всей семье. Временами он впадал в буйство и тогда гонялся за женою с ножом.

Гончаровы жили в Москве, в собственном доме на углу Большой Никитской и Скарятинского переулка. У них было три сына и три дочери. В доме властвовала мать, Наталья Ивановна. Была она деспотична, самодурна и большая ханжа. В доме она устроила особенную моленную со множеством икон и лампадок, по субботам и канунам праздников местный приходский священник служил в ней всенощную. Наталью Ивановну постоянно окружали монахини и странницы, они льстили ей, вели душеспасительные беседы, пересыпали их слезными и наговорами на детей и слуг, не сумевших им угодить. Тогда следовала грозная расправа.

В самом строгом монастыре послушниц не держали в таком слепом повиновении, как сестер Гончаровых в доме матери. Если, случалось, какую-либо из них призывали в неурочное время к матери, то сердце у призванной замирало, а рука перед дверью творила крестное знамение. Наталья Ивановна строго наблюдала, чтобы дочери никогда не возвышали голоса, не пускались с гостями ни в какие серьезные рассуждения, а когда заговорят старшие, молчали бы и слушали. Вставать они должны были с зарею, ложиться в десять вечера, посещать все

церковные службы. Читать книги с мало-мальски романтическим содержанием строжайше запрещалось. За провинности мать бивала дочерей по щекам. В основу их образования было положено тщательное изучение танцев и знание французского языка лучше своего родного. Домашняя атмосфера была очень тяжелая: сумасшедший отец, деспотическая и взбалмошная мать. Имущественные дела были сильно расстроены, денег никогда не было, нуждались в самом необходимом. На балы дочери иногда приезжали в рваных башмаках. Когда Пушкин, женихом, бывал у Гончаровых, мать старалась выпроводить его до завтрака или обеда.

Наталья Николаевна была младшею из трех дочерей. Красоты она была исключительной. Когда ей исполнилось шестнадцать лет и девушку по обычаю стали вывозить в свет, гул восхищения прокатился по всем гостиным. Среди московских красавиц она сразу выдвинулась на первое место, рядом с блестящей Алябьевой. В Алябьевой видели олицетворение красоты классической, в Гончаровой — красоты романтической. Пушкин увидел Наталью Николаевну на балу в первый же год появления ее в московском свете, в 1828 году. Она была в белом воздушном платье, с золотым обручем на голове. Пушкин был ей представлен и тогда же сказал, что участь его будет навеки связана с нею. Граф Ф. И. Толстой-Американец, старинный знакомый Гончаровых, по просьбе Пушкина съездил к ним и испросил позволения привезти Пушкина. Пушкин стал бывать у Гончаровых.

Мы не знаем, какой характер носило его общение с Натальей Николаевной. В это же время Пушкин часто посещал в Москве семейство Ушаковых; там с двумя красавицами-дочерьми у него происходило живое общение на почве литературных и музыкальных интересов, ему там восторженно поклонялись как поэту, он был блестящ, весел, шаловлив. Наталья же Николаевна, по некоторым сообщениям, в то время совсем еще даже не читала Пушкина, вообще же всю жизнь была к поэзии глубоко равнодушна. И какое могло быть духовное общение у Пушкина с малообразованною шестнадцатилетней девочкой, обученной только танцам и умению болтать по-французски? Он созерцал ее, «благоговевя богомольно перед святыней красоты», горел любовью, но чувствовал, что она к нему равнодушна, что ему нечем ее заинтересовать и увлечь. И был с нею застенчив, робок, как в первый раз влюбленный мальчик. «Карс» — так называл он ее у Ушаковых — по имени турецкой крепости, признававшейся неприступною. И вообще в семье Гончаровых он ощущал холод и стеснение. Матери он не нравился. Пушкину не раз случалось проговариваться, выказывая вольнодумное отношение свое к религии и к императору Александру I, Наталья Ивановна же была очень религиозна, а к Александру относилась с благоговением. Несмотря на все это, в конце апреля 1829 года Пушкин через того же Толстого-Американца посватался к Наталье Николаевне. Напрямик ему не отказали, но отозвались, что надо подождать и посмотреть, что Наташа еще слишком молода и т. п. Пушкин в ту же ночь уехал на Кавказ в действующую армию. «Спросите, — зачем? — писал он впоследствии Гончаровой-матери. — Клянусь, сам не умею сказать; но тоска произвольная гнала

меня из Москвы; я бы не мог в ней вынести присутствия вашего и ее».

Осенью Пушкин возвратился с Кавказа в Москву. Было утро. У Гончаровых дети сидели в столовой за чаем, мать еще спала. Вдруг стук на крыльце, и вслед за тем в самую столовую влетела из прихожей калоша. Это Пушкин так торопливо раздевался. Вошел и тотчас же спросил Наталью Николаевну. Но она не посмела выйти без разрешения матери. Разбудили Наталью Ивановну. Она приняла Пушкина в постели, — приняла молчательно и очень холодно. С Наташей ему удалось увидаться, но она отнеслась к нему тоже холодно и невнимательно. Пушкин оробел, у него не хватило решимости объясниться с нею. Он уехал в Петербург, по его словам, «со смертью в душе». С болью и досадою он сознавал, что был смешон в своей робкой застенчивости, что в людях его лет молодой девушке может нравиться никак не робость.

В Петербурге Пушкин тосковал, кутил, безудержно играл в карты, порывался уехать куда-нибудь подальше, просился во Францию, в Италию; если туда нельзя, то в Китай с отправляющеюся туда русской миссией. И писал:

*Поедем, я готов: куда бы вы, друзья,
Куда б ни вздумали, готов за вами я
Повсюду следовать, надменной убегая:
К подножию ли стен далекого Китая,
В кипящий ли Париж, туда ли, наконец,
Где Тасса не поет уже ночной гребец,
Где древних городов под пеплом дремлют мощи,
Где кипарисные благоухают рощи,
Повсюду я готов. Поедем... Но, друзья,
Скажите: в странствиях умрет ли страсть моя?
Забуду ль гордую, мучительную деву,
Или к ее ногам, ее младому гневу,
Как дань привычную, любовь я принесу?..*

В выезде за границу Пушкину было отказано.

Раннею весною 1830 года в Москве кн. П. А. Вяземский увидел на балу у генерал-губернатора Наталью Николаевну и поручил своему знакомому И. Д. Лужину, который должен был танцевать с Гончаровой, как бы мимоходом заговорить с нею и ее матерью о Пушкине. Мать и дочь отозвались о Пушкине благосклонно и просили ему кланяться. Лужин, приехав в Петербург, передал Пушкину у Карамзиных этот поклон. Пушкин ожил духом, мигом собрался и покатил в Москву. Прямо из кибитки попал на концерт. Первая знакомая, которая ему там встретилась, была Наталья Николаевна. Он посетил Гончаровых. Мать приняла его ласково. Пушкин опять стал бывать у них, и 6 апреля 1830 года вторично сделал предложение. Почему изменилось у Гончаровых отношение к Пушкину, почему так торопились выдать замуж семнадцатилетнюю блестящую красавицу с самыми заманчивыми возможностями впереди, — мы не знаем. Но предложение Пушкина было принято.

Свершилось то, чего с такою пылкостью и тоскою добивался Пушкин в течение полутора лет. Но в душе его было смутно

и нерадостно. Прежде всего он ясно сознавал, что невеста его не любит. Он писал: «Только привычка и продолжительная близость могут доставить мне ее привязанность; я могу надеяться со временем привязать ее к себе, но во мне нет ничего, что могло бы ей нравиться. В ее согласии отдать мне свою руку я могу видеть только свидетельство спокойного равнодушия ее сердца». Одним словом, «стерпится—слюбится»? А если не слюбится? Пушкин с тревогой задавал себе вопрос: сохранит ли его жена свое «спокойное равнодушие» среди окружающего красавицу удивления, поклонения, искушений? Ей станут говорить, что только несчастная случайность помешала ей вступить в другой союз, более равный, более блестящий, более достойный ее. Не явится ли у нее сожаление? Не будет ли она смотреть на него, Пушкина, как на препятствие, как на человека, обманом ее захватившего? Не почувствует ли она к нему отвращения? И ко всему — Пушкин не мог не сознавать, что они с Гончаровой вовсе не пара, что ее совершенно не интересует все, чем он живет. И все-таки он неотрывно тянулся к ней. Слепительная красота, молодость и чистота только что расцветшей девушки пьянили душу сладострастной жаждой обладания и оттесняли в сторону все встававшие сомнения и колебания. С шутовщиной откровенностью Пушкин писал княгине В. Ф. Вяземской: «Первая любовь всегда есть дело чувства. Вторая — дело сладострастия. Наталья — моя сто тринадцатая любовь». Порою Пушкина охватывал страх перед тем, на что он идет, и у многих друзей было впечатление, что он рад был бы, если б свадьба расстроилась. Но машина уже катилась по рельсам, красота девушки продолжала будить желания, а в душе была усталость от беспутной холостой жизни, жажда тишины, семейного уюта. И Пушкин шел к роковой цели, как бык под занесенный охотничий выстрел.

Отношения с матерью невесты не ладились. Стычки, колкости, неприятности посыпались на Пушкина задолго до того, как Наталья Ивановна сделалась фактической его тещей. Несколько раз свадьба висела на волоске. Осенью 1830 года Пушкин поехал в Нижегородскую губернию для устройства имущественных своих дел. Перед отъездом его Гончарова-мать закатила ему сцену самую дикую и нелепую. Пушкин писал невесте: «Я отправляюсь в Нижний без уверенности в своей судьбе. Если ваша мать решила расторгнуть нашу свадьбу и вы согласны повиноваться ей, я подпишусь под всеми мотивами, какие ей будет угодно привести своему решению, даже и в том случае, если они будут настолько же основательны, как сцена, сделанная ею мне вчера, и оскорбления, которыми ей угодно было меня осыпать. Может быть, она права, и я был не прав, думая одну минуту, что я был создан для счастья. Во всяком случае, вы совершенно свободны; что же до меня, то я даю вам честное слово принадлежать только вам или никогда не жениться». А другу своему Плетневу Пушкин писал: «Милый мой, расскажу тебе все, что у меня на душе: грустно, тоска, тоска. Жизнь жениха тридцатилетнего хуже «тридцати лет жизни игрока». Дела будущей тещи моей расстроены. Свадьба моя отлагается день от дня далее. Между тем я хладею, думаю о заботах женатого человека, о прелести холостой жизни.

К тому же московские сплетни доходят до ушей невесты и ее матери, — отселе размолвки, колкие обиняки, ненадежные примирения, — словом, если я и не несчастлив, по крайней мере не счастлив. Осень подходит. Это любимое мое время — здоровье мое обыкновенно крепнет — пора моих литературных трудов настает, а я должен хлопотать о приданом да о свадьбе, которую сыграем Бог весть когда. Все это не очень утешно. Еду в деревню, Бог весть буду ли там иметь время заниматься... Так-то, душа моя. От добра добра не ищут. Черт меня догадал бредить о счастье, как будто я для него создан. Должно было мне довольствоваться независимостью...»

В Нижегородской губернии Пушкину пришлось пробыть более трех месяцев: разразилась холера, и карантин отрезал его от Москвы. Письма невесты успокоили Пушкина — о разрыве речи не было. Гончарова-мать вмешивалась и в переписку дочери с женихом, она заставляла ее писать в письмах под ее диктовку наставления, чтобы Пушкин соблюдал посты, молился Богу и т. п., даже заставляла писать жениху колкости. Но дочь все это помещала в постскриптуме к письмам самым нежным, так что Пушкин уже понимал, откуда эти приписки.

В декабре Пушкин воротился в Москву. Он нашел тещу опять за что-то на него озлобленною. «Насилу с нею сладил, — писал он Плетневу, — но, слава Богу, сладил». Однако стычки и колкости продолжались. Наталья Ивановна говорила Пушкину:

— Вы должны помнить, что вступаете в наше семейство.

Пушкин на это отвечал:

— Это дело вашей дочери — я на ней хочу жениться, а не на вас.

Пушкин настаивал, чтобы свадьба была поскорее, но Наталья Ивановна тянула время и наконец объявила, что у нее нет денег на приданое. Пушкин ответил, что готов взять ее дочь и без приданого. На это Наталья Ивановна не согласилась. Тогда Пушкин из денег, полученных за заклад нижегородского его имени, дал Наталии Ивановне займы одиннадцать тысяч рублей на приданое, хорошо, конечно, зная, что назад он их не получит. Много из этих денег пошло на разные пустяки и на собственные наряды Наталии Ивановны. В качестве свадебного подарка она преподнесла дочери... залоговые квитанции на драгоценные уборы — бриллианты и жемчуга, — предоставляя выкупить их самому Пушкину.

Чем ближе была свадьба, тем грустнее становилось Пушкину. За неделю до свадьбы он писал одному из своих старых друзей: «Все, что бы ты мог сказать мне в пользу холостой жизни и противу женитьбы, все уже мною передумано. Я хладнокровно взвесил выгоды и невыгоды состояния, мною избираемого. Молодость моя прошла шумно и бесплодно. До сих пор я жил иначе, как обыкновенно живут. Счастья мне не было. «Счастье — только на избитых тропах». Мне за тридцать лет. В тридцать лет люди обыкновенно женятся, я поступаю, как люди, и вероятно не буду в том раскаиваться. К тому же я женюсь без упоения, без ребяческого очарования. Будущность является мне не в розах, но в строгой наготе своей. Горести не удивят меня: они входят в мои домашние расчеты. Всякая радость будет мне неожиданностью».

Бартеневу случилось видеть еще одно письмо Пушкина, написанное почти накануне свадьбы и еще более поразительное по вещему предвидению своей судьбы. Там Пушкин прямо писал, что ему, вероятно, придется погибнуть на поединке.

Как-то у пушкинского друга Нащокина собрались цыганки. Пели. Пушкин попросил цыганку Таню спеть ему что-нибудь на счастье. Но у той было свое сердечное горе, она не подумала и спела хоть и подблюдную, но грустную песню, и в пение вложила всю свою печаль. Пушкин схватился рукою за голову и зарыдал. И сказал:

— Ах, эта ее песня все во мне перевернула, она мне не радость, а большую потерю предвещает!

И поспешно уехал, ни с кем не простившись.

Накануне свадьбы Пушкин устроил у себя «мальчишник» для ближайших друзей — прощание с холостой жизнью. Он был на этой пирушке так грустен, что всем стало неловко: веселое прощание с молодостью больше походило на похороны.

Свадьба была назначена на 18 февраля 1831 года. Утром вдруг Наталья Ивановна дала знать Пушкину, что свадьбу надо еще отложить, что у нее нет денег на карету. Пушкин опять послал денег. Венчание произошло в церкви Старого Вознесения на Большой Никитской. Пушкин, в противоположность последним дням, был очень радостен, весел, смеялся, был любезен с друзьями. Но во время обряда, при обмене колец, кольцо Пушкина упало на пол. Потом у него погасла свечка. Суеверный Пушкин побледнел и сказал:

— Все — плохие предзнаменования!

Вечером был большой свадебный ужин в новонанятой квартире Пушкина на Арбате, в доме Хитровой. Дом этот сохранился до настоящего времени. Утром, после брачной ночи, Пушкин встал с постели, да так весь день жены и не видел. За ним зашли приятели, он с ними заговорился, забыл про жену и пришел домой только к обеду. Она очутилась одна в чужом доме и заливалась слезами.

Пушкин рассчитывал остаться жить в Москве. Они с женою выезжали. Устроили бал у себя. Московский почт-директор А. Я. Булгаков писал брату: «Пушкин славный задал вчера бал. И он, и она прекрасно угощали гостей своих. Она прелестна, и они, как два голубка. Дай Бог, чтобы всегда так продолжалось. Много все танцевали, и так как общество было небольшое, то я также потанцевал по просьбе прекрасной хозяйки, которая сама меня ангажировала, и по приказанию старика Юсупова: «И я бы танцевал, если бы у меня были силы», — говорил он. Ужин был славный. Всем казалось странным, что у Пушкина, который жил все по трактирам, такое вдруг завелось хозяйство». Сам Пушкин через неделю после свадьбы писал Плетневу: «Я женат — и счастлив. Одно желание мое, — чтоб ничего в жизни моей не изменилось: лучшего не дождусь. Это состояние для меня так ново, что, кажется, я переродился».

Но стычки с тещей все усиливались. Очень скоро Наталья Ивановна сделала Пушкину пребывание в Москве совершенно нестерпимым. Она наговаривала на него дочери, изображала ей

его как человека ненавистного, жадного, презренного ростовщика(!), говорила ей: «С твоей стороны глупо позволять мужу...» и т. п. «Сознавайтесь, — писал Пушкин теще по отъезде своем из Москвы, — что это значит проповедывать развод. Жена не может, сохраняя приличие, выслушивать, что ее муж — презренный человек, а обязанность моей жены подчиняться тому, что я себе позволяю. Не женщине в восемнадцать лет управлять мужчиною тридцати двух лет. Я представил доказательства терпения и деликатности; но, по-видимому, я только напрасно трудился. Я ценю собственное спокойствие и сумею его обеспечить». Пушкин переехал с женою на лето в Царское село, а потом поселился с нею в Петербурге.

Сомнительно, чтобы Наталья Николаевна обрела в супружеской жизни с Пушкиным много радостей. «Спокойное равнодушие сердца», — этого слишком мало, чтобы получить удовлетворение и счастье в неистово-страстных объятиях человека, имеющего над девушкою права мужа. Как добрая жена Наталья Николаевна покорно исполняла свой супружеский долг. Но... Вот что писал Пушкин:

*О, как мучительно тобою счастлив я,
Когда, склонясь на долгие моления,
Ты предаешься мне нежна, без упоенья,
Стыдливо-холодна, восторгу моему
Едва отвечаешь, не внемлешь ничему,
И разгораешься потом все боле, боле,
И делишь, наконец, мой пламень поневоле.*

70 Познанная таким образом любовь трудно переживается женщиной и накладывает на ее душу печать страдания. Графиня Фикельмон, видевшая супругов через три месяца после свадьбы, писала: «Физиономии мужа и жены не предсказывают ни спокойствия, ни тихой радости в будущем: у Пушкина видны все порывы страстей, у жены — вся меланхолия отречения от себя». И ее поражало «страдальческое выражение лба» молодой жены Пушкина.

О внутренней жизни Натальи Николаевны, об ее переживаниях в сожителстве с Пушкиным мы решительно ничего не знаем. До нас дошло всего два-три письма Натальи Николаевны чисто делового содержания, и то уже из послепушкинской поры ее жизни; мы не знаем ни одного ее письма к Пушкину — жениху или мужу, почти не встречаем указаний на ее переживания в воспоминаниях друзей, кроме лживых, тенденциозных сообщений дочери ее от второго брака А. П. Араповой, — сообщений, в которых нельзя верить ни одному слову. Однако, во всяком случае, можно думать, что Наталье Николаевне приходилось переживать много тяжелого. Пушкин жену любил, это несомненно; письма его к ней полны самой нежной заботливости. Но с эгоизмом человека, всею душою живущего в своем деле, он старался по возможности оградить себя от всяких лишних волнений. Нащокин рассказывал о Пушкине: «плакал при первых родах и говорил, что убежит от вторых». И правда, — стал систематически бегать от последующих родов. Весною 1835 года, без всякой видимой нужды, ко всеобщему удивлению, он вдруг

уехал в деревню, собирався возвратиться «прежде десяти дней, чтобы успеть к родам Наташи», но опоздал, и приехал, когда жена уже родила. Через год жена опять должна была родить — опять Пушкин задержался в Москве у Нащокина, и по возвращении писал ему: «Я приехал к себе в полночь, и на пороге узнал, что Наталья Николаевна благополучно родила дочь за несколько часов до моего приезда». Эти постоянные его опаздывания обратили на себя внимание и посторонних. Баронесса Евпр. Ник. Вревская писала мужу: «Наталья Николаевна родила, и Александр Сергеевич приехал опять несколько часов позже». Тяжкое и мучительное для женщины дело — роды, в это время незаменимо ценны помощь и ласка близкого человека, и горько его себялюбивое отсутствие. По поводу первого опоздания Пушкина мать его писала своей дочери: «Радость свидания с мужем так расстроила Наташу, что она проболела весь день». Радость ли расстроила родильницу или какое другое чувство — навряд ли это могла знать мать Пушкина.

Много тяжелых минут приходилось переживать Наталье Николаевне и от ревности. Пушкин не был однолюбом. Он всегда был готов страстно увлечься всякою новою понравившеюся ему женщиною. Женитьба в этом отношении несколько его не изменила. С. Н. Карамзина, дочь историка, писала в 1834 году: «Жена Пушкина часто и преискренно страдает мучениями ревности, потому что посредственная красота и посредственный ум других женщин не перестают кружить поэтическую голову ее мужа». Однажды на балу у австрийского посла Фикельмона Пушкин усердно ухаживал за приехавшею из Мюнхена белокурой красавицей баронессой Крюднер. Жена это заметила и сейчас же уехала. Пушкин хватился жены и поспешил домой. Наталья Николаевна стояла перед зеркалом и снимала с себя уборы.

— Что с тобой? Отчего ты уехала?

Вместо ответа Наталья Николаевна дала мужу полновесную пощечину. Пушкин так и покатился со смеху. Он забавлялся и радовался тому, что жена его ревнует, и со смехом сообщал Вяземскому, что «у его мадонны рука тяжеленька». Ревность и подозрения Натальи Николаевны были далеко не лишены оснований. У Пушкина за время его женатой жизни был целый ряд увлечений: графиня Н. Л. Сологуб, А. О. Смирнова, графиня Д. Ф. Фикельмон. За время одной из беременностей жены он интимно сошелся с девушкой — сестрой ее Александриной Гончаровой.

В напряженной творческой и умственной жизни мужа Наталья Николаевна неспособна была принимать никакого участия. Все его интересы по-прежнему оставались для нее глубоко чуждыми. Пушкин в ее присутствии зевал и искал общества более интересного. Это, естественно, обижало и оскорбляло Наталью Николаевну. Но естественно было и отношение к ней Пушкина. Полный еще творческого волнения, он приходил к ней прочесть новые свои стихи, а она восклицала:

— Господи, до чего ты мне надоел со своими стихами, Пушкин!

К поэзии и литературе она вообще была глубоко равнодушна.

Однажды поэт Баратынский спросил, не помешает ли он ей, если в ее присутствии прочтет Пушкину новые свои стихи. Наталья Николаевна лобезно ответила:

— Читайте, пожалуйста! Я не слушаю.

По-видимому, в семейной жизни мало что было привлекательного для Натальи Николаевны. Зато очень скоро после замужества перед нею широко распахнулись двери в мир, заливший душу маленькой женщины блеском, счастьем и утехами удивительного тщеславия. Наталья Николаевна была хороша поразительно. Высокого роста (значительно выше Пушкина), стройная, с узкой талией и красивым бюстом, с необыкновенно свежим цветом лица; глаза у нее были чуть-чуть косые, и это придавало ее взгляду некоторую неопределенность, очень к ней шедшую. Пушкин называл ее «моя косая мадонна». Люди, впервые встречаясь с Натальей Николаевной, останавливались в изумлении, друзья предупреждали друзей:

— Не годится слишком на нее засматриваться!

Один немец-путешественник видел ее на Островах едущею верхом по аллее и писал: «Это было, как идеальное видение, как картина, выступавшая из пределов действительности и возможная разве в Обероне Виланда». В первый же год замужества, когда Пушкины поселились на лето в Царском Селе, красота Натальи Николаевны привлекла к себе внимание самых высших сфер. Императрица выражала желание, чтобы Наталья Николаевна была при дворе. С переездом осенью в Петербург Наталья Николаевна через тетку свою, уважаемую при дворе фрейлину Ек. Ив. Загряжскую, перезнакомилась со всей знатью. Свет принял ее с распростертыми объятьями. В ноябре 1831 года сестра Пушкина писала своему мужу: «Моя невестка — женщина наиболее здесь модная; она вращается в самом высшем свете, и говорят вообще, что она — первая красавица; ее прозвали Психеей». Все были влюблены в Наталью Николаевну. Император Николай садился на ужинах рядом с ней; тринадцатилетний мальчик Петенька Бутурлин на балу родителей, краснея и заикаясь, спешил объясниться ей в любви, пока его еще не прогна-ли спать.

Жизнь Натальи Николаевны проходила в непрерывных увеселениях, празднествах и балах. Возвращалась домой часов в четыре-пять утра, вставала поздно; обедали в восемь вечера; после обеда она переодевалась и опять уезжала. Ее сопровождал муж. Давно уже для Пушкина отошла пора, когда он сам увлекался танцами. Но нельзя же было жене выезжать одной. И все вечера Пушкин проводил на балах: стоял у стены, вяло глядел на танцующих, ел мороженое и зевал. Однажды он со вздохом сказал своей знакомой:

*Неволя, неволя, боярский двор:
Стоя наешься, сидя напишься!*

Друзья с горечью наблюдали, в каких ужасных для творчества условиях жил Пушкин. Гоголь писал: «Его нигде не встретишь, как только на балах. Так он протранжирует всю жизнь свою». И Плетнев: «Пушкин ничего не делает, как только утром переби-

рает в гадком сундуке своем старые к себе письма, а вечером возит жену по балам». И сам Пушкин с грустью писал Нащокину: «Заботы о жизни мешают мне скучать. Но нет у меня досуга вольной холостой жизни, необходимой для писания. Кружусь в свете, жена моя в большой моде,— все это требует денег, деньги достаются мне через труды, а труды требуют уединения...»

И вот еще: эти деньги. Светской женщине-красавице необходимы элегантные наряды, приличный выезд, поместительная квартира, дача на модных островах. Бюджет получился совершенно фантастический. Женясь, Пушкин полагал, что ему придется проживать втрое больше, чем в холостое время. Оказалось — вдесятеро. Необходимо было иметь в год двадцать пять, тридцать тысяч рублей дохода. Где было взять такие деньги? Пушкин метался по кредиторам, должал друзьям и малознакомым, должал тысячами в магазины, закладывал у ростовщиков не только свои вещи, но и вещи близких (Соболевского, Александрины Гончаровой). За первые четыре года женатой жизни он сделал долгов на шестьдесят тысяч рублей. Еще через два года, ко времени смерти Пушкина, долгов оказалось уже на сто двадцать тысяч. Кому только не пришлось опеке уплачивать пушкинские долги: книжным магазинам, поставщице дров, портному, ресторанам; даже своему камердинеру Пушкин остался должен полтора ста рублей. Наталья Николаевна несколько не печалилась о денежных затруднениях мужа и продолжала беззаботно наслаждаться жизнью. Пушкин с горечью писал ей: «Какие вы помощницы или работницы? Вы работаете только ножками на балах и помогаете мужьям мотать».

О взаимоотношениях, существовавших между Пушкиным и его женой, мы знаем очень мало, так же, как и о характере Натальи Николаевны. Но, по всему судя, она умела заставить мужа действовать согласно ее желаниям. Пушкин давно уже страстно порывался оставить Петербург и уехать в деревню — «в обитель дальнюю трудов и мирных нег». «Поля, сад, крестьяне, книги,— мечтательно записывал он,— труды поэтические, семья, любовь etc.— религия, смерть». Но Наталья Николаевна и слышать не хотела об отъезде из Петербурга; не хотела даже проводить лето в деревне, а желала жить на даче под Петербургом; за все время жизни Пушкина она даже ни разу не побывала ни в Михайловском, ни в Болдине. Вздумала Наталья Николаевна поселить у себя живших с матерью в деревне двух старших сестер. Пушкин ей писал: «Эй, женка, смотри!.. Мое мнение: семья должна быть одна под одной кровлей: муж, жена, дети, покамест малы, родители, когда уже престарелы, а то хлопот не оберешься и семейственного спокойствия не будет». Однако сделалось, конечно, по желанию Натальи Николаевны: обе сестры, Екатерина Николаевна и Александра Николаевна Гончаровы, поселились в Петербурге у Пушкиных. Домашним хозяйством Наталья Николаевна совершенно не занималась, также и детьми. Балы, обеды, портнихи и модные магазины занимали все ее время. Пушкин жил дома беспризорно, без заботливого женского глаза. Один современник рассказывает, как резало ему глаза во

время прогулок по Невскому проспекту, что на старенькой бекешке Пушкина сзади на талии не доставало пуговицы. «Отсутствие этой пуговицы, — пишет он, — меня каждый раз смущало, когда я встречал Пушкина и видел это. Ясно, что около него не было ухода». А художник Карл Брюллов вспоминал, как однажды вечером Пушкин затащил его к себе. Жены по обыкновению дома не было. Дети уже спали. Пушкин их будил и выносил к Брюллову поодиночке на руках. Это не шло к нему, было грустно и рисовало картину натянутого семейного счастья. С обычною своею грубоватостью Брюллов воскликнул:

— На кой чорт ты женился!

Успехи Натальи Николаевны в свете непрерывно шли в гору. Очень скоро уже не Пушкин стал освещать ее своею славою, а она, первейшая, всех собою восхищавшая красавица, — его, скромного титулярного советника и с-о-ч-и-н-и-т-е-л-я. Гостившая в Петербурге одна деревенская знакомая Пушкина, Анна Николаевна Вульф, писала в провинцию сестре: «Я здесь меньше о Пушкине слышу, чем в Тригорском даже; об его жене гораздо больше говорят еще, чем об нем; от времени до времени я постоянно слышу, как кто-нибудь кричит об ее красоте». Из-за Натальи Николаевны Пушкин был произведен в камер-юнкеры. «Двору хотелось, чтоб Наталья Николаевна танцевала в Аничковом», — записал Пушкин в дневнике. Двору — это, конечно, значит, царю. В Аничковом дворце устраивались интимные царские вечера, куда принято было приглашать только лиц с придворными званиями. Пожалованием Пушкина в камер-юнкеры император Николай сразу достиг двух целей: сделал для себя возможными частые встречи с Натальей Николаевной, за которую ухаживал, и глубоко унижил Пушкина, которого ненавидел: камер-юнкеры были обыкновенно очень еще молодые люди, и тридцатипятилетний, уже седеющий Пушкин должен был производить в их толпе очень смешное впечатление. Пушкин был от пожалования в бешенстве, а Наталья Николаевна — в восхищении, что ей открылся доступ в Аничков дворец. Царь открыто за нею ухаживал. Письма Пушкина к жене полны намеками на эти ухаживания. «Не кокетничай с царем», — пишет он ей из Болдина. Подшучивает, что «кого-то» она довела до такого отчаяния своим кокетством и жестокостью, что он завел себе в утешение гарем из театральных воспитанниц. Уже серьезно пишет: «Побереги меня; к хлопотам, неразлучным с жизнью мужчины, не прибавляй беспокойств семейственных, ревности и т. д.»

А поводов к ревности было очень достаточно. Пушкин рассказывал Нащокину, что Николай, как офицеришка, ухаживает за его женою, нарочно по утрам по несколько раз проезжает мимо ее окон, а ввечеру, на балах, спрашивает, отчего у нее всегда шторы опущены. На ужинах царь неизменно сидел рядом с Натальей Николаевной. Для самодержца всероссийского пожелать — значило получить желаемое. Француз А. Галле де Кюльтюр, долго живший в России в качестве секретаря у одного знатного богача, рассказывает: «Царь — самодержец в своих любовных историях, как и в остальных поступках. Если он отличает женщину на прогулке, в театре, в свете, он говорит

одно слово дежурному адъютанту. Предупреждают супруга, если она замужем, родителей, если она девушка, о чести, которая им выпала. Нет примеров, чтобы это отличие было принято иначе, как с изъявлением почтительнейшей признательности. Равным образом нет еще примеров, чтобы обесчещенные мужья или отцы не извлекали прибыли из своего бесчестия». Все это рассказывала французу молодая дама — любезная, умная и добродетельная. Галле де Кюльтюр спросил:

— Неужели же царь никогда не встречает сопротивления со стороны самой жертвы его прихоти?

Дама с выражением крайнего изумления ответила:

— Никогда! Как это возможно?

— Но берегитесь: ваш ответ дает мне право обратить вопрос к вам.

— Объяснение затруднит меня гораздо меньше, чем вы думаете. Я поступлю, как все. Сверх того, мой муж никогда не простил бы мне, если бы я ответила отказом.

По всем данным судя, Наталья Николаевна не нашла бы никаких препятствий поступить, «как все», если бы муж ее был хоть сколько-нибудь подобен мужу собеседницы Галле де Кюльтюра. Но Пушкин и мысли не мог допустить, чтобы жена его стала царской наложницей. Вероятно, он сумел и Наталью Николаевну заразить сознанием чудовищной позорности и совершенной моральной невозможности такого положения. Наталья Николаевна держала императора в должных границах, так что ему ничего больше не оставалось, как изображать добродетельно-попечительного отца и давать Наталье Николаевне благожелательные советы держаться в свете поосторожнее, беречь свою репутацию и не давать повода к сплетням.

Так-то блистала Наталья Николаевна, упивалась действием неотразимой своей красоты, шла по дороге, устланной мужскими сердцами. Но собственное ее сердце оставалось свободным. Мужу она была «доброй женой», добросовестно чуть не каждый год рожала ему детей, но как женщина относилась к нему равнодушно. Пришла, однако, пора — настоящую любовь узнала и сама Наталья Николаевна.

Приехал в Петербург молодой француз барон Жорж Дантес, монархист-легитимист, приверженец законной бурбонской династии, не пожелавший остаться во Франции после июльской революции 1830 года. Он был принят прямо офицером в первый из всех гвардейских кавалерийских полков — кавалергардский. В высшем свете он сразу занял очень заметное положение. Высокого роста красавец с дерзкими выпуклыми глазами, самоуверенный, живой, веселый, остроумный, везде желанный гость. Дамы носили его на руках и отбивали друг у друга. Один знакомый сказал Дантесу:

— Вам, барон, говорят, очень везет у женщин.

Дантес с усмешкой ответил:

— Женитесь, граф, и я вам это докажу на деле.

И вот — сошлись две встречных дорожки: одна, устланная мужскими сердцами, другая — женскими. Наталья Николаевна познакомилась с Дантесом. Она его очаровала. Ей тоже с каж-

дым разом все больше начинал нравиться этот статный красавец с нежными дерзко-почтительными глазами, тайно сулившими острые, никогда ею не испытанные радости. Он умел разговаривать так, что ей с ним всегда было весело, ему, как и ей, не было решительно никакого дела до всяких этих литератур, журналов, стихов, политик. Разговор был искристо-щипучий, щекоцущий, вызывающий легкое хмельное головокружение. Обоих подхватил страстный, горячий вихрь, головы затуманились влюбленностью, — тою степенью влюбленности, когда люди уже перестают обращать внимание на окружающих и каждый их взгляд, каждый жест слышно для всех поет песнь любви и счастья. В дневнике одного современника находим мимолетную запись о наблюдавшейся им встрече Дантеса с Натальей Николаевной на балу у итальянского посланника:

«В толпе я заметил Дантеса. Мне показалось, что глаза его выражали тревогу, он искал кого-то взглядом и, внезапно устремившись к одной из дверей, исчез в соседней зале. Через минуту он появился вновь, но уже под руку с г-жою Пушкиной. До моего слуха долетело:

— Уехать — думаете ли вы об этом — я этому не верю — вы этого не намеревались сделать...

Выражение, с которым произнесены эти слова, не оставляло сомнения насчет правильности наблюдений, сделанных мною ранее: они безумно влюблены друг в друга! Пробыв на балу не более получаса, мы направились к выходу: барон танцевал мазурку с г-жой Пушкиной. Как счастливы они казались в эту минуту!»

Над головой Пушкина все назойливее, как влипчивая осенняя муха, начинало мелькать ужасное слово «рогоносец». На одном балу молодой негодяй, косолапый князь П. В. Долгоруков, подмигивая приятелям на Дантеса, поднимал сзади головы Пушкина пальцы, расставленные, как рога. Рогоносец! Что может быть смешнее и презреннее этой породы людей? В свое время и сам Пушкин в достаточной мере поработал над их осмеянием. В «Гаврииаде», например, он писал:

*Но дни бегут, и время сединою
Мою главу тихом посеребрит,
И важный брак с любезною женою
Пред алтарем меня соединит.
Иосифа прекрасный утишитель!
Молю тебя, колена преклоня,
О, рогачей заступник и хранитель,
Молю — тогда благослови меня,
Даруй ты мне беспечность и смиренность,
Даруй ты мне терпенье вновь и вновь,
Спокойный сон, в супруге уверенье,
В семействе мир и к ближнему любовь!*

Драма назревала быстро. Однажды молодой князь Павел Вяземский шел по Невскому с Натальей Николаевной, ее сестрой Екатериной и Дантесом. «В это время, — рассказывает он, — Пушкин промчался мимо нас, как вихрь, не оглядываясь,

и мгновенно исчез в толпе гуляющих. Выражение лица его было страшно. Для меня это был первый признак разразившейся драмы».

Утром 4 ноября 1836 г. Пушкин получил по городской почте написанный измененным почерком анонимный пасквиль такого содержания:

«Великие кавалеры, командоры и рыцари светлейшего Ордена Рогоносцев в полном собрании своем, под председательством великого магистра Ордена, его превосходительства Д. Л. Нарышкина единогласно избрали Александра Пушкина коадьютором (заместителем) великого магистра Ордена Рогоносцев и историографом Ордена».

Д. Л. Нарышкин был муж красавицы Марии Антоновны, находившейся в долготелней связи с императором Александром I. Пушкин почему-то заподозрил в посылке пасквиля голландского посланника барона Геккерена, приемного отца Дантеса, и, находя неудобным вызывать на дуэль посланника, вызвал Дантеса. Старый Геккерен очень испугался последствий, которые могла иметь для карьеры его и его сына предстоящая дуэль, и вместе с Дантесом они придумали такой выход.

В Дантеса давно уже была страстно влюблена старшая сестра Натальи Николаевны Пушкиной Екатерина Николаевна Гончарова. Увлекаясь Натальей Николаевной, Дантес не пренебрег и сестрою, вступил с нею в связь, и летом 1836 года она от него забеременела.

Навряд ли, к большому горю Дантеса, приемный отец его Геккерен и слышать не хотел о женитьбе его на Екатерине. Теперь, чтобы выпутаться из неприятного положения, в которое их поставил вызов Пушкина, они заявили, что Дантес ухаживал не за Натальей Николаевной, а за ее сестрою и готов на ней жениться. Пушкин взял свой вызов обратно.

10 января 1837 года произошла свадьба Дантеса с Екатериной Гончаровой.

Таким образом Дантес сделался родственником Пушкина. Он явился к нему со свадебным визитом, но Пушкин его не принял, и велел ему передать, что не желает иметь с ним никаких отношений.

Однако они постоянно встречались на великосветских балах и у общих знакомых — Вяземских, Карамзиных, Мещерских и др. Дантес продолжал ухаживать за Натальей Николаевной еще с большей настойчивостью, доходившей до наглости. Бешенство Пушкина его, видимо, забавляло, и он в его присутствии ухаживал за Натальей Николаевной с особенным усердием. На ужинах громогласно пил за ее здоровье. Отпускал шуточки в таком роде: на разъезде с одного бала, подавая руку своей жене, сказал так, чтобы Пушкин слышал:

— Пойдем, моя законная! — как бы давая всем понять, что у него есть еще другая, не «законная».

Это была настоящая бравада. Получалось впечатление, как будто Дантес хочет показать, что он женился не из боязни дуэли

и что если его поведение не нравится Пушкину, то он готов принять все последствия этого.

Перед пустоголовым болваном в кавалергардском мундире Пушкин все время оказывался в самом смешном и жалком положении и не мог этого не сознавать. И кипел бешенством. Однажды на вечере у Вяземских, когда Дантес с обычной неприкрытостью увивался подле Натальи Николаевны, графиня Нат. Викт. Строганова говорила княгине Вяземской, что у Пушкина такой страшный вид, что, будь она его женою, она не решилась бы вернуться с ним домой. Пушкин дошел почти до сумасшествия. Постоянно получались новые анонимки. Пушкин целыми днями разезжал по городу, загонял несколько месячных парных извозчиков, либо, запершись в кабинете, бегал из угла в угол и кусал ногти. При звонке в прихожей кричал прислуге:

— Если письмо по городской почте, — не принимать!

А сам, вырвав письмо из рук слуги, бросался опять в кабинет и там громко кричал что-то по-французски. Дочь Карамзина, княгиня Екатерина Николаевна Мещерская, приехав из-за границы в Петербург, была поражена лихорадочным состоянием Пушкина и судорожными движениями, которые начинались на его лице и во всем теле при появлении будущего его убийцы. Близкие, дальние, прислуга — все видели, что с Пушкиным творится что-то чудовищное. Одна Наталья Николаевна ничего не замечала и совершенно не ощущала надвигающейся грозы. Она могла быть равнодушна к Пушкину, могла его не любить, могла до полного самозабвения увлечься Дантесом, однако заметить-то творившееся с Пушкиным могла же! Была она не только неумна, но в ней совершенно отсутствовала та женская интуиция, которая чутко схватывает на лету и соображает всякое положение. Княгиня В. Ф. Вяземская старалась указать Наталье Николаевне на истинное положение дела, говорила ей:

— Я люблю вас, как свою дочь. Подумайте, чем все это может кончиться.

Наталья Николаевна беззаботно отвечала:

— Мне с ним весело. Он мне просто нравится. Будет то, что было два года сряду.

Настолько ничего не понимала, что простодушнейшим образом передала мужу все пошлости и двусмысленные каламбуры, которыми ее увеселял Дантес.

Был ясный и морозный ветреный январский день. Наталья Николаевна днем каталась по Дворцовой набережной. В четыре часа заехала за своими детьми, бывшими у княгини Е. Н. Мещерской, и воротилась домой. Стол уже был накрыт к обеду. В ожидании Пушкина Наталья Николаевна сидела в своем будуаре с сестрой Александриной. Вдруг, без доклада и не стучась, вошел подполковник Данзас, лицейский товарищ Пушкина. Бледный, стараясь быть спокойным, он сообщил, что Пушкин сейчас стрелялся с Дантесом и ранен, — впрочем, легко. Наталья Николаевна кинулась в переднюю; в нее уже вносили на руках раненого Пушкина. Увидев жену, он сказал, что рана его вовсе не опасна, и попросил ее не входить к нему, пока его не уложат.

Когда с близким человеком случается беда, иные женщины, даже совсем как будто слабые и беспомощные, вдруг исполняются невероятной силы, энергии и, забыв совершенно себя, целиком уходят в помощь ближнему. Есть другие женщины: при беде с близким человеком они сами становятся беспомощными, падают в обмороки, бьются в судорогах, не только не помогают окружающим, но отвлекают на уход за собою силы, нужные для близкого. Наталья Николаевна принадлежала ко второго рода женщинам. В тяжкие предсмертные дни Пушкина ей было совсем не до ухода за умирающим; напротив, всем приходилось ухаживать за нею самою, все заботились о ней, и в первую голову — сам умирающий. Пушкин до последней возможности удерживался от стонов, чтобы не расстраивать жену, просил пойти, сказать, что все, слава Богу, идет хорошо:

— А то ей там, пожалуй, наговорят!

И все время твердил ей, что она совершенно неповинна в случившемся.

Как — неповинна? Ну, да, неповинна в том, что «изменила» мужу, что «наставляла ему рога». Но глубоко виновна — и не может быть ей прощения — в том, что не замечала творившегося с Пушкиным, что ставила его перед всеми в смешное положение «рогоносца», что позволяла Дантесу держаться с нею так, как он держался. Пойми она, к чему грозит привести веселое ее времяпрепровождение с Дантесом, — и гениальный человек не умирал бы теперь перед нею с простреленным животом и раздробленным крестцом.

Было бы естественно Пушкину попрекнуть Наталью Николаевну. Он же ей: «Ты ни в чем не виновата!» Сестра Пушкина писала отцу: «Право, это было больше, чем благородство, — это было величие души. Это было лучше, чем простить».

Наталья Николаевна была в полном отчаянии: рыдала, впадала в летаргический сон; как привидение подкрадывалась к дверям комнаты мужа. Ему было уже совсем плохо, Пушкин раскрыл глаза и попросил моченой морошки. Когда ее принесли, он сказал:

— Позовите жену, пусть она меня покормит.

Наталья Николаевна опустила на колени у его изголовья, поднесла ему ложечку-другую и приникла лицом к лицу мужа. Он погладил ее по голове и сказал:

— Ну, ну, ничего, слава Богу, все хорошо!

Наталья Николаевна, обрадованная, вышла из кабинета и сказала окружающим:

— Вот вы увидите, что он будет жив!

И все продолжала твердить:

— Да, да, он останется жив!

Ал. Тургенев с изумлением записал в дневнике: «У него предсмертная икота, а жена его находит, что ему лучше, чем вчера!»

Умер. Княгиня Вяземская подошла к Наталье Николаевне и мягко сжала ей руки. Та повела обезумевшими глазами:

— Пушкин умер?!

Вяземская молчала.

— Скажите, скажите правду!

Вяземская выпустила ее руки и молча поникла головой. С Натальей Николаевной сделались самые страшные конвульсии, гибкий стан перегибался так, что ноги доходили до головы, зубы стискивались и трещали. Она закрыла глаза, призывала мужа, говорила с ним громко; утверждала, что он жив. Ничто не могло ее удержать. Она побежала к трупу, упала на колени. Густые темно-русые локоны в беспорядке рассыпались по плечам. Она склонялась лбом то к оледеневшему лбу мужа, то к его груди, называла его самыми нежными именами, просила прощения, толкала его и, рыдая, вскрикивала:

— Пушкин, Пушкин, ты жив?

Ее увели насильно, опасаясь за ее рассудок. Наталья Николаевна попросила к себе Данзаса. Когда он вошел, она со своего дивана упала перед ним на колени, целовала ему руки, просила прощения, благодарила за заботы об муже. Клялась перед всеми, что оставалась верна мужу, но винила себя, что допускала ухаживания Дантеса и не замечала страданий, какие доставляла Пушкину.

Материальная судьба вдовы устроилась очень хорошо. По приказанию императора уплачены были все долги Пушкина, жене выдано единовременное пособие в десять тысяч рублей и назначена пенсия, кроме того, по полторы тысячи рублей в год на каждого из сыновей, пенсия каждой дочери до замужества; велено на казенный счет принять сыновей в пажеский корпус и издать сочинения Пушкина в пользу вдовы.

Конечно, Наталья Николаевна стала предметом всевозможных толков, пересудов, сплетен. Оставаться в Петербурге было очень тяжело. Она быстро собралась: гроб с телом Пушкина стоял еще в квартире, а уже началась спешная укладка. Через десять дней после похорон Пушкина Наталья Николаевна с детьми и сестрой Александриной выехала в Калужскую губернию в имение брата Д. Н. Гончарова Полотняный Завод.

О жизни сестер Д. Н. Гончаров писал: «Живут очень неподвижно, проводят время, как могут; понятно, что после жизни в Петербурге, где Натали носили на руках, она не может находить особой прелести в однообразной жизни Завода, и она чаще грустна, чем весела, нередко прихварывает, что заставляет ее иногда целыми неделями не выходить из своих комнат и не обедать со мною». О Пушкине Наталья Николаевна очень скоро перестала горевать. Всего месяца два после его смерти сын историка Андрей Карамзин писал своей матери: «То, что вы мне говорили о Наталье Николаевне, меня опечалило. Странно, я ей от всей души желал утешения, но не думал, что желание мое исполнится так скоро». А отец Пушкина Сергей Львович, посетивший невестку в сентябре того же года, нашел, что Александрина Гончарова огорчена смертью Пушкина гораздо больше, чем Наталья Николаевна.

Два года прожила Наталья Николаевна в Полотняном Заводе, потом с тою же неразлучною сестрою Александриной переселилась обратно в Петербург. Жили они там вдалеке от центра, на Аптекарском острове, скромно и уединенно, — «совершенно по-

монашески, — писал Плетнев. — Никуда не ходят и не выезжают. Пушкина очень интересна. В ее образе мыслей и особенно в ее жизни есть что-то трогательно-возвышенное. Она не интересуется, но покоряется судьбе». Плетнев шутя спросил ее, скоро ли она опять выйдет замуж. Наталья Николаевна, шутя же, ответила, что, во-первых, не пойдет замуж, во-вторых, ее никто не возьмет. Плетнев посоветовал ей на такой вопрос всегда отвечать что-нибудь одно и советовал держаться второго ответа. Но Наталья Николаевна продолжала твердить, что не пойдет замуж. «Чтобы в случае отступления сказать, что уже так судьба захотела», — пишет Плетнев.

24 декабря 1841 года случилось маленькое событие, определившее всю дальнейшую судьбу Натальи Николаевны. Был канун Рождества. Наталья Николаевна выбирала в английском магазине подарки на елку своим детям и вдруг встретилась с императором Николаем; он тоже обыкновенно приезжал в этот день в английский магазин покупать елочные игрушки для своих детей. Император изволил очень милостиво разговаривать с красавицей вдовой, а через несколько дней выразил престарелой фрейлине Ек. Ив. Загряжской, тетке Натальи Николаевны, желание, чтобы Наталья Николаевна, как в старые времена, украшала своим присутствием царские приемы.

Для Натальи Николаевны началась прежняя жизнь, полная блеска и побед. Одно из ее появлений при дворе превратилось в настоящий триумф. В залах Аничкова дворца состоялся костюмированный бал в самом интимном кругу. Наталья Николаевна явилась одетой в древнееврейском стиле: длинный фиолетовый бархатный кафтан, почти закрывая широкие палевые шаровары, плотно облегал стройный стан, а легкое из белой шерсти покрывало, спускаясь с затылка, мягкими складками обрамляло лицо и ниспадало на плечи. Император был в восхищении. Он за руку подвел Наталью Николаевну к императрице. Императрица оглядела ее в лорнет и сказала:

— Да, прекрасна! В самом деле прекрасна! Ваше изображение таким должно перейти к потомству.

Тотчас после бала придворный живописец написал акварелью портрет Натальи Николаевны в библейском costume.

А потом... Потом целый ряд странностей. В 1844 году кавалергардский офицер генерал-майор Петр Петрович Ланской сделал Наталье Николаевне предложение. Ему в скором времени предстояло назначение командиром армейского полка в каком-нибудь захолустье. Сделал предложение Наталья Николаевна — и вдруг, — рассказывает его дочь А. П. Арапова, — «ему выпало негаданное, можно даже сказать, необычайное счастье». Он был назначен командиром лейб-гвардии Конного полка, шефом которого состоял сам император, получил блестящее положение, великолепную казенную квартиру — и женился на Наталье Николаевне. Арапова наивно рассказывает о внимании и милостях, которые расточал царь Наталье Николаевне и ее мужу. Николай сам вызвался быть посаженным отцом на их свадьбе. Но Наталья Николаевна настояла, чтобы свадьба совершилась как можно скромнее и привлекла к себе как можно меньше внимания.

Император прислал новобрачной в подарок великолепный бриллиантовый фермуар и велел передать, что первого их ребенка будет крестить сам и что от этого он не позволит Наталье Николаевне отделаться. Когда у Натальи Николаевны родился ребенок (будущая А. П. Арапова), царь лично приехал в Стрельну для его крестин. «Постоянная царская милость служила лучшей эгидой против зависти врагов, — рассказывает Арапова. — Те самые люди, которые беспощадно клеймили Наталью Николаевну, заискивающе любезничали и напрашивались на приглашения, — в особенности, когда в городе стало известно, что сам царь наехал к Ланскому на бал». Это произошло таким образом. Наталья Николаевна задумала устроить вечеринку в интимном полковом кругу. Когда Ланской был у царя на докладе, Николай по окончании аудиенции сказал:

— Я слышал, что у тебя собираются танцевать? Надеюсь, ты своего шефа не обойдешь приглашением?

Приехав на вечеринку, Николай велел провести себя в детскую, взял на колени старшую девочку, разговаривал с нею, целовал и ласкал. Когда, по поводу юбилея полка, Ланской хотел поднести императору альбом с портретами офицеров полка, Николай пожелал, чтобы на первом месте, рядом с портретом командира полка, был помещен портрет его жены (!). При чем тут жена? Миниатюрный портрет Натальи Николаевны находился на внутренней крышке золотых часов, которые носил император. После смерти Николая камердинер взял эти часы себе, «чтобы не было неловкости в семье».

82 Все эти данные с большой вероятностью говорят за то, что у Николая существовали с Натальей Николаевной очень нежные отношения, результаты которых пришлось покрыть браком с покладистым Ланским.

Ланской сделал блестящую карьеру. Вскоре после женитьбы он был произведен в генерал-адъютанты, потом назначен начальником первой кавалерийской дивизии. Позднее он исправлял должность петербургского генерал-губернатора, был председателем комиссии для разбора и суда всех политических дел. Современник, знавший Ланского, когда ему было уже за пятьдесят лет, сообщает, что он даже в эти годы был все еще замечательно красивый мужчина и добродушнейший по природе человек, но то, что на военном жаргоне назывался «ремешок». В обществе это был элегантный, вполне светский человек, а на конногвардейском плацу, где происходило учение солдат, — свирепый, придирчивый николаевский генерал, прибегавший к самым бесцеремонным приемам и самым бесчеловечным наказаниям. В браке с ним Наталья Николаевна, как сообщает Арапова, нашла то тихое, безмятежное счастье, которого не имела с Пушкиным.

Князь Вл. Мих. Голицын видел Наталью Николаевну зимою 1861—1862 года в Ницце. В своих неизданных записках он рассказывает: «Несмотря на преклонные уже года, она была еще красавицей в полном смысле слова: роста выше среднего, с правильными чертами лица и прямым профилем, какой виден у греческих статуй, с глубоким, всегда словно задумчивым взором».

Умерла она в 1863 году.

**Фото
ГЕННАДИЯ
БОДРОВА**



Уроженец Новгородской области Геннадий Бодров нынче живет и работает в Курске. А точнее, живет и работает он в России, ибо профессия складывается не только внутренний, духовный мир его, но и бытовую сторону жизни: трудно представить себе журналиста-фотографа домоседом.

Впрочем, облик Геннадия далек от расхожего представления о вездесущем репортере. Он скорее напоминает интеллигента чеховского склада — спокоен, застенчив, щепетилен. Все это плюс напряженная сосредоточенность души, на мой взгляд, есть и в работах Бодрова.

— Для меня фотография, как окно в мир, в Россию, — говорит Геннадий. — Я довольно долго примериваюсь, прежде чем «прорубить» его... Репортерская работа, погоня за «моментом» не по мне, хотя в газете приходилось и приходится заниматься и этим...

Он выстраивает кадры поначалу в себе, в собственном мироощущении, а затем ищет как бы аналогии в зримых житейских образах.

ОКНО

— Я начинал снимать «Киевом» еще в школе, в Доме пионеров... И во время понял: техника, аппаратура — дело нужное. Это — фундамент. Это надо знать до-

статочно. Но что на фундаменте построишь, зависит не от «Асахи-Пентакса» и «Кодака»...

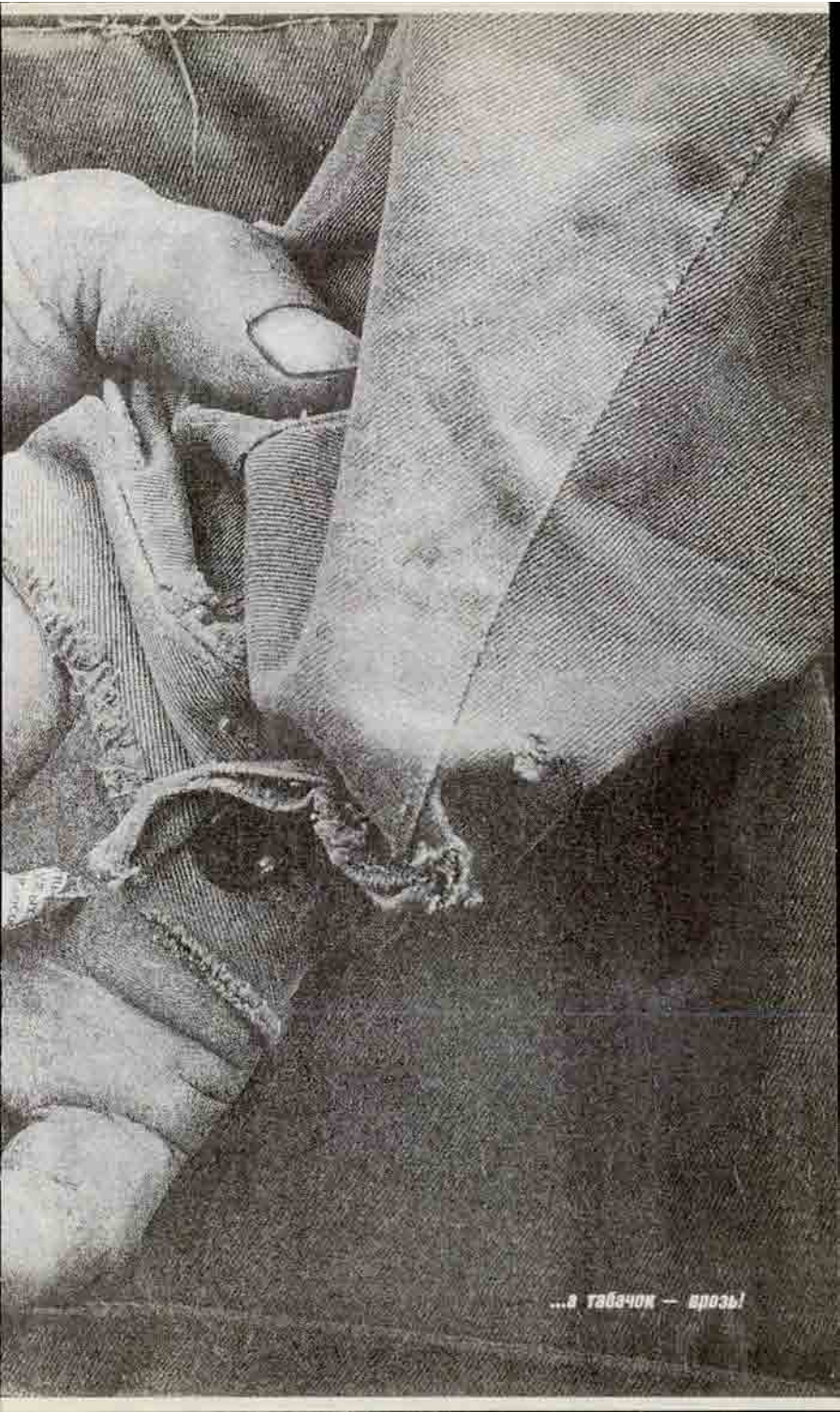
Вообще разговорить Бодрова сложно. Он не из тех, кто умело окаймляет словами свое видение нашей общей жизни. И хотя образ «окна» подразумевает некие рамки — это скорее высвечивание бытия, чем его «раскадровка».

Лауреат многих отечественных и международных престижных премий Геннадий Бодров к личной популярности относится не то чтобы равнодушно, но спокойно и вполне разумно. Бытовые условия его волнуют в той мере, в какой они способствуют успешной работе.

А что работа эта успешна — вы можете и сами убедиться.

ВАЛЕРИЙ ГУРИНОВИЧ



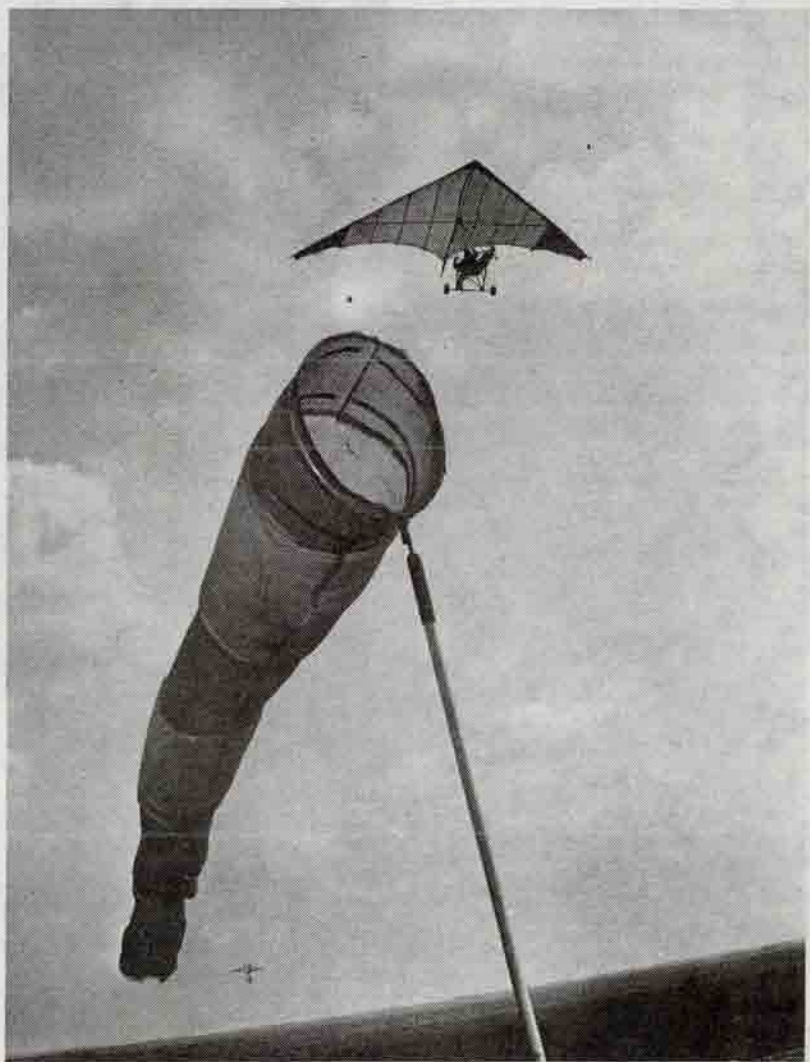


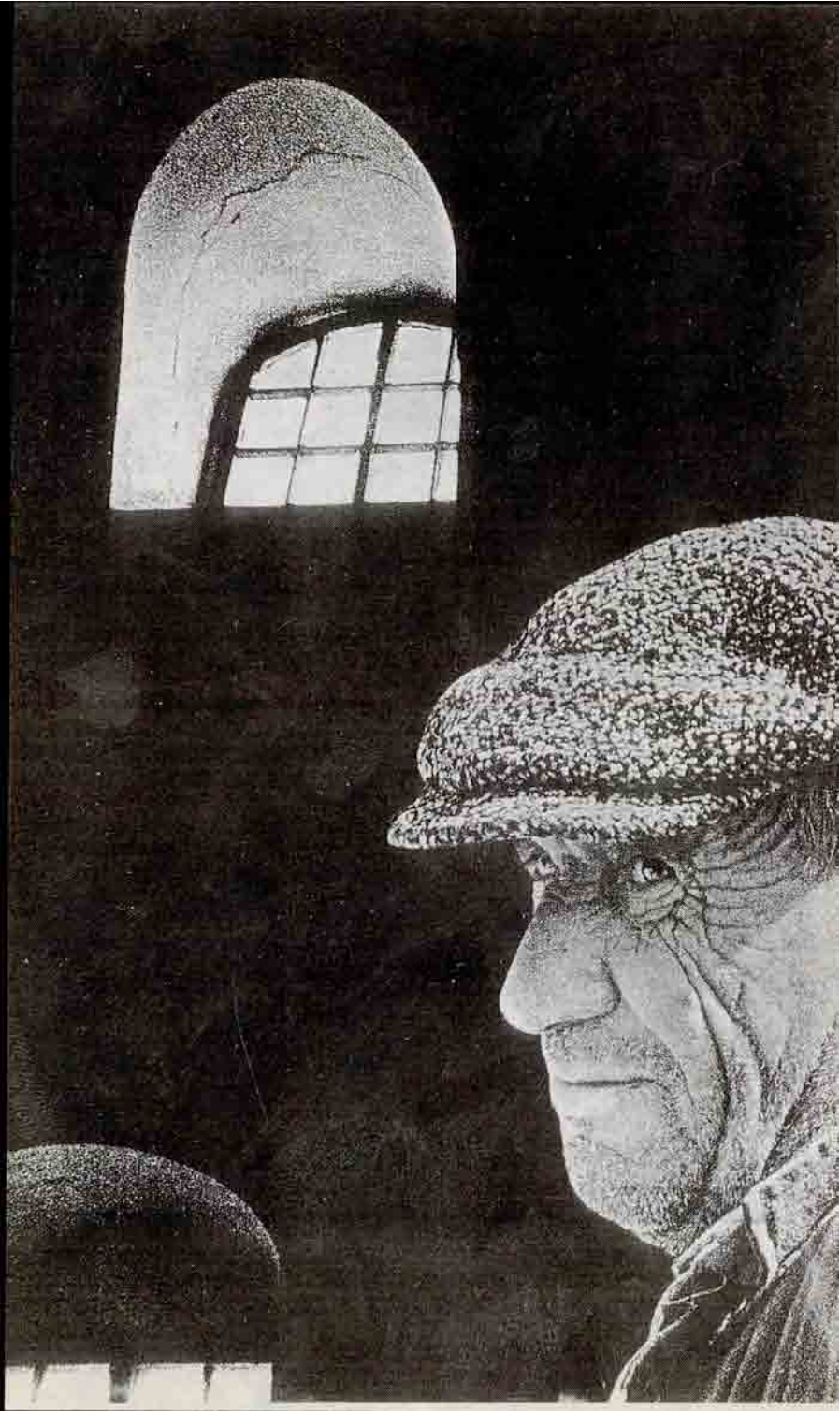
...а табачок — прозы!

Чистое время.



Вольный ветер.

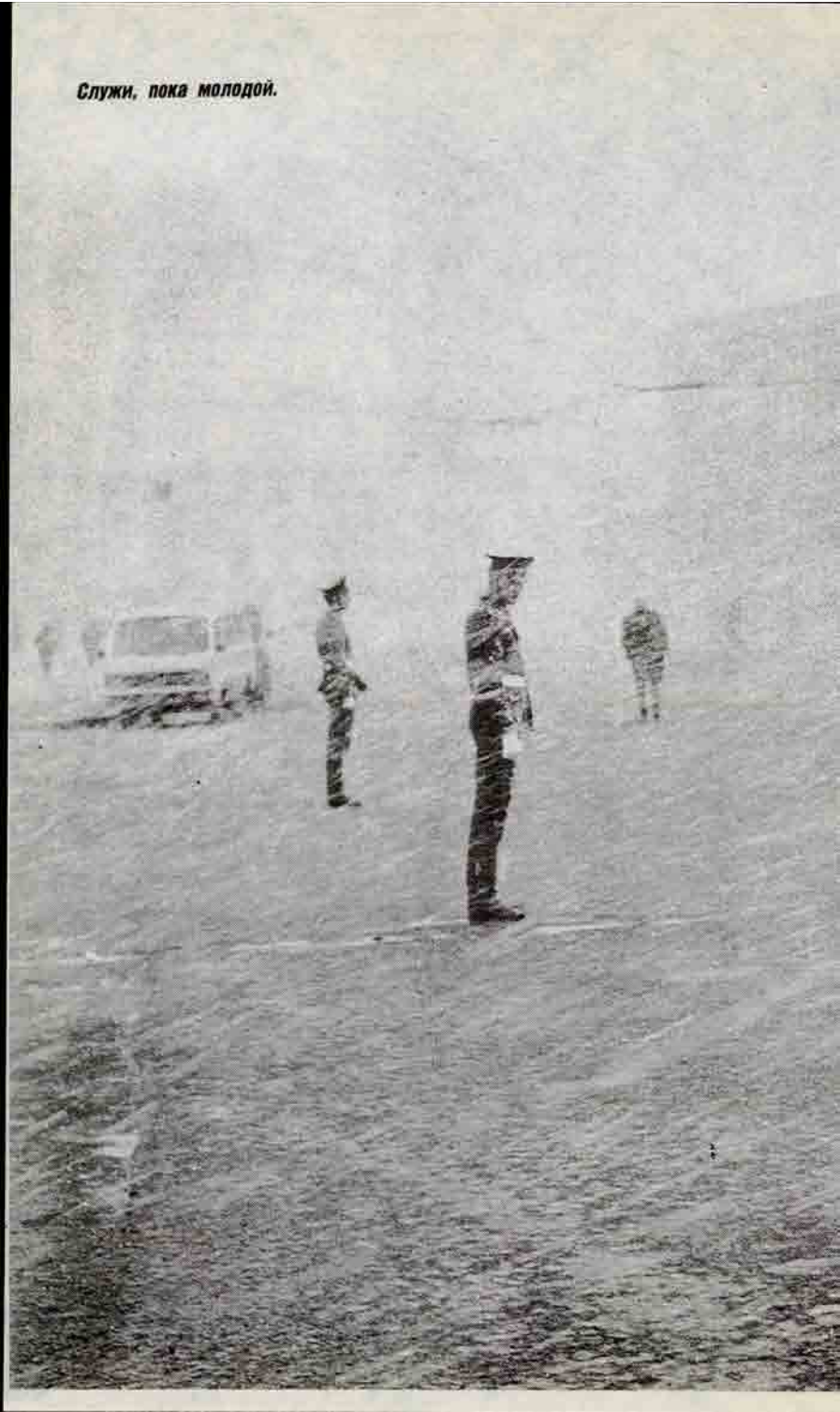






Со своим взглядом...

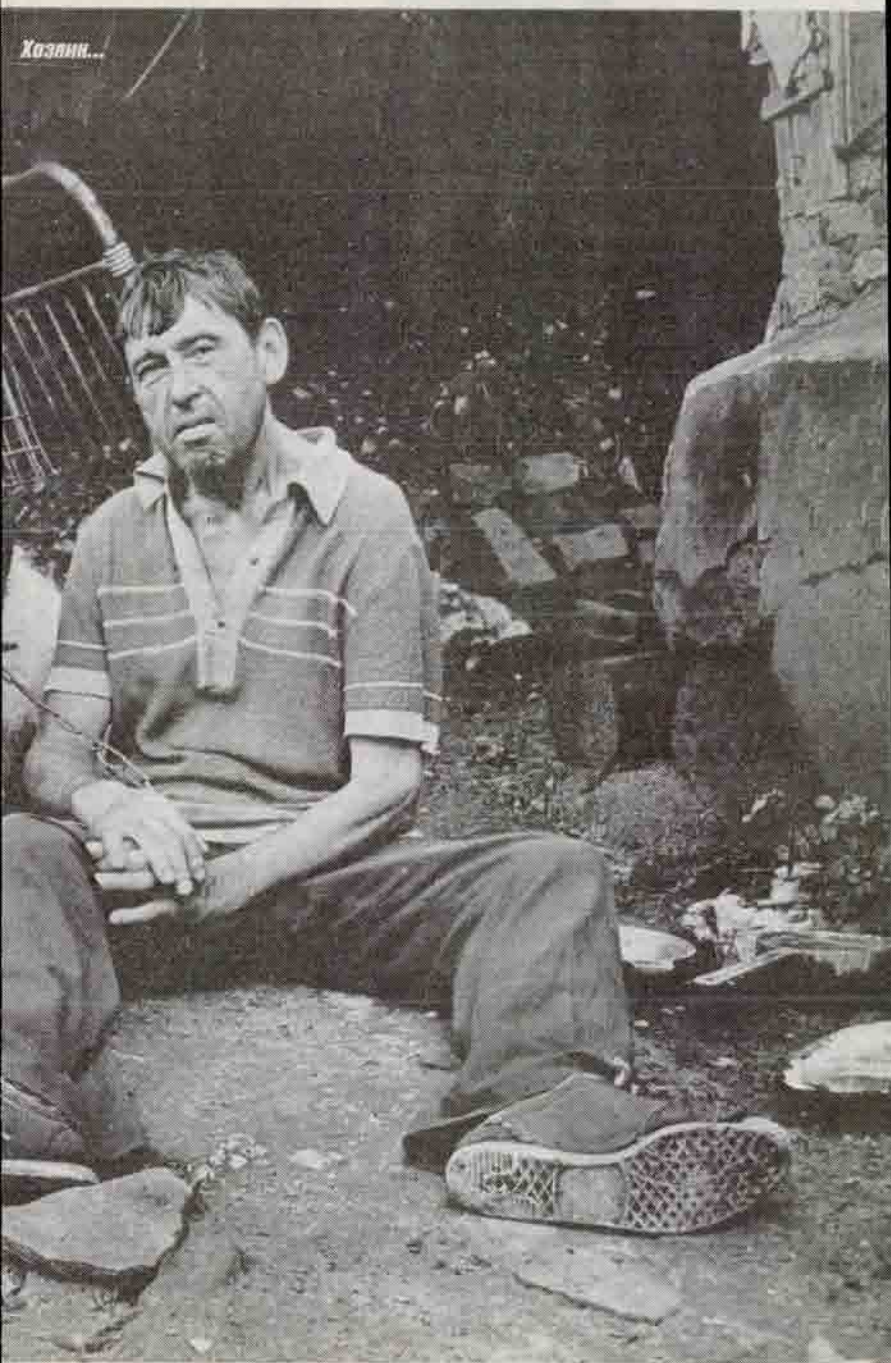
Служи, пока молодой.







Хозяин...





Сложный ход.



ЧИТАТЕЛЬ • «СМЕНА» • ЧИТАТЕЛЬ

┌ Однажды, в мрачный день...

┌ Добрым людям — спасибо

┌ Этот год принес мало радости на Украину. Цены росли и растут с каждым днем, жизненный уровень большинства людей снижается — процветает только кучка богатых. На улицах большие серых, озабоченных лиц, да и с чего улыбаться — на душе боль, отчаяние. Даже в Россию непросто поехать, а правительство все трубит о социальной защите населения. Какая защита, если цены прыгнули в тысячу раз, а тех денег, что дают пенсионерам, хватает лишь, чтобы с голоду не помереть сразу. И все-таки жизнь не остановишь! Несколькими годами назад моя семья считалась среднеобеспеченной, на черный день удалось отложить 10 тысяч рублей. Раньше на них можно было машину купить, но родное правительство их обесценило, и про черный день лучше не думать.

Вот однажды, в обычный мрачный день, когда денег не было, а до пенсии еще неделя, я включила телевизор и услышала, что в нашем городе будет проведена игра «Шанс», то есть «Поле чудес». Надо, правда, написать юмористический рассказ и задать телестудии три интересных вопроса, и, если по конкурсу они пройдут, автор будет приглашен в студию. Мой муж на мое желание принять

участие в «Шансе» посмеялся: «Не морочь, мать, голову», — но я написала и прошла по конкурсу на передачу. Пригласили меня сначала на собеседование в студию (я сроду не видела, что это такое), потом на игру, и я стала финалистка, хотя финал и не выиграла, но 15 тысяч рублей и магнитофон «Весна» я заработала. Впервые за четыре последних года на душе появилась какая-то радость, даже надежда, и показалось, что еще не все потеряно. Это было в июне, после летнего дождика светило солнце, пахли розы, мне показалось, что я, как в юности, веселая и жизнерадостная: бережно несла я свой подарок и подаренные гвоздики, а мне шестидесятый.

Затотелось верить, что этот сегодняшний, ежедневный кошмар пройдет, и наступит радостная жизнь — и не только для выигравших в лотерею, а для всех россиян, украинцев, абхазов, грузин — для всех.

**П. Г. СУЙКО,
г. Константиновка
Донецкой области**

┌ Мое письмо было напечатано в № 2 за прошлый год. Хочу вас искренне поблагодарить за отзывчивость и человечность: благодаря редакции я нашла друзей по несчастью, поддерживаю с ними связь, и мы делимся зна-

ниями по борьбе с болезнью. Пришли письма и от здоровых — хороших и добрых людей, которые тоже старались чем-нибудь помочь. Я теперь понимаю, что жизнь моя не закончилась, она продолжается. Для человека очень важна моральная поддержка, особенно когда на голову внезапно сваливается несчастье. Вся жизнь, уже налаженная и привычная, разваливается. Не все так сильны духом, что стойко переносят горе, а добрые слова помогают держаться «на плаву».

Я еще не смогла добиться каких-то результатов в борьбе с болезнью, но знаю, что я не одна в такой беде, многие борются, не сдаются, и я не сдамся.

Недавно вы переслали мне еще одно письмо, и я очень признательна редакции за то, что вы столько времени помните о моей беде. В наши дни сострадание — большая редкость и ценность.

Еще раз благодарю вас за трогательную заботу, а всех написавших мне — за помощь и поддержку.

ГАЛИНА ЩЕЛОКОВА,
ваша постоянная читательница
из Брянска

Хочу рассказать о своем горе, потому что «Смена» — моя последняя надежда.

А горе мое такое. В детстве я, мой старший брат Александр и младший — Юрий осиротели и попали в детдом города Атбасара Акмолинской области. Старший уже учился, а мы были дошкольниками. Вскоре нас разлучили. Через много лет я узнала, что старшего увезли в детдом Карагандинской области, а младшего — Кокчетавской. Меня — в другой детдом Акмолинской области. Так мы потеряли друг друга. Младший на-

шелся через пятнадцать лет. Старший, Александр, после детдома работал в колхозе села Асакаровка Карагандинской области, 13 марта 1943 года был призван в армию. Но все это я, повторяю, узнала после многих лет неустанных поисков. А начала поиски с военкомата и архива Министерства обороны. Сведения мне дали самые противоречивые. То якобы брат нигде не числится, то воевал, ранен 5 января 1944 года в Витебске, награжден, после войны дослуживал в 129-й отдельной рабочей армейской роте. Последний же раз военкомату и мне на запрос об этой роте ответили, что брат в ней не числился.

В «Красную звезду» писала, в «Ветеран», но эти издания выходят маленькими тиражами. Обращалась и в «Огонек», и в «Работницу» — даже не откликнулись. Радио и телевидение, увы, тоже. Конечно, и в Красный Крест писала.

Я понимаю, прошло много лет, возможно, уже и косточки его истлели, но сердце-то мое плачет; надежда на то, что удастся что-то узнать о судьбе брата, никак не хочет умирать. Ведь он жил среди людей, может, кто-то знает или знал Карлова Александра Григорьевича, 1925 года рождения, уроженца города Атбасара, или его семью.

«Смену» я беру в библиотеке, вижу — вы помогаете людям, поэтому и решила к вам обратиться. Так хочется узнать правду, даже горькую. Вижу одиноких фронтовиков, инвалидов — так жалко их, так стыдно за всех нас! Простите великодушно старую пенсионерку за беспокойство, но кто успокоит душу? Мне можно написать по адресу: 450080, Уфа-80, Агиша, 22/1, кв. 63.

ЛИДИЯ ГРИГОРЬЕВНА КАРЛОВА

ТРАВЛЯ

*Страницы биографий Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской в зеркале документов из архива ЦК КПСС**

* Данная публикация представляет собой фрагмент готовящейся к печати книги «Музыка и власть», составленной на основе архивных материалов ЦК КПСС и КГБ.

...Один из самых ярких сюжетов, связанных с травлей Ростроповича и Вишневской, — история «Открытого письма» Ростроповича о Солженицыне и отклики на этот документ.

Существенная, имеющая всеобщее значение мысль «Письма» касается стиля работы властей с интеллигенцией в то время, стиля, заключавшегося в своего рода «удушении в бархатных перчатках» всех инакомыслящих.

Ростропович пишет: «...В 1948 году были СПИСКИ запрещенных произведений. Сейчас предпочитают УСТНЫЕ ЗАПРЕТЫ, ссылаясь, что «есть мнение», что это не рекомендуется. Где и у кого ЕСТЬ МНЕНИЕ — установить нельзя. Почему, например, Г. Вишневской запретили исполнить в ее концерте в Москве блестящий во-

В

П

Я

кальный цикл Бориса Чайковского на слова И. Бродского? Почему несколько раз препятствовали исполнению цикла Шостаковича на слова Саши Черного (хотя тексты у нас были изданы)? Почему странные трудности сопровождали исполнение XIII и XIV симфоний Шостаковича? Опять, видимо, «было мнение»!.. Я ворошу старое не для того, чтобы брюзжать, а чтобы не пришлось в будущем, скажем, через 20 лет, стыдливо припрятывать сегодняшние газеты».

Дата этого письма, адресованного главным редакторам четырех крупнейших советских газет, — 30 октября 1970 года. Несомненно, Ростропович знал, что никто не напечатает его письмо, что не только ему, но и его семье грозят неприятности, что теперь начнется кампания против творческой деятельности его и его жены, Галины Вишневской.

2

99

...Комитет государственной безопасности направляет в ЦК КПСС документ, ставший впоследствии фундаментом создания МНЕНИЯ*. Главное в нем — армейская лексика и поза «защитников» Ростроповича, которого якобы берегут «от возможных провокаций со стороны противника» (письмо приводится в сокращении).

Секретно

**Комитет
Государственной безопасности
при Совете Министров СССР
15 ноября 1970 г.**

**№ 3128-ц
ЦК КПСС**

В настоящее время на Западе

* Этот документ, первый экземпляр которого хранится в партийном архиве, а также некоторые другие, связанные с травлей Ростроповича и Вишневской в 70-е годы и историей лишения их гражданства, опубликованы в газетах «Труд» от 17.05.92 и «Известия» от 11.04.92. Основная же часть приведенных здесь документов публикуется впервые.

поднята антисоветская кампания с использованием попавшего в руки к иностранным корреспондентам политически вредного письма советского виолончелиста Ростроповича...

Направление указанного письма явилось как бы итогом вызывающего поведения Ростроповича, демонстративно оказывающего поддержку Солженицыну...

Учитывая неуравновешенность Ростроповича, его заносчивость и высокомерие, можно предполагать от него и иные необдуманные действия.

В связи с этим, а также принимая во внимание то, что Ростропович до 22 декабря должен находиться на гастролях в капиталистических государствах Европы, по линии Комитета госбезопасности даны соответствующие указания о принятии мер по ограждению его от возможных провокаций со стороны противника.

Одновременно с этим представляется целесообразным:

— принять меры к выводу Ростроповича в Советский Союз. Для этого можно было бы использовать влияние на него министра культуры СССР тов. Фурцевой Е. А., находящейся в Чехословакии, и пригласить его в Прагу для выступления перед общественностью. Там и решить вопрос о прекращении или продолжении гастролей. Если Ростропович в Чехословакию приехать не согласится, то найти иной предлог для его кратковременного приезда в Москву или в одну из социалистических стран;

— учитывая обстановку, сложившуюся в связи с письмом Ростроповича, и реакцию на это письмо за рубежом, поручить Министерству культуры СССР под благовидным предлогом отложить поездку в Австрию жены Ростроповича — народной артистки

СССР Вишневской Г. П. (выезд намечен на 16 ноября с. г.).

Просим рассмотреть.

Заместитель председателя
Комитета госбезопасности

ЦВИГУН

Кампания осторожненько продолжалась на посольском уровне, все время с попытками притушить, уменьшить международный резонанс письма Ростроповича.

Министерство культуры СССР докладывает в ЦК КПСС:

«13 ноября с. г. Министерство культуры СССР направило просьбу Совпослу в ФРГ обратить особое внимание на пребывание М. Ростроповича в этой стране, оградить его от нежелательных контактов с прессой и возможных провокаций.

Полагали бы целесообразным, в случае положительной реакции Ростроповича на первые контакты с представителями посольства, предпринять меры для того, чтобы убедить Ростроповича отмежеваться от антисоветской кампании, поднятой вокруг его письма. При этом заявить в прессе, что его личное мнение о Солженицыне и письмо по этому поводу являются чисто внутренним делом, что он считает оскорбительным использование его имени для антисоветских инсинуаций и требует их прекращения.

Следующим шагом могло бы быть предложение Ростроповичу отменить гастроли во Франции, которые должны состояться с 7 по 18 декабря с. г., и вернуться в это время в Советский Союз. Подсказать Ростроповичу, что в условиях усиления антисоветской кампании, которая, несомненно, будет приурочена к назначенной дате вручения Нобелевских премий (10 декабря с. г.), он не может быть втянут в новые действия, наносящие ущерб родине».

Относительно Вишневской также была проявлена крайняя осторожность:

«Выезд Вишневской в Австрию, открывающий возможности прямых контактов с Ростроповичем, вызывает большую тревогу. Однако запрещение выезда Г. Вишневской в настоящих условиях могло бы явиться дополнительным поводом для продолжения и усиления антисоветской пропаганды, вызванной письмом М. Ростроповича, а также повлечь за собой новые нежелательные действия со стороны М. Ростроповича».

В орбиту деятельности властей, как водится, попали и другие музыканты, часто выезжающие за рубеж:

«Министерство культуры СССР считает также необходимым доложить, что в соответствии с постановлением ЦК КПСС от 15 сентября с. г. «О серьезных недостатках в организации гастрольных поездок художественных коллективов в капиталистические страны» пересмотрены планы зарубежных гастролей советских коллективов и солистов на 1971 год. Резко сокращены сроки их гастролей, устранена многократность выездов коллективов, для чего предусмотрено привлечение к зарубежным гастролям 15 новых коллективов, ранее не выезжавших за рубеж.

Видным исполнителям рекомендовано усилить их педагогическую работу в консерваториях страны, а также гастрольно-концертную деятельность в СССР». (Из письма в ЦК КПСС заместителя министра культуры СССР В. Кухарского от 16 ноября 1970 г. Секретно.)

3

Один из архивных документов связан с именем Дмитрия Шостаковича.

После появления открытого письма Ростроповича необходимо было сформировать не только МНЕНИЕ, но и мнение коллег, друзей, видных деятелей культуры. Мнение, разумеется, негативное. Поэтому Шостаковича вызвали в Министерство культуры СССР. Запись беседы с ним, направленная в ЦК КПСС, хранится в архиве.

Шостакович — гениальный художник — занимал своеобразную и абсолютно органичную для него позицию по отношению к советской власти. Замечательно пишет об этом в своей книге «Галина» Вишневская:

«Бедный Дмитрий Дмитриевич! Когда в 1948 году в переполненном людьми Большом зале Московской консерватории он как прокаженный сидел один в пустом ряду, было о чем ему подумать, а потом помнить всю жизнь. Он часто говорил нам, когда мы возмущались какой-нибудь очередной несправедливостью:

— Не тратьте зря силы, работайте, играйте... Раз вы живете в этой стране, вы должны видеть все так, как оно есть. Не стройте иллюзий, другой жизни здесь нет и быть не может.

А однажды высказался яснее:

— Скажите спасибо, что еще дают дышать.

...И, раз навсегда приняв решение, он, не стесняясь, выполнял правила игры. Отсюда его выступления в печати, на собраниях, подписи под «письмами протеста», которые он, как сам говорил, подписывал не читая, и ему было безразлично, что об этом скажут. Знал, что придет время, спадет словесная шелуха и останется его музыка, которая все расскажет людям ярче любых слов».

С этих позиций понятна реакция Шостаковича на письмо Ростроповича, о которой сказано в доку-

менте за подписью заместителя министра культуры СССР В. Кухарского, направленном в ЦК КПСС.

«...Очень показательна беседа, которая у меня состоялась с композитором Д. Д. Шостаковичем, которого я ознакомил с содержанием упомянутого письма. Известно, что он связан многолетней дружбой с Ростроповичем. Несмотря на это, Д. Шостакович в самых сильных выражениях квалифицировал поведение Ростроповича как недопустимое и безобразное. Его возмутил уже сам факт рассылки письма по почте в адрес четырех газет, что, как он сказал, предопределяло «известность его содержания всему миру».

...В то же время Д. Д. Шостакович проявил глубокую взволнованность по поводу развернувшихся событий, сказал, что «нужно сделать все возможное для спасения Славы, ведь он наша гордость, ведь наша страна создала ему имя и мировую известность».

В изложении высказываний Шостаковича педалируются моменты, которые обозначают характер и личность Шостаковича как композитора, преданного идеям коммунизма. Отсюда и особенности документа. Фразы, в конце которых приводятся подлинные слова Шостаковича, начинаются так: «Д. Шостакович в самых сильных выражениях квалифицировал поведение Ростроповича...», «Его возмутил уже сам факт», «Особое негодование вызвала...».

В письме приводится и мнение других известных музыкантов, якобы осуждающих Ростроповича. Смеею предположить, что это были «круто» отредактированные высказывания, где перемешаны разные мотивы — желание, чтобы дали возможность работать и выезжать за рубеж, личные отношения и так далее...

К середине 70-х годов (1974—1977) относится следующая подборка документов. Ростроповичу и Вишневской не давали возможности нормально работать, в результате чего в 1974 году они обратились с просьбой к Брежневу разрешить им уехать с семьей на два года за рубеж, в Англию, в творческую командировку.

В том же, 1974 году появились на свет два замечательных документа, сохранившихся в партийном архиве, — справки о творческой деятельности Ростроповича и Вишневской. Это был особый жанр. Справки готовились в недрах Министерства культуры СССР под грифом «секретно» и направлялись в ЦК КПСС для создания той легенды, которая устраивала бы партийное руководство и в приемлемом для него виде отражала условия творческой работы музыкантов. Справка «Об исполнительской и педагогической деятельности М. Ростроповича» написана, как явствует из первой фразы, по поручению ЦК КПСС. Вначале приводятся краткие творческо-биографические данные о его работе до 70-х годов, имеющие объективный характер.

Затем: «В последнее время принимались меры к активизации его исполнительской работы внутри страны. В 1970 году М. Ростропович сыграл 28 концертов в 7 городах (в том числе 1 концерт в г. Москве), в 1971 году — 118 концертов в 27 городах (в том числе 6 концертов в г. Москве), в 1972 году — 81 концерт в 19 городах (в том числе 6 концертов в г. Москве), в 1973 году — 130 концертов в 27 городах (в том числе 13 концертов в г. Москве). Его неоднократно привлекали для участия в торжественных концертах».

Как на самом деле ему работалось и почему такое гигантское количество концертов проводил великий музыкант по городам СССР? В 1973 году — 130 концертов в 27 городах!

О том времени вспоминает Г. Вишневецкая: «После Славиного письма власти, конечно, сразу стали нас прижимать, особенно его, и продолжали это благородное занятие три с половиной года. Сначала его отстранили от Большого театра, потом постепенно сняли все заграничные поездки. Наконец, подошло время, когда столичным оркестрам запретили приглашать Ростроповича... А вскоре ему не давали зала в Москве и Ленинграде уже и для сольных концертов».

Вишневецкая рассказывает, как приглашающим артистов компаниям присылали, без их ведома, телеграммы с отказом выступить ввиду болезни или срочного отъезда из Москвы (приводя конкретные факты), как Ростропович «после блистательных оркестров Америки, Англии, Германии, после общения с выдающимися музыкантами современности» опустился «в болото провинциальной жизни России. Теперь он играл с дирижерами, оркестрами, которые, как бы они ни старались, не могли даже приблизительно выразить идеи такого музыканта». А путь к столичным оркестрам был закрыт, ему даже говорили, что оркестры не хотят играть с ним.

О дирижерской деятельности Ростроповича в справке сказано несколько высокомерно и снисходительно — как о причуде виолончелиста, с которой вынуждены считаться и считаются-таки (вспомним, как блистательна дирижерская карьера Ростроповича на Западе!). Но это написано было до того:

«М. Ростропович не имеет профессионального дирижерского об-

разования, однако с середины 60-х годов он проявляет интерес к дирижерской работе. Уступая настоянию М. Ростроповича и учитывая его авторитет как музыканта, дирекция Большого театра СССР с согласия Министерства культуры СССР сочла возможным привлечь его в качестве дирижера к работе над новой постановкой оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин».

Руководство театра предоставило М. Ростроповичу максимально возможное количество репетиционного времени, значительно превышающее установленные нормы, и создало необходимые условия для подготовки спектаклей. В 1970 году М. Ростропович начал дирижировать также оперой «Война и мир» С. Прокофьева.

Как известно, в октябре 1970 года М. Ростропович передал для опубликования за рубежом так называемое «Открытое письмо» в защиту А. Солженицына (текст письма прилагается). Последующее за этим поведение М. Ростроповича свидетельствовало о его стремлении намеренно обострить отношения с ведомствами культуры и концертными организациями. В феврале 1971 года он направил директору Большого театра письмо ультимативного характера, которое содержало требование немедленной и внеплановой постановки в ГАБТе оперы Д. Шостаковича «Катерина Измайлова» с Г. Вишневецкой в главной роли и при участии его (М. Ростроповича) как дирижера, а также передачи ему некоторых спектаклей от других дирижеров. Дирекции театра преодолеть конфликт не удалось. М. Ростропович письменно сообщил о своем нежелании работать в театре, и последующие обращения к нему дирекции ГАБТа остались без ответа. В сентябре 1971 года М. Ростропович был

приглашен дирижировать подготовленными им спектаклями во время гастролей театра в Австрии. Он принял это предложение, но по возвращении в Москву вновь отказался дирижировать спектаклями Большого театра.

В 1973 году М. Ростропович выступил как дирижер в 32 симфонических концертах в разных городах страны и в двух оперных спектаклях Театра оперы и балета Литовской ССР (г. Вильнюс). В настоящее время он осуществляет музыкальное руководство (в качестве дирижера) постановкой оперетты И. Штрауса «Летучая мышь» в Московском театре оперетты. Главную партию будет исполнять Г. Вишневская».

Идти на какие-либо прямые санкции власти не решались именно из-за открытости позиции Ростроповича при его всемирной известности. Отсюда — идиллическая картина его зарубежных гастролей:

«М. Ростропович много выступает за рубежом. В течение последних девяти лет (1965—1973 гг.) он выезжал в 24 страны. Практически ежегодно выступал в США, Англии, неоднократно — в Австрии, ФРГ, Италии, Франции, Японии. Количество гастрольных поездок в капиталистические страны в четыре раза превышает количество его выездов в социалистические страны. Общий срок пребывания в этот период за рубежом — 1212 дней, т. е. более трети календарного времени.

В конце 1970 года в связи с антисоветской кампанией, поднятой зарубежной прессой вокруг письма М. Ростроповича в защиту Солженицына, было принято решение о переносе его выступлений, намеченных в ряде стран, на более поздние сроки. В 1971—1972 гг. эти гастроли были проведены (в

1971 году — Австрия, Япония, Франция; в 1972 г. — США, Канада, Франция, Австрия, Венгрия).

В 1973 году Министерство культуры СССР имело в виду организовать гастроли М. Ростроповича в ряде социалистических и капиталистических стран. Однако в беседе с министром культуры СССР, состоявшейся в апреле 1973 года, М. Ростропович заявил, что он не намерен выезжать за границу, и сослался на то, что у него имеется обширный график внутрисоюзных гастролей, который он должен выполнить. В январе 1974 года М. Ростропович, находясь в Париже, сообщил корреспондентам, что ему в 1972—1973 гг. было запрещено выезжать из СССР.

В 1974 году М. Ростропович принял участие в концертах Международного музыкального фонда ЮНЕСКО в Париже, а также выехал в Англию.

В последние годы (1970—1973 гг.) на грампластинки записаны многие произведения в исполнении М. Ростроповича».

В справке приводятся и точные цифры заработков Ростроповича, в том числе — «его личный гонорар за выступления в зарубежных поездках в 1965—1973 гг.».

5

Справка о творческой деятельности Вишневской Галины Павловны.

«Г. Вишневская работает в Большом театре СССР с 1952 года. Регулярно выступает в спектаклях театра и участвует в его гастролях за рубежом. Исполняет главные партии в операх.

В 1970 году она спела 24 спектакля, в 1971 году — 23, в 1972 году — 25, в 1973 году — 22. Г. Вишневская не выполняет

норму выступлений в Большом театре из-за активной концертной деятельности в стране и за рубежом. По этим же причинам имеют-ся случаи ее отказа от спектаклей.

За последние три года Г. Вишневская выступила с 32 сольными концертами: в 1971 году — 2 концерта (в том числе 2 концерта в Москве), в 1972 году — 7 концертов (в том числе 2 концерта в Москве), в 1973 году — 23 концерта (в том числе 8 концертов в Москве).

За последние девять лет Г. Вишневская выступала в тридцати зарубежных странах: США, Англии, Японии, Канаде, Франции, Австрии, Италии, Израиле, Греции, Ливане, СФРЮ, ЧССР, ВНР. Общий срок пребывания за рубежом в этот период — 626 дней, что превышает время зарубежных поездок наиболее популярных артистов — певцов Большого театра СССР.

За период с 1970 по 1973 год на грампластинки записаны многие произведения в исполнении Г. Вишневской. В плане фирмы «Мелодия» на 1974 год предусмотрены записи опер С. Рахманинова «Франческа да Римини», С. Прокофьева «Семен Котко» с участием Г. Вишневской, а также арий и романсов в ее исполнении.

А вот как было на самом деле (из книги «Галина»): «Я продолжала петь в Большом театре столько, сколько мне хотелось, в этом ограничений мне никаких не было.

Еще в 1971 году наградили меня орденом Ленина и даже выпускали за границу: последняя моя поездка была в Венскую оперу в 1973 году — я пела «Тоску» и «Баттерфляй».

Просто обо мне перестали писать в центральных газетах. Мой голос больше не звучал по радио,

по телевидению; что бы я ни спела — все падало в бездонную пропасть».

Поездка весной 1973 года по волжским городам с симфоническим оркестром г. Ульяновска. Кандидатура Ростроповича (Вишневская также приняла приглашение) обсуждалась на специальном совещании в Минкультуры — ведь это оркестр города, «где родился и качался в колыбели вечно живой Ильич».

Приехав на концерт, Ростропович увидел, что афиши с его фамилией заклеены объявлениями о выставке кроликов. «...Заклеить афишу дал распоряжение первый секретарь обкома Скачилов». По этому поводу также имеется возмущенная телеграмма Ростроповича Брежневу с требованием дать возможность нормально работать... «Дали мы за это время около двадцати концертов. Хвалили оркестр, благодарили за высокое искусство дирижера и певицу, не жалея восклицательных знаков. Все было. Только имен певицы и дирижера не было. Тут уж не свалишь на какого-то перестаравшегося идиота. Ясно, что приказ шел из ЦК по всей стране».

Каждая запись на пластинки, о которых с таким упоением повествуется в справке, связана для певицы со стрессами и унижениями, с визитами к Фурцевой и в ЦК КПСС — к Демичеву, с предательством коллег и их доносами.

6

И после отъезда Ростроповича и Вишневской на Запад их продолжали «пасти» столь же бдительно. Свидетельство тому, в частности, — три архивных документа 1977 года.

Уже первый из них свидетельствует о большом гражданском мужестве Ростроповича и Вишнев-

ской, не побоявшихся тепло отозваться о государстве, которое в то время официально осуждали.

Секретно

ЦК КПСС

В порядке информации направляем перевод опубликованной на стр. 3 израильской газеты «Джерусалем пост» от 14 января 1975 года корреспонденции «Ростропович обещает часто приезжать».

«Тель-Авив. Во время приема Мстислав Ростропович и его жена Галина Вишневская обещали часто приезжать в Израиль, где они чувствуют себя как дома.

Голда Меир подчеркнула, что еврейский народ никогда не забудет Ростроповича, имя которого не упоминается в списках представителей так называемой интеллигенции, осуждавших Израиль после октябрьской войны. «Молчание Ростроповича было более красноречивым, чем его музыка», — сказала она.

Приложение: Газета «Джерусалем пост» за 14 января 1975 года. Начальник Главного управления по охране государственных тайн в печати

при Совете Министров СССР

П. Романов

23 января 1975 года

Тем временем, когда оба музыканта с триумфом выступали в лучших концертных залах мира, из советских посольств поступали отчеты об их деятельности и обзор прессы. Чиновник из советского посольства в Швеции пишет:

«С 7 мая с. г. в Швеции прошли гастроль М. Ростроповича и Г. Вишневской. Они выступили в церкви Энгельбрект (Стокгольм), дали концерт в Упсала (в связи с 350-летием академической капеллы), Ростропович выступил также с симфоническим оркестром

шведского радио и телевидения. В программы их концертов были включены произведения Чайковского, Прокофьева, Баха, русские романсы и др.

Буржуазные органы печати поместили восторженные рецензии, называя М. Ростроповича «величайшим музыкантом нашего времени».

В статье о Ростроповиче газета «Экспрессен» (9 мая с. г.), ссылаясь на его заявление, сообщила, в частности, что «до 1981 года он будет работать на Западе. В 1979 году намерен посетить Швецию с Вашингтонским симфоническим оркестром, где будет занимать пост главного дирижера... Он и его семья имеют до сих пор русские паспорта, срок действия которых продлен».

В здешних музыкальных кругах циркулируют слухи о том, что американцы намерены предложить включить в план культурного обмена с Советским Союзом поездку в Москву Вашингтонского симфонического оркестра под руководством М. Ростроповича».

Любопытно, что в это время Ростропович не стремился политизировать свою позицию. Напротив — его претензии к советской власти носят скорее нравственный характер и всегда конкретно связаны с положением творческой интеллигенции.

«Отвечая на вопросы о своих взглядах и причинах отъезда из Советского Союза, Ростропович, в изложении буржуазной газеты «Экспрессен» (9 мая с. г.), заявил: «Я музыкант, а не политик. Брамс всегда всегда Брамс, Бетховен всегда Бетховен, а политика изменчива... Я не имел возможности работать. Меня вытравили из Большого театра, из студии записи. Они прервали меня во время записи концерта. Я не имел возможности играть».

Ростропович сообщил, что с тех пор, как он покинул Советский Союз, «сделал 25 записей на Западе. В Советском Союзе исполнено гораздо меньше. Мое имя запрещено называть по радио, печатать в газетах...

Блокада против меня в 1974 году была связана с тем, что я помог Солженицыну. Я уверен, что в моей стране наступит время, когда все смогут говорить то, что они хотят, без страха и наказаний, оскорбляющих человеческое достоинство».

Другая буржуазная газета, «Свенска дагбладет» (7 мая с. г.), привела слова Ростроповича: «Наше время характерно тем, что строят концертные залы, где ничего не слышно, и жилые дома, где слышно все». И далее отмечала: «Ростропович не является изгнанником. Он и его семья имеют советские паспорта, которые недавно продлены».

Газета «Экспрессен» сообщила 15 мая с. г., что в Стокгольме состоялась встреча Ростроповича с Эрнстом Неизвестным. Последний рекламируется как «самый знаменитый скульптор» и «друг М. Ростроповича»... Газета «Экспрессен» объединяет Ростроповича и Неизвестного как «двух замечательных художников, без которых Советский Союз может обойтись», дабы убедить читателей, что от этого якобы оскудела культурная жизнь Советского Союза.

Обращает на себя внимание и тот факт, что в середине мая многие шведские газеты поместили положительные рецензии на концерты памяти Д. Шостаковича, организованные стокгольмской филармонией с участием советских исполнителей Г. Рождественского, Е. Нестеренко, Л. Когана. По заявлению директора филармонии Б. Энгстерма, такого вос-

торженного приема концертный зал Стокгольма давно не слышал. Это, сказал Энгстерм, были фантастические концерты. Они открыли для шведов величайшего советского композитора и изумительных советских исполнителей.

Советник посольства СССР в Швеции А. Власов».

Внизу на документе, отправленном через месяц в архив, имеется список организаций или отделов ЦК КПСС, куда этот и ему подобные отчеты были переданы.

Цитата без комментариев:

«Но зачем писать морально дискредитированный донос, если мы изобрели другую, кристально чистую литературную форму-отчет?! Теперь нам нет надобности мучиться угрызениями совести (если мы когда-нибудь ими мучились!), когда нас вежливо просят написать отчет о поездке, о встрече, о беседе... Да нас и просить не надо, ибо мы сами знаем, что писать отчеты обо всем есть наш священный долг» (Александр Зиновьев, «Гомо советикус»).

**Подготовка текста и публикация
АЛЛЫ БОГДАНОВОЙ.**



ВСЕГДА

ОДНА,

ВСЕГДА

СОЛИСТКА

«В студии у меня нет даже своего стола», — сказала Ирина Мишина, когда я договаривалась с ней о встрече. В назначенный день ведущую вечернего выпуска «Новостей» по непонятным ей самой причинам руководство «Останкино» решило отстранить от эфира. Она стояла в вестибюле телецентра и не знала, что делать...

От эфира Мишину отстраняли неоднократно. В последний раз расплывчатая мотивировка — «искажение фактов», оговорки — удачно подошла к давно назревавшему конфликту. Ведущую не устраивали обилие рекламы в информационной программе и сама система подготовки выпусков.

После длительной беседы с генеральным директором «Останкино» Олегом Слабынко компромисс был найден. Мишину восстановили в эфире, и у нее появилась своя собственная программа...

— Вы похожи на женщину, которая сделала себя сама. Это действительно так?

— На первый взгляд у меня биография благополучного человека. Школу я закончила с золотой медалью. И поэтому многие думают, что я была «правильной» и упорно учила уроки. Хотя у меня просто хорошая память и актерские способности. Университет тоже — с отличием...

— И сразу на телевидение?

— Нет. И университет был не сразу. Так сложилось, что после школы я осталась совершенно одна. Надо было зарабатывать деньги. Ну, а поскольку писать я начала рано, в основном рассказы, на свой страх и риск отправляла кое-что в газету «Московский комсомолец» и в журнал «Юность».

Из «Юности» мне ничего не ответили, а из «МК» пришло письмо с предложением попробовать силы в качестве корреспондента. Дали задание. Целую неделю блуждала по таганским переулкам в поисках трудных подростков. Написала большую статью. Потом открыла свою рубрику: «Москвичам о Москве». Писала стихи.

— А как вы попали в манекенщицы?

— «Позорный» факт в моей биографии. Готовила материал о Всесоюзном Доме моделей. И поскольку я, наверное, неплохо сложена и не самая страшная девушка, меня пригласили посотрудничать. Я ушла из газеты и стала работать моделью. Но в борьбе между журналистом и манекенщицей победил все-таки журналист. Когда я прочитала характеристику, которую мне дали в газете, сомнения — поступать или не поступать на журфак — у меня окончательно развеялись. Несмотря на то, что почти не готовилась и не рассчитывала поступить, прошла творческий конкурс, написала сочинение на «пятерку» и как медальстка совершенно неожиданно прошла. Меня распределили на телеотделение. Тогда я работала внештатно во многих газетах и во мне опять начали бороться два человека — газетчик и телевизионщик. В 1980 году, так как я свободно знаю три языка — английский, французский и итальянский, — меня направили переводчицей обслуживать Олимпийские игры. Параллельно работала внештатным сотрудником на ТВ. Через год — на радио. После университета выбрала все-таки телевидение.

Мне предложили ставку младшего редактора с окладом целых 110 рублей. Тогда это были бешеные деньги. Через несколько ме-

сцев попросилась младшим редактором в «Маяк», в отдел писем. Одновременно делала корреспонденции. А в 1987-м, когда активно стали практиковаться прямые эфиры, мне предложили работать в утренних информационно-музыкальных панорамах. В течение двух лет работала в паре с Николаем Нейчем: он вел внутрисоюзную часть, а я международную. Через какое-то время захотелось попробовать себя в аналогичной телепрограмме «120 минут». Сначала в ночных эфирах — на Сибирь и Дальний Восток, потом на утренних.

— Из-за чего распался ваш союз с Дмитрием Киселевым?

— Просто каждому из нас хотелось сказать гораздо больше, чем это было предусмотрено в передаче, которую ведут двое журналистов. В какой-то момент Дима стал делать выпуски с дикторами. Я же по-прежнему свою часть программы держала только на себе. За год успела даже организовать альтернативную корреспондентскую сеть. Я почувствовала, что главная редакция находится у меня внутри и ничья помощь мне не нужна. Эту «страшную силу», очевидно, ощутила не я одна. Мне предложили покинуть пределы утренней программы и перейти в вечернюю.

— Ваши первые выходы в эфир в «Новостях» были какими-то уж очень трепетными...

— Больше всего мне запомнился дебют. Накануне я страшно волновалась. Особенно о том, как буду выглядеть. Недалеко от «Останкино», в парикмахерской под названием «Шанс», меня подстригли так, что стало ясно — свой счастливый шанс я упустила. Поэтому во время первого эфира в основном думала о нещадно выстриженном клоке волос, а не о том, что скажу. Слава Богу, ря-

дом был красивый и вальяжный Юрий Петров, которого в промежутках между сюжетами я хватала за руку и срывающимся от волнения голосом говорила: «Юра, я боюсь». Он, как настоящий мужчина, успокаивал, нажимал за меня на кнопки. Благодаря ему через неделю я освоилась, научилась спокойно и раскованно работать в кадре. Он поставил мне голос, интонации, я стала говорить так, как говорили в России — не рваными, а полными предложениями.

— Судя по размытым границам журналистики и политики чисто театральные наклонности у ведущих находятся отнюдь не на первом месте. Возможна ли аполитичность официальной государственной программы?

— Пока, к сожалению, на это трудно надеяться. Слишком велика конфронтация в обществе. Неизбежно приходится склоняться на чью-либо сторону. В идеале — ведущий информационной программы, безусловно, не должен принадлежать к какой-то политической группировке или партии. Его место — над схваткой, как у арбитра. Нужно мирить, а не сталкивать людей друг с другом. Я максимально стараюсь придерживаться этого принципа, уравнивать разные точки зрения.

— Ирина, вы всегда учились на «отлично». В жизни вам удается быть такой же безупречной?

— Как и у всякого человека, у меня есть свои слабости. Если говорить об «отметках», в жизни все наоборот. И в работе хорошо лишь на первый взгляд. Но зрителю не нужно знать, что к концу дня у меня болит не голова, а ноги от энного количества километров, которые я обычно пробегаю по комнатам редакции. Когда люди видят на экране спокойного,

улыбающегося ведущего, который говорит: «Потерпите, все будет хорошо», — становится легче, появляется надежда.

— Вам, наверно, совершенно некогда заниматься хозяйством?

— Почему? Вчера, например, сварила суп из крапивы. Не роскошь, но приятно.

— Как муж относится к вашему существованию «только на работе»?

— Мне не хотелось бы говорить о семейной жизни. В быту я консервативна.

— В вашей старой московской квартире, среди портретов ваших дворянских предков висит портрет деда — генерала царской армии. Наверное, приятно чувствовать, как продолжается род...

— У меня на самом деле странная квартира. Вся мебель XIX — начала XX века. Мне неудобно в современной обстановке, поэтому стараюсь ничего не менять. Говорят, что я летаю в облаках. Но быт действительно для меня ничего не значит.

— А как вы отдыхаете?

— Я расслабляюсь, когда слушаю классическую музыку. Иногда сама играю на пианино, перечитываю сказки Андерсена, братьев Гримм. В них много искренности и чистоты.

— Вы скрываете свой возраст?

— Нет. Мне 31 год. Родилась 5 ноября 1962 года, в пять часов пятнадцать минут, в роддоме на Бауманской.

— Если уж мы раскрываем все карты... Костюмы для эфира вы выбираете сами или у программы для этого есть стилист?

— Стиль помог мне создать Вячеслав Зайцев. Он советует, какие силуэты, цвета мне подходят.

— Вы постоянно у него консультируетесь?

— Мы оба занятые люди. Встречаемся время от времени. С ним просто приятно общаться. Слава очень талантливый человек — великолепно рисует, пишет стихи. А если делает замечания, то настолько тонко и тактично, что это воспринимаешь как само собой разумеющееся.

— Например?

— Как-то он мне сказал, что я свежа, как мороженое. И я сделала вывод, что слишком моложава для информационной программы. Решила сделать стиль более солидным. А так как я очень худа, вешу 48 кг, Вячеслав Михайлович посоветовал надеть пиджак. Кстати, в последнее время в этом смысле и редакция тоже стала помогать. Но мне ничего не подходит: у меня нестандартный 42-й размер.

— А стрижетесь сами?

— Зависит от времени и настроения. Иногда сама, иногда это делают наши телевизионные парикмахеры.

— Над вашей внешностью работают косметологи и визажисты? Это вам положено по статусу?

— Не хочу показаться нескромной, но, по-моему, мне пока рано вато пользоваться их услугами. Мой принцип — минимум косметики, максимум обаяния.

— Для вас сейчас существуют авторитеты?

— Пожалуй, нет. Раньше, когда я только пришла на телевидение, были если не авторитеты, то по крайней мере люди, за которыми наблюдала с интересом. Это не значит, что старалась их копировать. Никогда не пела в хоре. Я привыкла солировать.

НАТАЛЬЯ ОЛЕГОВА

≡
*Я не сам выбираю пути.
И не сам пролагаю, похоже.
Но по белому снегу идти
Выше сил моих, праведный Боже.*

*Я не стану просить: вознеси!
Я прикован к земле снегопадом.
Ощущеньем полета спаси,
Чтобы грезилось бредущим взглядом.*

*Ненасытный кончается век.
Проступают столетия юные.
Божий замысел, чистый как снег.
И следы поперек неразумные.*

≡
*Вознесен над падающим снегом,
Что скажу я небу и земле?
Разве слово обернется хлебом,
Если хлеба мало на столе?*

*Не путем зерна, тропинкой снега
Сам ли шел, судьба ли привела.
Грешный сын святого человека
Я живу, а мама умерла.*

*Что скажу я, кто меня услышит,
Кто поверит на слово, когда,
Словно снег, я падаю все ниже,
Словно снег, пришел не навсегда.*

*Вы меня не спрашивайте, с кем я.
Я не знаю, сам себе не рад.
То ли таять наступает время,
То ли затеряться в снегопад.*

≡
*Еще долго читать прошлогодние письма,
С чувством долга сжигать прошлогодние листья,
Втихомолку служить прошлогоднему снегу
Да без толку спешить вслед погасшему свету.
Приминая в сердцах пепел прожитых лет,
Каждый раз попадая в свой собственный след...*

ССОРА

Мы молча ужинаем. Оба
Надеждой тешимся одной,
Вдруг кто-то первым скажет, чтобы
Ему ответить мог другой.
И пусть он просто соли спросит,
Шепотку лишь, и все дела.
Но кто-то первым ложку бросит
И выскочит из-за стола.

ЭТЮД

Ты спрячешься в пивной от непогоды,
Хотя дождя на улице чуть-чуть.
И долгожданный миг мужской свободы
Восславишь в разговоре с кем-нибудь.
Поддакнут торопливо соглашатели,
Как будто бы порядок здесь такой.
И, словно стародавние приятели,
Одна душа откликнется другой.
И женщина возникнет на пороге,
Взирая строго, словно божество.
Промолвит слово грусти и тревоги:
«Эй, кто-нибудь, не видел моего?»

==

Рожденные под знаком Козерога,
Две женщины встречаются на пути.
Одна меня проводит до порога,
Другая улыбнется: «Приходи».
Как будто раздвоился мой хранитель
Священного домашнего огня,
Две женщины, о чем вы говорите?
Зачем вы понимаете меня?!
Чтоб жизнь ко мне была не так жестока,
А может быть, совсем наоборот,
Одна в ногах валяется у Бога,
Другая черту душу продает.
Одна все сокрушается о теле,
Другая о душе моей скорбит.
Вы все со мною разделить хотели,
И поровну вам ласки и обид.
Рожденная под знаком Козерога,
Прости мне эту двойственность, прости...
И, провожая утром до порога,
На склоне дня промолви: «Приходи»...

==

Тяжело отпускала любовь,
Обещала последние царства,

Но у нас больше не было слов,
Чтобы с ней о цене сторговаться.
Восвояси брели не спеша,
Ничего не умея исправить,
Лишь твоя охладела душа,
И моя не успела оттаять.

≡
Друзьями вышли за порог,
Пришли врагами.
Нас жизнь рассудит или Бог —
Не мы же сами.
А в небесах кому парить,
Кому — по суше...
Не мне об этом говорить,
Не вам бы слушать.

≡
Подделом. Я плачу за слова,
За нелепые речи во гневе
Иероглифом рваного шва
На обтянутом кожею чреве.
Говорят, и нажиться бы мог,
На процентах нелепого дара,
Только вот подходящий налог
Много выше порой гонорара.
Разменяю рубли на гроши,
Болтовней отболею, как корью,
Но грехи обнаженья души
Чем я, кроме молчанья, покрою.

≡
Как ни была бы быстротечна
Жизнь, что случилась невпопад,
Еще надеждою на вечность
Нисходит с неба снегопад.
Еще устами молодыми,
Дурачась, ловят белый снег.
Земля и люди.
А над ними —
Бессмертья мрак.
Бессмертья свет.

≡
Благодарен тебе за науку,
Скоростной милосердный наш век.
На углу, робко вытянув руку,
Просит помощи человек.
Это после покажется странным,
Но сквозь неодобрительный гул,

На бегу оттопырив карманы,
Я ведь мимо него прошмыгнул.
И назад мне уже не вернуться,
Я другой обживаю район,
А потом оправданья найдутся
И защитников легион.
Утешая, погладит по шерстке,
Пожалеет за растерянный вид.
Но, как знать, на каком перекрестке
Он отыщет меня и простит.

≡

Я опять безнадежно отстал
От великого воинства слова.
И строки смертоносный металл
Мимо сердца проносится снова,
Хорошо, еще сил достает,
Сомневаться, что вряд ли достану
Тех, что смело шагнули вперед
И уже никогда не отстанут.

Я бы плюнул — и дело с концом,
Но за Словом, что было вначале,
Шли поэт с обожженным лицом
И бесплодная муза печали.

≡

Под созвездием малого снега
Мне печаянно выпало жить,
Половинку двадцатого века
К двадцать первому лишь приложить.
Как поладят там Бог с человеком,
И вообще бы узнать обо всем,
Ну не думать же с тающим снегом,
Будто нами кончается все.
Будто вера в бессмертье нелепа,
Если даже узреть не смогли,
Как смыкаются с водами неба
Необъятные воды земли.
И последняя память о тверди,
И о мраке последняя ложь
Растворяются в Правде и Свете,
Разве видишь, куда живешь.
От того, что творится сегодня,
Что еще натворит человек,
Разбивается сердце Господне —
На земле появляется снег.



*Не выходит скрепить во спасенье,
Как звеном меж людьми и зверьем,
Ненадежную связь поколений,
Связь далеких и близких времен.*

*Оттого ли во дни недорода
Судим, поздним рассудком крепки.
И отца всех времен и народов,
И родного отца, дураки.*

*Оттого ли перстом указующим
Нас так часто сбивают с пути,
Что стоим между прошлым и будущим
И не знаем, куда нам идти.*

*Очевидно, в нательных рубахах
Мы б имели растерянный вид.
Но охранная грамота страха
Нас до лучших времен сохранит.*

*И простит человек человека.
Но, верша человечеству суд,
Снегопады XX века
Белой солью на рану падут.*



*Наш век закончится зимой
И, разминувшись с вашим веком,
Растает в вечности самой,
Надеюсь, не последним снегом.
Уже вершится снегопад,
Стирая старые ошибки,
Тысячелетия летят,
А снизу кажется — снежинки.*

ДЕШЕВЛЕ БАТОНА ХЛЕБА

Говорят, о своем здоровье можно судить по тому, как вы радуетесь утру и весне... Ну как? Много ли среди нас наберется здоровых?.. А между тем Шопенгауэр утверждал, что здоровый нищий счастливее больного короля, и, если взвесить все как следует, с ним нельзя не согласиться.

Впрочем, кто же не хочет быть здоровым?! Но как? Годы здоровья не прибавляют, да и у молодых диагноз «абсолютно здоров» встречается все реже и реже. Причин много, и перечислять их — пустая затея... Но жить-то надо! Именно жить, а не доживать! А значит, необходимо вовремя выявить свои недуги, а еще лучше — предрасположенность к ним, и вовремя принять меры.

Просто? Только на первый взгляд. И особенно сейчас, когда бесплатная медицина доживает последние дни, а новая, страховая, еще не встала на ноги. В такой обстановке опыт Медицинской

альтернативной компании (сокращенно — МАК), работающей совместно с некоммерческим фондом «Московская кардиология», оказывается как нельзя кстати. Своей деятельностью она ежедневно доказывает, что в нынешних условиях можно четко организовать диагностику и лечение пациентов на высшем профессиональном уровне, не рассчитывая при этом ни на какие дотации.

Как? Об этом — наша беседа с директором МАК, **доктором-кардиологом Юрием Михайловичем Острогорским.**

— Мы долго ругали нашу бесплатную медицину и, как говорится, дождались — теперь за все придется платить. Однако это отнюдь не гарантирует, что лечить будут лучше, да и врачи, говорят, от этого богаче не станут. Так стоила ли «овчинка выделки», Юрий Михайлович?

— Я прежнюю систему здраво-

охранения не разваливал, так что вопрос по большому счету не ко мне. Но со своей стороны замечу, что, если бы меня в ней все устраивало, я бы, наверное, по-прежнему работал в государственной больнице кардиологом. Я же, как видите, взялся за не совсем свойственную мне деятельность — создание новой медицинской компании, аналогов которой у нас в стране пока нет.

— В чем же ее уникальность?

— Это эксперимент, благодаря которому нам хотелось бы «убить двух зайцев сразу». С одной стороны, отработать схемы организации медицинской помощи, при которых медицина была бы в состоянии обеспечивать себя без государственных дотаций. А с другой стороны, дать возможность людям получить медицинскую помощь высокого класса за минимально возможную цену.

— Неужели можно совместить эти, на мой взгляд, взаимоисключающие вещи?

— Можно, если не делать ставку на медицину как на бизнес. Медицина не может да и не должна быть бизнесом! Это антигуманно — наживаться на людских «болячках». Но даже если отбросить в сторону моральный аспект проблемы, попытка полностью обеспечить лечение пациента из его собственного кармана (или кармана предприятия, на котором он работает) тоже обречена — этих денег не хватит. Выход один: медицина должна зарабатывать сама, но не медицинскими услугами, а другими видами деятельности.

— Как? Опять пироги должен печь сапожник, а сапоги — тачать пирожник?

— Ни в коем случае! Речь совсем о другом. Почему бы не разрешить медицинским учреждениям (больницам, например) открывать

при себе коммерческие структуры? Пусть они зарабатывают деньги любым законным способом (торговлей ли, посредничеством, производством — все равно), а положенные им налоги отчисляют не в закрома родины, а в конкретную больницу, которой учреждены.

— Заинтересованность больницы в таких коммерческих структурах понятна, а вот зачем это нужно коммерсантам?

— Им это будет выгодно лишь в одном случае — если для них, тех фирм, которые учреждены медицинскими учреждениями, налоги будут снижены. А такая политика, как вы понимаете, требует законодательного подкрепления.

— А пока этого нет, что делает в нынешних условиях МАК?

— МАК зарабатывает деньги в своих специально созданных коммерческих структурах и тратит их на развитие своих медицинских программ. Одна из них рассчитана на людей, перенесших инфаркт, а также страдающих аритмией, стенокардией, гипертоническими кризами и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Статистика показывает, что именно они, а не рак или СПИД уносят наибольшее число жизней в наше время. Только за последние десять лет на территории бывшего Союза смертность от них выросла в четыре раза! Причин столь неутешительной статистики много, причем значительная часть их не зависит от врачей. Но есть ряд факторов, которые явно нуждаются в улучшении, — организация неотложной помощи именно таким больным, например. Немало людей гибнет только потому, что помощь запоздала или была недостаточно квалифицированной. Для таких больных важно все до мелочей — и какой врач приехал на вызов, и как скоро пациента доставили

в стационар, и кто встретил его в приемном покое, и оперативно ли была сделана ЭКГ или пришлось бегать в поисках дежурной медсестры. Вы себе даже представить не можете, от скольких случайностей порой зависит жизнь человека! Что предлагает МАК? Свести эти случайности до минимума! Всем, серьезно страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, приобрести своеобразную «страховку от инфаркта». Суть вот в чем: пациент, уже перенесший инфаркт, покупает у нас абонемент-сертификат на год, который ему гарантирует экстренную медицинскую помощь высочайшего класса. В случае приступа по его звонку в диспетчерскую МАК к нему будет направлена специализированная бригада «скорой помощи», с которой у нас заключен договор. Она либо снимет приступ на месте, либо доставит больного в одну из лучших клиник столицы, включая Кардиоцентр. Договоры, которые МАК заключил с рядом первоклассных специализированных московских клиник, исключают «момент неожиданности» появления больного в стационаре: там его ждут и во всеоружии готовы вступить в борьбу за его жизнь. Немаловажен и тот факт, что лечить будут столько, сколько нужно, не взимая за это никакой дополнительной платы к уже приобретенной «страховке». К слову сказать, стоит она больному 15—20 тысяч на год, и это, конечно, никак не окупает реальные затраты на медицинское обслуживание такого пациента. Только цикл лечения неосложненного инфаркта миокарда в Кардиоцентре обходился минувшим летом в 180 тысяч рублей, а осенью подорожал еще... Наш же договор предусматривает возможность лечиться в стационаре столько раз в году, сколько будет необходи-

мо, — все расходы по лечению берет на себя МАК.

— В последнее время прочно утвердилось мнение, что при нынешнем «разброде и шатании» в отечественной медицине организовать не только лечение, но и диагностику на высшем профессиональном уровне возможно лишь для узкого круга избранных — будь то разнообразные знакомые или нарождающийся класс богатей... Вы же с успехом разрушаете и этот стереотип.

— Да, диагностическое отделение, которое мы организовали совместно с одной из клинических больниц III Главного управления, открыто для всех желающих. Обратившись туда, любой человек может быть уверен, что не более чем за неделю при помощи современной медицинской аппаратуры врачи установят точный диагноз заболевания. При необходимости стационарного лечения больному могут предложить пройти полный курс лечения в той же больнице или другой, профильной клинике того же уровня. Если пациент захочет лечиться по месту жительства, ему выдадут все результаты анализов и исследований на руки, что поможет врачу, который будет наблюдать впоследствии этого больного, выбрать наиболее эффективную методику лечения. Наше диагностическое отделение, повторюсь, принимает всех — вне зависимости от прописки и места жительства, что очень удобно для иногородних. Им не надо «мотаться» по Москве в поисках кооперативов, которые проводят те или иные исследования, им не надо думать о гостинице, им не надо обивать пороги Министерства здравоохранения с просьбами о направлении в столичную клинику. Им даже необязательно везти с собой свою медицинскую кар-

ту или выписку из нее. Все, что требуется, — это позвонить или приехать в МАК, дальше заботы о больном берут на себя наши специалисты. Не буду вводить в заблуждение тех, кто думает, что все это мы делаем из благотворительности. Диагностическое отделение — платное, но, как и все программы в МАКе, работает по минимальным расценкам. Если попытаться проделать весь цикл исследований «вразнобой» — в разных платных клиниках и кооперативах — и обойдется значительно дороже, а уж о потерях времени и спору нет.

— Уж простите мою вьедливость, но в чем, собственно, альтернативность вашей компании, скажем, ныне существующей, вернее, складывающейся, системе «страховой медицины»? Вы так же берете деньги с клиента (пусть меньше, но все же) и передаете их клинике...

— Разница в ответственности за больного. Функции страховой компании сводятся в основном к оплате лечения своего клиента. Качество работы клиники, с которой у страховой компании заключен договор, практически не зависит от работы этой компании. Мы же стремимся к тому, чтобы в систему «больной — врач — больница» был заложен принцип взаимной ответственности.

— А страховые компании утверждают, что они заключают договоры только с лучшими клиниками, с теми, в которые в недавнем прошлом «простому смертному» бы и не попасть. Там-то уж уровень обслуживания, ответственности достаточно высок...

— Верно. Но, согласитесь, на все страховые компании лучших клиник не хватит, и что тогда? Расслоение на лучшие и худшие поликлиники и больницы только

усилится. У лучших, с которыми будет стремиться заключить договоры как можно большее число страховых компаний, положение улучшится, а у «плохих», оставшихся без клиентов, а значит, и без средств, — ухудшится. А так как элитных медицинских учреждений, что ни говорите, у нас всегда было меньше, чем рядовых, то и делайте отсюда вывод: где будет лечиться большая часть населения? Мы же ратуем за иную организацию здравоохранения на нынешнем, переходном, этапе. Человек должен лечиться у конкретного врача, который бы полностью отвечал за его здоровье. И тогда вопрос «У кого вы лечитесь?» не вызывал бы недоуменного пожимания плечами у пациента, «прикрепленного» по месту жительства или работы к какой-то поликлинике. Этот врач входил бы в какую-то профессиональную ассоциацию или медицинскую компанию — кардиологов, эндокринологов и т.п. Ассоциация же арендовала бы в той или иной клинике площади, на которых она может размещать «своих» пациентов. Задачи ассоциации или медицинской компании — «загружать» больницу и «вести» своих больных, используя для этого весь арсенал средств, которыми располагает больница, — и специалистов, и средний, и младший персонал, и медтехнику с оборудованием. Задача больницы — обеспечить надлежащий уровень обслуживания. Если же ей это не удастся, ассоциация, которая платит деньги за аренду, вправе требовать, чтоб уровень услуг соответствовал ее требованиям. Если же она не находит понимания со стороны «местной» администрации и не видит с ее стороны усилий для обеспечения надлежащих условий для работы своих специалистов, арендатор вправе сменить клинику. Что

это давало бы клиникам? Представьте, что каждый этаж больницы арендует какая-то ассоциация. В больнице — слабое диагностическое отделение, нет современного оборудования. Арендаторы, которых это, естественно, не устраивает, «складываются» и выделяют сумму, необходимую на то, чтобы оснастить лабораторию по последнему слову науки. Результат? «Плохая» клиника становится лучше... Этот же принцип — взаимной ответственности — лежит в основе еще одной нашей медицинской программы — «семейный врач».

— Той самой, которая с треском провалилась, будучи объявленной Минздравом в государственном масштабе?

— Она провалилась, к сожалению, потому, что, как всегда, не хватило средств для ее осуществления, а не потому, что у населения нет в ней потребности. У этой программы масса достоинств и преимуществ по сравнению с ныне действующими системами организации медицинской помощи. Зная особенности семьи, наиболее типичные заболевания, которыми страдают ее члены, можно своевременно обратить внимание на профилактику тех или иных заболеваний, оперативно организовать необходимые исследования в лучших клиниках, консультации у ведущих специалистов по этому профилю и проконтролировать все стадии лечения. Короче говоря, у семьи появляется «свой» доктор, к которому можно обратиться в любое время и по любому поводу.

— Каким же образом семья может «обзавестись» таким «семейным доктором»?

— Лучший способ — если ваше предприятие или организация заключит с нами договор на подоб-

ное медицинское обслуживание. За год, на который мы обычно заключаем договор, люди на практике убеждаются, сколь удобна и эффективна такая форма медицинской помощи.

— У входа в ваш офис я обратила внимание на плакат «МАК: врачи у телефона». Это то, о чем вы рассказываете?

— Нет, это еще одна наша программа — медицинская консультативная справочная по телефону.

— Так... по телевизору нас уже лечили. Теперь — по телефону?

— Консультация — это не лечение. Разве у вас не возникало ситуаций, когда срочно требовалось проконсультироваться с врачом? У ребенка внезапно вечером «прыгнула» температура. «Сбивать» ее? Вызывать «Скорую»? Ждать до утра прихода участкового? Вы забыли, какую воду — холодную или теплую — нужно наливать в очистительную клизму? Кто выступает советчиком по всем этим не бог весть каким сложным, но столь популярным вопросам? Родственники, друзья, коллеги? Гораздо спокойнее, если на них ответит квалифицированный врач, которому можно позвонить в любое время суток. Набрав московский телефон (095) 474-01-61 или 474-02-61, вы можете выяснить любой интересующий вас медицинский вопрос. Если он окажется достаточно сложным, врач посоветуется с коллегами и перезвонит абоненту.

— Сколько же стоит одна справка по вашему телефону?

— В связи с инфляцией называть сегодняшнюю цену, вероятно, не имеет смысла. Могу лишь уверенно сказать, что она у нас всегда значительно дешевле батона хлеба...

**Беседу вела
ЕЛЕНА ЦЫГАНКОВА.**

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЖИВОПИСИ



АЛЕКСАНДР БЕНУА

122

История этой книги, ставшей событием культурной жизни России, сама по себе необычна.

В феврале 1893 года в Петербурге частями начал появляться труд немецкого профессора Рихарда Мутера «История живописи в XIX веке». «Первый же выпуск, — вспоминал позднее Бенуа, — произвел на меня впечатление какого-то откровения. Так об искусстве, об истории искусства до тех пор никто не говорил. Так просто, свободно и смело». Но впечатление разорвавшейся бомбы, о котором вспоминает Бенуа, ему самому пришлось испытать дважды: первое — от того, что было в труде Мутера, и второе — от того, чего в нем не было.

Десять выпусков, составивших впоследствии три объемистых тома, представляли собой историю всей мировой живописи. Не говоря уже об итальянской, немецкой, голландской, французской, английской школах, в ней были главы, посвященные школам не столь значительным — скандинавским и даже польской. Глава же, которая «была бы посвящена русской живописи, просто отсутствовала!»

«Я, — продолжает Бенуа, — очень обиделся за Россию, усмотрев стран- ный пропуск в программе книги Мутера. Предположив, что автор просто не располагал достаточными сведениями по истории русской живописи, я и возымел смелую мысль предложить ему свои услуги по собиранию таковых».

Сочинив и отослав письмо в Мюнхен, Бенуа не питал больших надежд удостоиться ответа. Но, к удивлению, ответ последовал сразу, а содержание его показалось и вовсе удивительным. Почтенный профессор каялся в полном незнании русской живописи, но не просил у своего адресата сведений, а предлагал ему самому написать эту недостающую главу.

ИЯ

писи



ФЕДОР РОКОТОВ.
Портрет неизвестного
в треуголке.

Смушение и страх продолжались ровно неделю; в конце ее он послал Мутеру свое согласие.

Начав работу в середине июля, 15 августа Бенуа отослал рукопись в Мюнхен, а в октябре появился выпуск с главой о русской живописи и в заглавии его стояла строка: «Unter Mitwirkung von Alexander Benois. St. Petersburg»*.

Это был первый писательский опыт двадцатитрехлетнего художника. Судя по всему, более чем удачный, потому что, когда готовился русский перевод книги Мутера, друзья убедили Бенуа, что в отечественном издании невозможно ограничиться несколькими страницами главы, посвященной русской живописи, а следует расширить ее до отдельной книги, каковую и приложить к переводу Мутера — четвертым томом, что и было сделано.

Такова предыстория книги, рожденной случаем, но сразу же ставшей событием культурной жизни не одной только России.

Остается ответить на вопрос, почему именно она, эта книга, а, например, не заключительный том «Истории искусства» П. Гнедича, посвященный тому же предмету, или не «История русского искусства» А. Новицкого, наконец, не известный труд «Искусство XIX века» В. Стасова, появившиеся в те же годы, получили такой сильный общественный резонанс?

В числе причин тогда называли следующие: «Бенуа первый расчистил авгиевы конюшни нашей живописи и дал руководящую нить, с которой не рискуешь сбиться с настоящего пути» (С. П. Дягилев). «Книга совершила переворот в нашем искусствоведении, так как Бенуа переоценил художественные ценности, основываясь на глубоком понимании сущности искусства» (А. П. Остроумова-Лебедева).

* При участии Александра Бенуа. С.-Петербург (нем.).

Но откуда оно, из чего рождено и выросло это «глубокое понимание сущности искусства»? Здесь и заключено, на наш взгляд, главное.

Книга Бенуа — редчайший в мировом и единственный, до той поры, в русском искусствознании пример, когда историю живописи пишет живописец *. Потому книга эта и лишена той тяжеловесной наукообразности, отпугивающей читателей в трудах присяжных искусствоведов. Взгляд профессионала-художника, способный до предела проникнуть в предмет разговора, колоссальная эрудиция в вопросах мирового, а не только русского искусства, обеспечивающая изящество сооставлений и свободу повествования, наконец, редкий литературный дар — все это в счастливом сочетании и стало причиной ошеломляющего успеха книги Бенуа.

И вот теперь, спустя 92 года после первого и последнего русского издания, «История русской живописи в XIX веке» перед вами. Пускай сегодня далеко не все согласится с оценками, часто резкими и нелицеприятными, которые дает автор признанным мастерам (Брюллов, Верещагин), но книга настолько талантлива даже в этих «перехлестах», что мы не сочли возможным вмешиваться в текст, снабжая его примечаниями или комментариями с позиций и знаний сегодняшнего дня. А поскольку мы публикуем труд Александра Николаевича Бенуа без изъятий и сокращений, то постоянный читатель «Смены» станет к концу года обладателем увлекательной, умной, а в наше сумасшедшее жестокое время особенно нужной, но давно уже ставшей библиографической редкостью книги.

Судьба русского искусства вообще и в частности живописи претранная. Литература уже с половины прошлого века начинает отражать в себе общественные настроения, быстро затем крепнет, растет и, наконец, расцветает необычайно пышным цветом в произведениях великих светил русской мысли и слова: Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого; в их творчестве воплощается весь смысл русской жизни, все разнообразие, вся глубина ее стремлений. Развитие музыки слабее, сбивчивее, но все же достигает удивительной высоты; она входит в русскую жизнь и становится отражением этой жизни, будит в наших сердцах сокровенные, необъяснимые, но дорогие ощущения. Однако другие искусства, искусства образа, пластической формы, тем временем как-то маются, перебиваются, всегда оставаясь далеко позади литературы и музыки, каким-то слабым их отголоском. В чем же дело?

Не виновата ли в том природная неспособность русского человека в этой области, находящаяся, как думают некоторые, в зависимости от географического положения, от скудости и однообразия впечатлений, а также и от различных исторических причин, каковы, например, вековое рабство низших сословий, бестолковое

* Имеются в виду Д. Вазари в XVI веке и Э. Фромантен в XIX. Но они писали об отдельных художниках. «История русского искусства» И. Грабаря начала выходить в 1909 году.

воспитание высших или застылость религиозных воззрений? Все это, может быть, и действовало на развитие способностей, но относительно существа вопроса придется сразу ответить отрицательно, ибо самая способность русских людей уж во всяком случае не может подвергаться сомнению. Стоит только вспомнить, до какого мастерства живописи доходили некоторые наши художники: Левицкий, Боровиковский, Щедрин, Кипренский, Репин, Серов, чтобы сейчас же решить и безусловно, что чисто живописной способности в русском народе всегда было немало.

Итак, *мастерство* могло быть — и было. Но тогда, может быть, не было, так сказать, внутреннего материала: русские художники, в силу разных условий, были на такой низкой ступени развития, что угнаться за своими товарищами писателями им нечего было и думать? Но и это предположение неверно. Правда, большая часть художников прозябала в невежестве, но ведь в других странах это не мешало появлению прекрасных художественных произведений; с другой же стороны, в среде русских художников немало встречалось за последний век высокообразованных и очень выдающихся личностей, равных которым и на Западе нашлось бы немного. Стоит лишь вникнуть в то, что представляет собой один наш Иванов, как глубокоумный мыслитель-художник, чтобы сейчас же отказаться от мысли, что наша живопись не могла именно за недостатком значительных лиц дать все столь же глубокое, прекрасное и мощное, как дал любой народ на Западе, или наши же литература и музыка. Да и, кроме Иванова, не было недостатка в сильных и одухотворенных индивидуальностях среди русских художников. Венецианов — такое явление, которому равным в то время на Западе был только один Рунге; Федотов, пробившийся из николаевской военщины до положения вождя русской живописи; Верещагин, так горячо, так стойко пропагандировавший свои (быть может, и не очень глубокие, но искренние и когда-то свежие) идеалы; Репин и Васнецов, вырвавшиеся из провинциального болота и сделавшиеся прославленными представителями школы; Ге, с упорством и не без дерзости принявший в своих картинах проповедовать такие философские воззрения, которые наименее были возможны у нас; все они и во главе их, повторяю, Иванов — такие явления, которые ясно доказывают, что недостатка в значительных личностях среди наших художников отнюдь не было. Напротив того, вряд ли за все XIX столетие в истории живописи сыщется где-либо такое собрание отчаянных борцов и преобразователей.

Отчего же эти силачи и храбрецы, в общем, не дали ничего яркого, решительного, окончательного и цельного, а вся их деятельность свелась к чему-то в конце концов недосказанному, серому и вялому, представляющему громадный интерес для нас, так как мы способны под непривлекательной корой отрыть драгоценное для нас, затерянное, поломанное и загрязненное, но являющемуся для западных исследователей и ценителей чем-то столь неутешительным, что и до сих пор русская школа не добилась там, подобно русской литературе, заслуженного почета и любви? Откуда же та кора, которая сковывала и душила у нас

даже самых сильных? Откуда такое блуждание самых смелых, такой хаос намерений, желаний, такое коверканье часто недоразвитых способностей? Откуда, словом, все то, что является причиной неутешительного положения нашего искусства, на попрание которого за все 200 лет, что существует у нас *общевропейское* искусство, трудились столько почтенных и превосходных русских людей?

Не оттуда ли, откуда вообще идет вся наша сумятица, а за ней, как следствие ее, лень и апатия «Обломовки»: от нашей — боюсь сказать столь избитое, но все же верное слово — оторванности от почвы, от незаполнимой пропасти, существующей между коренной народной жизнью и той наносной культурой, которую мы еще и теперь так мучительно сознаем, не ужившись в течение двух столетий с ней? Мы ведь все еще чувствуем себя чужими среди наших учреждений, нашего общества, всей нашей обстановки и отдыхаем от этой вечной и мучительной натяжки, от этого мундира только в бесконечных, чисто русских беседах, в чтении тех же бесед, так дивно, полно и глубоко переданных нашими писателями, или в слушании тех песен, которые являются отдаленным, но верным отражением того, что слушает народ испокон веков.

Что же касается нашей живописи, скульптуры, архитектуры, художественной промышленности, то они остаются для нас такими же чужими и ненавистными, как наши гимназии, департаменты или мертвые улицы Петербурга. Кто же виноват в том? Художества ли в том виноваты, или мы сами, общество, для которого они существуют?

126

Не художества, не силы, ушедшие на них, да и не мы сами по себе, а все наши взаимные отношения, отношения не выдуманные, не случайные, но коренящиеся в самой истории. Между русским обществом и русским искусством царит то же недоразумение, как 200 лет тому назад, когда вместе с кафтанами и париками к нам завезли голландские и немецкие картины, итальянские статуи. Как могли люди вдруг полюбить всякие аллегории, чужих богов, святых и ангелов, когда только что они все это должны были *ненавидеть*, а любили по-своему, но крепко, от всего сердца, нечто совершенно другое?! Сам Петр не понимал живописи: он любил забавляться в картинках воспоминаниями тех сценок, которые он видел в своей милой Голландии, он еще больше любил наслаждаться «портретами» столь нужных ему кораблей, но европейское искусство не вошло к нему в дом, не ужилося с ним. Петр охотнее всего прожил бы весь век в своих убогих домишках (только чтоб не оставаться в пугавших его старинных покоях), и если к концу жизни и заметно в нем большее стремление к роскоши и блеску, то это не в силу внутренней потребности изящного, но из политических соображений, таких же, которые руководили им, когда он в торжественных случаях надевал, против желания, роскошные кафтаны и новые дорогие парики. Елизавета, прожившая полжизни в подмосковных царских теремах, ходившая на частые богомолья в древние русские церкви, с древними русскими иконами, не могла *любить* того французского и итальянского шумливого

искусства, среди которого она проживала и даже молилась, став императрицей: все это ей служило лишь блестящей рамкой для ее красоты, подобно тем золототканым робронам и миллионным уборам, в которых она выходила на куртаг. Двор, аристократия, кое-кто из именитого купечества, слепо, но так же поверхностно перенимали иностранную роскошь, входившую в показную жизнь государей: понимания не было никакого, зато много чванства золотом и дорогими произведениями иностранных мастеров. Люди того времени, за редкими исключениями, оставались теми же древними русскими, с теми же древними привычками; они обзаводились изящными нарядами, строили великолепные палаты, накупали для них картинные галереи, но при этом их внутренние покои нередко походили на хлев.

Другое дело — печатное и писаное *слово*: оно и в допетровской Руси жило своей жизнью, даже не особенно стесненное, и переход здесь от старого к новому, слияние своего с чужеземным незаметно прошло в самой жизни, основательно и бесповоротно, искусство же было как-то выслано в переднюю, где и стало томиться напоказ другим, никому, собственно, не нужное.

В течение всего XVIII века, и в особенности к концу его, западная культура уже сильнее проникала в русскую жизнь, но опять-таки больше во всех других ее областях, кроме художественной; изменилось, и коренным образом, все, что касалось нравственного склада, внутренней жизни и образованности, но осталась почти незатронутой *обстановка жизни*. Грязь и безобразия, царствовавшие в жизни Безбородко, Потемкина и многих высокопоставленных и богатых русских людей позднейшего времени, среди их палат, тонко и со вкусом отделанных иностранными мастерами, превосходно доказывают, что мало им было дела до всего этого, что, в сущности, и они, подобно Петру, предпочли бы незатейливое, но зато родное удобство всему тому чужеземному и потому стеснительному.

Наше современное русское общество уже ни в каком случае не может считаться азиатским и варварским; душа его воспитана всем, что только есть свежего и светлого; оно само создало немало дивного и высокого, изумившего весь мир и поучившего его; однако в наружных проявлениях жизнь его не много отличается от жизни его предков. За границей по-прежнему русского человека узнают по безобразной, иногда даже неопрятной одежде; наши города, наш знаменитый Невский — какие-то музеи вопиющего безвкусыя, памятники равнодушия к прекрасному, к мало-мальски изящному; обстановки квартир, часто даже богатых людей, англичанину или немцу показались бы достойными жилищ разве только чернорабочих. Нам все это иностранное до сих пор претит до отвращения. Против своей воли навязывали себе чужеземную роскошь наши деды, да и то не любовались ею, поглядывали на нее, как на чужой скарб, вторгнувшийся в их помещения; картины для галерей — напоказ, мебель для зал — напоказ! А в наше время, вернее незадолго до нашего времени, на все это прямо цинично махнули рукой, со всем этим развязались, все это продали, забыли, пользуясь случаем, что оно было заклеено политическими и этическими учениями 50—60-х годов.

До чего мало вошло искусство к нам в жизнь — лучше всего доказывают воззрения на него умнейших и образованнейших наших людей. Начиная с Пушкина, валявшегося в ногах перед «гением» Брюллова, кончая Львом Толстым, написавшим печальный, по основному непониманию, трактат об искусстве, все без исключения, даже Гоголь и Достоевский, имели самые темные, сбивчивые понятия о живописи, скульптуре, архитектуре.

Да что писатели — сами художники наши мало любят искусство, оно не вошло и к ним в жизнь, и они сами не чувствуют духовной потребности в нем. Что может быть безотраднее обстановка, среди которых живут величайшие наши мастера, что возмутительнее тех речей, которые приходится слышать от них, и на первом месте — той аксиомы, в которую они, как это ни странно, непоколебимо веруют, что живопись и вообще пластическое искусство по самому существу неизмеримо ниже литературы?

Изменив нашу жизнь, нам не привили нового западного искусства, точнее, потребности в нем: оно нам вовсе еще не нужно... Разумеется, Федотов, Репин стали для нас ближе, занятнее, понятнее, нежели Егоров и Лосенко, но все же и они остались какими-то лишними: мы и их не впустили в свою внутреннюю жизнь, мы для них не подумали бы сами измениться, мы и на них смотрели как на мимолетную забаву, как на какую-то иллюстрацию, едва ли нужную, к тем книгам в шкафу, которыми зачитываемся, которые совершенно заполнили всю нашу умственную жизнь, а не как на главное, нужное, необходимое украшение нашего существования и поучение нашего духа.

Русский человек, как и всякий другой, нуждается в образах и формах, и древний русский человек находил удовлетворение этой потребности в своих расписанных палатах, в своих чудесных церквях, в литургии, отчасти даже в иконах, несмотря на всю их застылость; но когда взамен этого родного, взлелеянного из самого сердца, принесли и навязали ему, быть может, и более совершенное по форме, но чужое, то он от своего-то по принуждению отстал, но к новому так и не пристал. Ведь странно: в какой-нибудь простой избе с ее резьбой и полотенцами, в каком-нибудь девичьем наряде есть искусство, хоть и бедное, но вполне подходящее, милое и даже необходимое; простой, бедный мужик прямо нуждается в искусстве, он раскрашивает свои недолговечные барки, свою дугу (и как красиво!), свою посуду — и все это так характерно, сочно, своеобразно, и даже прекрасно, хоть и неумело; а в богатом доме, кроме вздорного, ребяческого, подчас ископленного копирования западного искусства, ничего не встретишь.

Общество не принимало участия в развитии искусства или принимало в крайне слабой степени, а между тем взамен этого нашлось целое всемогущее учреждение, которое, не встречая никакого противодействия со стороны безучастного к искусству общества, взяло на себя вершение судеб русского искусства, на основании самых правильных и патентованных данных, заимствованных из таких же учреждений на Западе. Получилось нечто поистине ужасное: настоящий источник одухотворения



5. «Смена» № 1.

АЛЕКСАНДР СТАХИН. Портрет неизвестного.

искусства — взаимодействие художеств и общества — отсутствовал, а на место его явился какой-то насос, принявшийся накачивать бедное русское искусство всякой схоластикой.

Но старания наших великих мучеников и страдальцев — художников — не пропали даром: главный враг, главная поддержка чужого, лживого и ненужного в наше время уже сражена и более неопасна. Старая академия умерла — на ее месте выросла другая, но уже не страшная, без всякой определенной эстетической программы, академия, попирающая академизм, — существо компромиссное, обещающее когда-нибудь выясниться в нечто определенное и вполне целесообразное. С другой стороны, и нас позже всех, положим, но наконец коснулось великое националистическое движение Запада. Сначала, как и там, явились предтечи-археологи, затем кое-кто из художников попробовал стать русским, а теперь уж почти все художники и все общество чувствуют великую радость оттого, что могут иметь свое русское искусство, по-своему творить и даже по-своему красиво жить, по-своему наслаждаться своими красотами. Но это еще так ново для нас, для общества и художников, что лишь робко и с тревогой мы идем точно по новому, а в сущности, по старому пути.

Бесчисленны ошибки, бесчисленны кружения, многое душа наша позабыла, мы ощупью бродим в светлеющих сумерках. Но как будто всходит заря, и, может быть, не так далеко время, когда мы пойдем друг друга, общество и художники, наконец влюбимся друг в друга, сольемся и создадим тогда нечто органически коренящееся в нас, как в частях великого народного целого, нужное, полное и животворящее, потому что — свое, родное.

II

Принято считать, что Петр Великий познакомил Россию с западным искусством, что при нем были посеяны первые семена художественного понимания в общеевропейском смысле и что уже в его время являются первые всходы новой русской школы живописи. Действительно, Петр с 10-х годов XVIII века, когда существеннейшее в государственном устройении им было уже сделано, стал вместо прежних своих блокаузов строить дворцы на немецкий лад, украшать их плафонами, стеной живописью, картинами; сам он не дичился больше художников, позволял им списывать свою «персону» и, таким образом, способствовал тому, что и у нас укоренился обычай оставлять потомкам свои изображения; наконец, послал нескольких молодых людей, проявивших кое-какие способности, за границу для обучения живописным и другим мастерствам, и даже приблизил одного из них к себе, по возвращении его в Россию, назначив его гофмалером; вероятно также, он привел бы в исполнение свое намерение, вернее проект первого ревнителя художеств Авраамова, основать Академию художеств, если бы смерть не прервала его планов.

Но спрашивается: означают ли все эти факты, что Петр любил и понимал искусство так, как в то время понимали его в Европе, и является ли, в самом деле, он первым сеятелем самостоятельной русской школы? Вернее, что нет.

От Петра ускользнуло то, что в данное время являлось в Европе истинным, живым искусством. Если мы взглянем на художественные школы в Европе в начале XVIII века, то увидим странную картину какого-то душевного бесплодия и уныния. В Англии и Фландрии уже умерли последние преемники Ван Дейков и Тенирсов, на месте их укрепилось, под покровительством чужеземных государей, самое тупоумное и ходульное подражание болонцам; в Голландии доживала кое-как голландская школа, лишь слабо, робко, с каким-то ненужным педантизмом повторявшая заветы стариков, и то не лучших, теснимая сама новейшим классическим движением, которое было порождено злополучным Ван дер Верфом; в Испании — совершенная пустыня; в Италии — бездушные ловкачи, удивительное мастерство и полное отсутствие искусства, в Германии — слабые и смешные потуги угнаться за версальской помпой или жиденькое подражание голландцам. В одной лишь Франции, после того, что тогда лебреновских птенцов вконец уморила французское общество тоской своих драпировочных, жестикулирующих и пестрых картин, снова ожили и выглянули на свет Божий полузамерзшие Музы, стыдливо переодетые в маскарадный наряд, и пошли робко, почти пугливо, следом за своим очаровательным запевалой — Ватто.

Этого-то явления Петр и не заметил; но если бы заметил, то вряд ли был бы способен оценить его как следует, а попробуй он перенести что-либо подобное к себе, наверное, ничего хорошего из этого бы не вышло. То, что так чудно пришлось по вкусу утонченным, усталым французам, с якобы детской беспечностью сбросившим железные фижмы и выбежавшим в широких и мягких халатах из прямолинейных, граненых садов на нежную травку, под тень шуршащих рошиц, то милое, но чуточку старческое ребячество, — не могло прийтись по вкусу полуазиатам, мечтавшим о грубых наслаждениях, о выпивке, о блеске, а вовсе не о таких «невинных» удовольствиях. Только что с громадным трудом их выдрессировали строить огромные палаты, ездить восьмеркой цугом в каретах, носить тяжелые парики, узкие башмаки и неудобные кафтаны, только что они уверовали, что в этом-то и заключается прелесть европейской культуры, а тут вдруг им объявили бы, что все это старо и что можно пойти запросто погулять в лес в халате и полежать на лужайке. Они бы не поверили: Ватто для них ничего не означал. Вся русская жизнь до Екатерины II и во многих отношениях и после нее представляет нам испуганное желание угодить европейским требованиям, не ударить лицом в грязь перед иностранцами. Все, самые даже блестящие, фантазии царей и царедворцев не подымались выше грубо понятого приличия, желания пустить пыль в глаза, перещеголять роскошью любой двор. Никто, разумеется, не понимал, ослепленный за границей мишурой официального блеска, что там, в этом недостижимом Париже, *c'est très recu* — ходить такими расстегнутыми и развязными, как им самим от души хотелось.

Если бы Петр дожид до того, чтоб познакомиться в Голландии

с Тростом или в Англии с Хогартом, то, наверное, его практический, богатый жизненной мудростью ум оценил бы эти *полезные* явления, он, может быть, постарался бы ввести нечто подобное в русскую жизнь, и у нас сотней лет раньше явился бы Федотов. Но Петр не дожид, а, разумеется, чопорной Анне и элегантной Елизавете не могли понравиться какие-то протонародные сценки, начиненные нравственной проповедью или самым грубым, мужицким юмором.

Впрочем, о русском искусстве Петровского времени невозможно ничего сказать, кроме таких общих соображений, так как те сведения, которые имеются у нас о первых русских художниках, до крайности бессодержательны и сбивчивы, достоверных же произведений их почти что нет. Можно только для курьеза отметить, что судьба, сыгравшая вообще чересчур жестокою роль во всем последующем русском искусстве, уже и к первым этим мастерам отнеслась очень сурово. Обоих пенсионеров Петра постигла грустная участь: Матвеев умер, не дожив до сорокалетнего возраста, Никитин в лучшую пору своей жизни был (при Анне) засажен в тюрьму, впоследствии бит кнутом и сослан. Если портрет неизвестного гетмана и портрет Петра I на смертном одре (приписываемый также Дангауеру), в музее Академии, действительно кисти Никитина, то можно только крайне пожалеть о такой печальной участи его, потому что он не уступает в мастерстве их живописи, сочном и густом колорите западным современным живописцам; но приписывание ему этих портретов ничем достоверным не подтверждено. Портрет Матвеева с женой — несомненно, работы этого художника (он завещан в Академию искусств его сыном) — свидетельствует о живом его отношении к делу; это — характерная вещь, врезающаяся в память, слабо нарисованная, но недурная по зеленоватому колориту. Однако этого портрета мало для того, чтоб судить о таланте и значении Матвеева, картины же его в Строгановской коллекции и в Музее Александра III не поднимаются выше самой заурядной академической рутины.

132

Нам известно еще несколько имен русских художников последующего времени: Аргунов, Антропов, Адольский, но из них никто, вплоть до Рокотова, не является для нас ясным; почти все, что приписывается им, на самом деле едва ли их работы, а что достоверно их, то невысокого достоинства. Аргунов был заражен немецкой манерой живописи, писал в белесоватых тонах, с металлическим глянецом, гладко и сухо, но портреты его не лишены исторической прелести. Достоверные портреты Антропова в Синоде и его образа (совершенно испорченные) в Андреевском соборе в Киеве указывают на то; что он действительно мог выучить первого нашего большого мастера Левицкого приемам, как справляться с тканями, мебелью и отчасти даже лицом, но в то же время эти вещи обнаруживают чисто российскую склонность к черноте, к желтому, оливковому тону, вполне объяснимую в художнике, обучавшемся у иконописного мастера. Преемственность старой иконописной школы, таким образом, нашла себе выражение в его творчестве (а через него и во всем последующем развитии русской живописи) далеко не в благополучном

отношении. Кое-что от этой преимственности замечается даже у Левицкого, а пагубное влияние ее на наших столпов Академии — Лосенко, Угрюмова, Шебуева — было тем более могущественно, что они мало изучали светлую природу, будучи слишком заняты подражанием чернявым болонцам и римлянам.

Роль этих первых начинателей, известных и неизвестных поименно, вероятно, сводилась к тому, чтоб кое-как, в скромной степени, помогать иностранцам (также не очень значительным, преимущественно театральным декораторам, бравшимся за всякую всячину) исполнять заказы по расписыванию стен дворцов, по изготовлению девизов и транспарантов для иллюминаций и триумфальных арок, по производству сотнями царских изображений, а в лучших случаях им удавалось писать портреты с вельмож и богатых купцов, которые к художникам относились не лучше, а скорее в сто раз хуже, нежели к поэтам.

От живописи этого времени осталось в церквях много икон, но большинство из них сплошь покрыты драгоценными ризами, а о других судить весьма трудно, вследствие варварского обычая подновлять живопись сплошной перепиской поверх старой. Впрочем, то, что лучше сохранилось (например, в церкви Зимнего Дворца — работы Бельских, в Никольском соборе, в Петербурге, — неизвестного автора), мало представляет утешительного. Разумеется, все эти святые, чуть ли не пудренные, расфранченные, кокетливые ангелы очень подходят к общему впечатлению от всего здания, к игривым изгибам золоченых иконостасов, ко всему трескучему и фееричному блеску вокруг, и было бы ужасно, если бы какие-нибудь вандалы захотели всю эту очаровательную сказочность заменить вопиющей тоской, согласно академическому рецепту, вроде того, что вышло из-под кисти В. П. Верещагина на стенах Киево-Печерской лавры. Однако все же нужно сознаться, что религиозному настроению эта феерия не отвечает даже самым отдаленным образом, совершенно, впрочем, так же, как не отвечают ему и те украшенные ею бальные залы, которые построены волшебником Растрелли.

Не много точных сведений сохранилось и о Рокотове, но художественная оценка его, по имеющимся достоверным произведениям, более возможна. Рокотов открывает собою ряд отличных русских портретистов XVIII и начала XIX века, которыми мы вправе гордиться. Ученик Ротари, он послушно шел за своим учителем, очень добросовестно, очень точно, почти сухо изображая одинаково бесстрастно лица и костюмы своих моделей.

Ротари оставил, кроме подобных портретов, бесчисленное количество минодирующих головок, идеальных пастушков, пейзазов всяких стран, часть которых без меры украшает «Кабинет Мод и Граций» в Большом Петергофском дворце. В этих головках он типичный представитель своего времени, холодного, бездушного, с наклоном к слащавой и плосковатой чувственности, времени, равно далеко отстоящего как от великопленной вакханалии эпохи Регентства, так и от позднейшего нравственного просветления на почве сентиментализма. Мы не знаем наверное, пошел ли Рокотов и тут по стопам своего учителя, но существует указание, весьма для нас ценное, что очень многое

из тех бесчисленных произведений, которые приписываются знаменитому итальянскому художнику, — в сущности, произведения полузабытого русского мастера.

Во всяком случае, то, что с полной достоверностью можно приписать Рокотову, рисует его нам как превосходного портретиста, но притом портретиста скорее средних, ординарных людей. Ни в одном портрете ему не удалось выразить что-либо более высокого порядка, и все его кавалеры и дамы списаны с точностью и безличностью фотографического аппарата.

Особенно знаменит его профильный портрет Екатерины, в Гатчинском дворце, по уверению современников, — наиболее схожий, и действительно вещь эта превосходно исполнена. Чудесный рисунок и живопись в драпировке и теле доказывает, что Рокотов не только был равен по совершенству техники своему учителю, но всматривался с большим вниманием и успехом в волшебное мастерство превосходного итальянского живописца Торелли, переселившегося в конце 50-х годов в Россию и оказавшего также и на живопись Левицкого большое влияние. Однако этот портрет не дает никакой разгадки личности Екатерины и остается далеко позади величественного коронационного ее портрета того же Торелли, где она так значительна, почти страшна, или даже помпезной, льстивой и манерной Фелицы Левицкого.

Как в этом произведении, так и во всех других своих вещах (портретах Петра III, Куракиных, Павла Петровича) Рокотов является вполне добропорядочным родоначальником так называемой истинно русской школы живописи. Он уже носит как бы ливрею того самого, здорового реализма, который впоследствии, и еще очень недавно, считался за главную, неотъемлемую и похвальную принадлежность русских картин, но ни единая тайна русского духа ему не была известна.

Во всяком случае, весьма знаменателен тот факт, что Рокотов вообще мог тогда в России дойти до такого технического совершенства и, что удивительно, иметь род славы в обществе и поддержку, настолько сильную, чтобы быть допущенным до писания портрета государыни. Видно, кое-что во взглядах, в культуре общества переменялось*, еще более переменялось кое-что и в художественном образовании русских мастеров (вне всякой академии), вероятно, благодаря великому наплыву при Елизавете хороших иностранных мастеров вроде Гроота, Ротари, Торелли, Токке, Эриксона и других.

III

Без указанных выше фактов, то есть без некоторого подъема в русском обществе интереса к искусству и, с другой стороны, без соответствующего подъема уровня самого искусства, трудно себе объяснить появление в то время такого изумительного художника, как наш славный Левицкий.

* И это лучше всего видно из того, что Шувалову удалось в 1757 году осуществить свой проект основания в Петербурге Академии художеств.

Однако наряду с этим нечто в жизни самого Левицкого способствовало развитию его таланта, — так, происхождение его из местности и среды бесконечно более культурной, нежели тогдашний Петербург и даже высшие слои петербургского общества. Левицкий был родом из Малороссии и сын весьма образованного священника, большого любителя искусств, не без некоторого успеха занимавшегося живописью и гравированием. С ранних лет он рос среди той полузападной цивилизации, которая проникла еще во времена польского владычества в Киев и там пустила крепкие корни. Воспитывался он в Киевской Духовной Академии, этой русской Сорбонне, которая блестяще расцветала в борьбе с католичеством, так остроумно пользуясь при этом опаснейшими орудиями противников: наукой и образованностью. Киев был призван служить оплотом православия и русского народного духа и в борьбе за них, хотя и заразившись многим чужим, поднялся на такую высоту цивилизации, до которой далеко было Москве и Петербургу, несмотря на весь их внешний блеск и скрытые внутренние силы. Образование, а также дворянское происхождение Левицкого впоследствии открыли ему свободный доступ в высшее общество, что дало ему возможность лучше понимать его и потому вернее отражать в своих произведениях. Получив первые сведения в живописи от отца, он попал еще юношей в ученики к Антропову, приехавшему в Киев для расписывания Андреевского собора, и этот художник нашел в нем настолько выдающиеся способности к живописи, что не задумался взять его по окончании работ в Петербург. Антропов был незначительный художник, но интересный человек, с необычными для того времени взглядами, вероятно вызванными чисто инстинктивными ощущениями. Он сразу возненавидел основанную тогда Академию художеств и наотрез воспротивился отдать своего ученика в это заведение. Мы должны более всего быть благодарны этому обстоятельству, что имеем драгоценного нашего Левицкого, так как иначе, весьма вероятно, в Академии из него вышло бы то же, что из несчастного, вовсе не бездарного, Лосенки, то есть бездушнейший, ординарный академик.

Впрочем, быстро развившись в мастерской Антропова, Левицкий вскоре встал на ноги, начал вести самостоятельную жизнь и тогда поспешил дополнить недостающие ему технические сведения, пользуясь частными уроками у Лагрена и ученого-перспективиста Валерияни. Вследствие знакомства с живописью еще в раннем детстве, охранительного попечения Антропова и дельных, чисто практических советов отличных иностранных техников талант Левицкого развился так свободно, в том самом направлении, которое ему было наиболее свойственно, до изумительной высоты.

Велик уже скачок между туповатой и ремесленной живописью Антроповых и Аргуновых и гибкой и умелой работой Рокотова, между почти что иконописной, черной манерой первых и совершенно итальянским владением красками второго, вероятно, и между положением первых, затертых в толпе иностранцев, и этого придворного живописца, к которому был такой наплыв заказов, что он был принужден по примеру Ван Дейка с натуры

ВЛАДИМИР БОРОВИКОВСКИЙ. Портрет Екатерины II.



ДМИТРИЙ ЛЕВИЦКИЙ. Портрет В. И. и М. А. Митрофановых.



лишь набрасывать лицо, оканчивая остальное на память или с манекенов. Но еще больше скачок от сухого и холодного Рокотова к одному из самых превосходных живописцев всего XVIII века — к Левицкому.

Если мы изучим все музеи и дворцы Европы, пересмотрим все, что было сделано за вторую половину XVIII столетия, и затем взглянем на произведения Левицкого, то принуждены будем сознаться, что в них лучшим, вернейшим образом отразилось это слегка усталое, помешанное на утонченности и в то же время жаждущее простоты время. Если сопоставить его портреты с любым произведением Вивьена, Рослина, госпожи Лебрен, даже с произведениями англичан, то нас сразу поразит одно чрезвычайно значительное обстоятельство: равные тем по техническим достоинствам, они отличаются еще какой-то особенной серьезностью, жесткостью, добросовестной и внимательной правдивостью.

Совершенно бесподобны в этом отношении портреты смолянок в Большом Петергофском дворце и среди них сцена из какой-то, вероятно, приторнейшей пасторали, где ученицы Хованская и Хруцова изображены в виде *Lise et Colin*. Это истинный XVIII век во всем его жеманстве и кокетливой простоте, и, положительно, этот портрет способен произвести такое же сильное, неизгладимое впечатление, как прогулка по Трианону или Павловску. Очаровательная ложь, очаровательная по совершенству и выдержанности своей системы, а может быть, и по отчаянной жажде правды, природы, которая действительно лежала в основании всего этого ломанья и кое-где проглядывала! В Шёнбрунне, в Трианоне и в Гатчине встречаешь немало картин-портретов с аналогичными сюжетами: какие-то детские спектакли, среди театральных садов, вельможи и дамы, не то в маскарадных не то в церемонных нарядах, пасторали, турниры, карусели, в которых участвуют эрцгерцоги, графы и князья. Обыкновенно эти портреты, исполненные неизвестными художниками, полуремесленниками, производят очень сильное впечатление, несмотря на все убожество их техники, по той непосредственности, которая сквозит из них, по необычайно верному отражению вкусов и самых слабостей того времени, чего не встретишь в хороших вещах, «устроенных» по всем правилам искусства. То же и в портретах Левицкого. Они в высшей степени интересны и заняты, но для любования ими совсем не нужно непременно становиться на такую историческую точку зрения; они действуют прямо и просто, сами по себе, всем своим высокоаристократическим изяществом, великолепием живописи, красочной прелестью (какой аккорд, например, розового с белым платья и серого кафтана *travesti* в вышеупомянутом портрете!), а та нотка исторической пикантности, не так уж невольно вложенная Левицким в эти вещи, как теми наивными ремесленниками-художниками, лишь обостряет очарование, очень тонко проглядывая в лукавых и простодушных улыбочках, в остроумном пользовании костюмом, в ужимках, позах, поворотах. От пальчика до башмачка — все исполнено жеманной грации, какого-то яда с еле заметной, тончайшей и уместной подчеркнутостью, вполне понятной в здоровом и веселом малороссе, порядоч-

но-таки издевавшимся в душе над всей этой комедией, но способном в то же время оценить художественную ее прелесть.

Среди современных Левицкому иностранных живописцев Антон Граф и Гейнсборо только и могут поспорить с ним, и если Граф не переспорит, то Гейнсборо уже наверное возьмет верх, так как в нем все есть, что и у Левицкого, плюс явная и несомненная сознательность, постоянное превосходство художника над моделью, взгляд на натуру сверху вниз, не в силу какой-либо ходячей эстетики, но прямо по гениальной природе, тогда как в Левицком взгляд хоть и не робкий, не подобострастный, как у Рокотова, слегка даже насмешливый, но и не с высоты превосходства художника над своим предметом, а «дружественный», простодушно хитроватый. В Левицком отразился современный ему стиль, но не стиль вообще: он стоял вполне на высоте своего времени и общества, но не выше его, и нигде не видно, чтобы он подозревал о возможности таких высот. Гейнсборо сознательно, с явным оттенком грусти, почти гнетущей тоски передал свое болезненное время во всей его болезненности; Левицкий многое, почти все это передал с некоторой инстинктивной иронией, не имея, собственно, душевного отношения к изображаемому. Достоинство Левицкого — объективность по отношению к предмету, как показатель отсутствия манерности, — в то же время, в высшем смысле, и недостаток его, так как почти граничит с поверхностностью, с безучастностью. Он был простодушным, с легким оттенком безвредной хитрости, человеком, но не был глубоким человеком; изображая Дидро, он постарался подчеркнуть в нем «брехуна», но его мало занимал громадный ум философа.

К сожалению, нельзя здесь не отметить очень печального факта, возникшего, вероятно, по милости художественного недомыслия в обществе и неопределенности взглядов на свое дело самого художника. В начале 90-х годов приехал в Россию венский итальянец Лампи, славившийся мягкостью своей кисти и палевым колоритом своих портретов, очень пришедшимися по вкусу напудренным и нежным господам конца XVIII века; в Петербурге он имел колоссальный успех и переписал решительно весь Екатерининский двор шаблонно, лощено, но не без свободного совершенства. Левицкий, по высоте дарования и даже в чисто техническом отношении стоявший гораздо выше его, тем не менее поддался моде, заразился его лощеностью и бледным, холодным колоритом, и позднейшие его портреты если по затее и рисунку не уступают прежним, то из-за своей скучной красочной гаммы остаются далеко позади них.

Боровиковский, подобно Левицкому, происходил из дворянской семьи, родился и жил в Малороссии и получил порядочное образование. Хотя с ранних лет он и выказывал большую склонность к живописи, но, вероятно, согласно предрассудкам своего общества, не решился посвятить себя искусству, а поступил в войско, где и дослужился до чина поручика. Во время путешествия Екатерины на юг России миргородское дворянство поднесло две его аллегорические, совершенно в надутым стиле того времени, картины императрицы, и ей удалось убедить его бро-

сильную военную службу и вполне отдаться живописи. В Петербурге он, к счастью, не попал в Академию, где его выгнали бы без конца повторять те же надутые аллегии, — должно быть, вследствие того, что он был уже слишком великовозрастен; впрочем, его спасло от академического рабства и всеобщее тогда увлечение только что приехавшим Лампи, что побудило и Боровиковского заняться на первых порах исключительно портретной живописью. К Лампи-то он и поступил в ученики, но недолго у него пробыл, так что мог еще застать Левицкого работающим в первой своей манере и под этим драгоценным руководством выработать в себе свободно и в полной свежести свой талант.

Много есть общего между этими двумя нашими первоклассными художниками, но, в сущности, и глубочайшая разница. Вся прелесть Левицкого хорошей эпохи — в отсутствии предвзятой манеры. Не заразившись еще от Лампи, он щеголял тем, что для каждой картины, сообразно с характером предмета, менял и самую свою живопись, и гамму красок. Оттого так непохожи друг на друга лучшие его портреты: Сезамова и Кокоринова, смольнок и певицы Давии, отца его и Саши Ланского. Боровиковский, напротив того, создав раз навсегда свою манеру, от нее уж никогда не отклонялся.

Весьма сомнительно, чтоб портреты Боровиковского были очень похожи; они все слишком похожи между собой, чтобы походить на тех, кого они должны изображать. Все эти господа, дамы, девицы, дети имеют что-то общее, фамильное: те же мешковатые глаза, острый взор, у всех — и даже у самых очаровательных красавиц — слегка одутловатое лицо, болезненная бледность кожи с голубыми тенями, точно они не спали несколько ночей, у всех — тот же мясистый рот и тяжелая нижняя челюсть, то же полутомное, полухитрое выражение, почти тот же костюм.

Лишь изредка Боровиковский отказывался от этих шаблонов, им самим выработанных, и более внимательно вглядывался в натуру. Тогда ему удавалось создавать вещи, которые, положительно, должны быть отнесены к лучшим вообще в истории искусства портретам. Таков изумительный портрет неизвестной придворной дамы в собрании Цветкова, довольно перезрелой особы в прическе *à l'antique*, в платье александровского времени, из серебряного глазета, с чрезвычайно оголенным великолепием груди и красивых еще рук; восточное смуглое лицо ее дышит страстью, и она с каким-то важным и смелым вызовом, полуулыбаясь, устремила свой взор в сторону. Таков еще портрет (в Румянцевском музее) тоже какого-то полувосточного господина в зеленом мундире, у которого такая коварная улыбка в хитрых, темных и глубоких глазах и на толстых губах. Трудно также найти что-либо трогательнее той очаровательной бледенькой и болезненной девочки (в том же музее), которая своими тоненькими ручками обхватила как будто в испуге, с чем-то страдальческим во взоре, свою жирную и гордую мамашу.

Такие исключения, правда, редки, но зато у Боровиковского, в сущности, нет ни одного плохого в чисто живописном смысле портрета (за исключением самых поздних). Его рутина была

чудная рутина, и любое его произведение способно доставлять громадное наслаждение прелестной, им изобретенной гаммой серо-зеленых, белых, тускло-желтых красок, среди которых он с таким неподражаемым вкусом умел положить грязно-желтый тон турецкой шали или нежно-голубой шелкового пояса.

Лучше всякого англичанина разрешал он самые замысловатые, самые невозможные задачи сопоставления красок. Шутя выпутывался он из такой красочной какофонии, какую, вероятно, являлись в натуре красный мундир и через него голубая лента (на портрете графа Васильева): для этого ему достаточно было подчеркнуть серебряный блеск орденов, отвлекающий глаз от монотонного красного сукна, в фоне дать дополнительные зеленые — и как раз в нужных оттенках — цвета, чтобы убийственная для всякого другого тема дала ему случай сделать превосходную, именно по краскам, вещь.

Самая живопись Боровиковского, его кисть, его система накладывать краски, если и не обладали той неуловимой тонкостью и эмалеватостью, которыми в лучший свой период отличался Левицкий, все же были сами по себе великолепны; где нужно, он втирал краску, — и там невозможно уловить его работу, местами щеголял размашистым и гибким письмом, а то сдерживал себя, со вниманием оттенял нежные отливы материи, с фокуснической ловкостью отчеканивал (например, в звездах, бриллиантах) каждый мазок.

Если сравнивать живопись Боровиковского с современной ему иностранной, то можно найти лишь у англичан что-либо равное ей по прелести; мало того: придется отдать предпочтение русскому мастеру, что касается чисто технического совершенства, перед такими художниками, как Рессель и даже Гейнсборо. Но он, подобно Левицкому, уступал последнему именно в разгадке, в одухотворении изображенных лиц или всей своей эпохи. В этом отношении Боровиковский уступал и Левицкому. У того хоть и редко, но сквозит отношение его к тем, кого он изображает, а когда это не сквозит, то по крайней мере отражается, как в хорошем зеркале, то душевное, что явно отпечаталось на лицах тех, кого он писал; Боровиковский же пренебрегал внимательным изучением и этой поверхности, а накладывал на все самим им изготовленную маску. Вся масса его портретов представляется какой-то семьей сладострастников и сладострастниц, обжор, ленивцев, что, правда, до некоторой степени, но с очень грубым и плоским пониманием, рисует его эпоху.

Боровиковский очень ценился любителями как религиозный живописец, и, быть может, его хлыстовские образа представляют кое-какой мистический интерес, но это весьма сомнительно, если судить о них по тем ординарным и слащавым иконам, которыми гордятся некоторые наши соборы.

Вокруг Левицкого, Рокотова и Боровиковского группировалась целая школа портретистов, но о ней мы почти ничего не знаем, и лишь кое-кто известен по имени и по двум-трем произведениям. Однако во многих домах встречаешь хорошие портреты того времени, которые нельзя приписать ни одному из этих трех мастеров и которые все же носят следы их влияния.

Из известных по имени и по произведениям следует отметить Лосенку, Дрожжина, Шебанова, Щукина, Титова, Ивана Аргунова, Саблукова, Михаила Бельского, Яненко и миниатюристов Евреинова и Головачевского. Щукин, ученик Левицкого, по тем крайне немногочисленным произведениям, которые достоверно его работы, представляется стоящим совершенно в стороне. Это был живописец, для которого краски значили все. Разумеется, и Левицкий, и Боровиковский, позднее Венецианов, были также колористами, их глаз ловил нежнейшие оттенки, они тоже любили известные сочетания и умели заставить других полюбить их в своих вещах; но все же для них главным были люди, предметы, которые они писали, а не общее красочное пятно. У Щукина, наоборот, рисунок небрежный, сходство, вероятно, самое суммарное, даже живопись, мазок менее отчетливый и красивый, нежели у тех мастеров, зато каждая его картина очаровательна по красочному эффекту, и притом эффекту совсем не в общем характере того времени, — не белесоватому, серо-зеленому, но, напротив того, желтоватому, огненному, напоминающему старинных мастеров или Рейнолдса, которого он мог видеть во время своего путешествия за границу. Чего-либо подобного этому — если не считать двух работ рано скончавшегося В. Соколова — в исторической живописи, рабски глядевшей на строгую указку Академии, не проявлялось. В портретах Щукина сказана несомненная склонность к «фламандскому», как в рыхлой манере писать, так и в горячих, «вкусных», как бы подпеченных красках.

Вероятно, это был человек крайне неровный и невыдержанный, натура, безмерно увлекающаяся, и, вероятно, благодаря этому он был способен писать рядом с такими шедеврами, как портрет Павла I, такие «кривые» (но все же красивые по краскам) вещи, как свой собственный портрет.

Известны только два портрета Лосенки (если не считать повторений их и маленького эскизика к мужскому портрету в Румянцевском музее), и оба обнаруживают большое сходство с Ротари и Рокотовым: та же строгость, доведенная до сухости, и, так сказать, поверхностная жизненность краски, безразличны, а живопись порядочная, но скучная.

Немного осталось от Дрожжина, ученика Левицкого, но то, что есть, очень интересно. Таковы портреты барона Мальтица, в Академии художеств, очень приятный по колориту портрет, в Третьяковской галерее, и, наконец, чудесный семейный портрет, в Академии, изображающий Антропова с женой и сыном, грешащий в рисунке, но удивительно живой и выразительный. Его темный, с преобладанием зеленого, колорит и несколько тугое, но сосредоточенное письмо, даже, пожалуй, типы и костюмы чрезвычайно напоминают ту дивную и загадочную картину в Третьяковской галерее, под которой стоит, должно быть, ложная подпись «Лосенко 1757» и к которой мы вернемся впоследствии. Не Дрожжин ли автор этой в высшей степени замечательной вещи?

Шебанов был крепостным человеком князя Потемкина, и не этому ли грустному обстоятельству обязаны мы тем, что только



ВЛАДИМИР БОРОВИКОВСКИЙ. Портрет В. И. Арсеньевой.

две вещи его работы дошли до нас; но этих двух вещей достаточно, чтобы пожалеть о других. Его портрет Екатерины, в дорожном костюме, один из самых схожих, прекрасно написан; еще лучше тонкий, обворожительный портрет красавца Дмитриева-Мамонова, известный по гравюре Уокера. Достоверные произведения Титова, Аргунова, М. Бельского и Яненки рисуют их нам как скромных и вполне порядочных мастеров.

Евреиннов и Головачевский славились наряду с лучшими иностранными миниатюристами. Какие из очаровательных миниатюр, в таком изобилии доставшихся от XVIII века, можно приписать без сомнения первому из них — нам неизвестно; единственный портретик Головачевского, в Академии художеств, — удивительно тонкая, нежно сработанная вещь, способная одна оправдать его теперь совершенно забытую славу.

Как характеризует отношение русского общества к родному искусству такая отчаянная скудость сведений о всех этих мастерах! По-видимому, любили портреты, так как заказывали и берегли их, но любили их только как изображения близких людей; редко кому приходило в голову, что эти произведения драгоценны сами по себе и что следовало бы хранить память о творцах их наравне с памятью о других замечательных деятелях.

144
Характерно и то, что лучшее из сделанного за все первое столетие существования русской живописи — исключительно портреты. Развитие даже самых лучших художников препятствовало им браться за другое, а отсутствие серьезного внимания и интереса к искусству в обществе позволяло последнему вполне удовлетворяться пустыми аллегориями заезжих иностранцев и тем случайным доморощенным, что давала Академия. Жизнь могла проникнуть в искусство лишь там, где к ней приглядывались прямо по необходимости. Иконы и плафонные олимпы можно было писать из головы, при помощи реминисценций других картин, будучи академически выдрессированным, но портрет иначе не напишешь, как глядя на натуру. Существует мнение, что русские обладают особенным дарованием к портрету. Это, конечно, не так, но что тогда русские художники только в портрете могли учиться у жизни и в портретах выражать что-либо жизненное — это совершенно понятно, когда подумаешь, в каком духовном рабстве от академий, в какой приниженности перед всем обществом они находились. Все им навязывалось свысока, авторитетно, в виде патентованных за границей аксиом, и не давалось нигде, кроме как в портретной живописи, поработать самим, уйти в себя, поискать собственного художественного руководства в себе и в природе.

Но созревало уже, хотя и медленно, самосознание и среди этих забытых существ; являлись уже какие-то протестанты-Антроповы; кто-то написал ту чудную, искреннюю сценку в Третьяковской галерее; сам профессор Академии Угрюмов, по-видимому, живой человек, недаром поездивший по чужим краям, не гнушался писать портреты (и очень недурные), робко отворял отдушину в препорученной ему тюрьме, допускал свободу и собственную инициативу в молодом поколении. Много среди этого молодого поколения было таких, как Шебуев, Егоров, Андрей Иванов,

которым дела не было до свежего воздуха и которые не пожелали выйти из темных, низких казематов, к которым они так привыкли, что даже вообразили, что полюбили их; но нашелся и такой, которого увлекла его нежная и страстная натура, который выбежал из смрадной темницы, пожелал взглянуть на иное, нежели эстампы с утвержденных классиков, вдохнул в себя крепкий аромат нарождающегося романтизма и вместо гипсового класса пошел в Эрмитаж поучиться жизни и красочной прелести у великих стариков. То был Орест Кипренский.



ПЕТР СОКОЛОВ. Меркурий и Аргус.

П И К В И Д И К В И

Дружелюбного вида господин в аккуратном темно-сером костюме был профессиональным убийцей, но, как и любой мало-мальски уважающий себя хищник-профессионал, носил безукоризненную маскировочную окраску — ни дать ни взять в меру удачливый бизнесмен, чей офис размещается не иначе как в небоскребе — скорее всего манхэттенском, — на одном из последних этажей, недоступных для шума современных городских улиц.

Выглядел он не старше пятидесяти, а попроси вас описать его внешность, вы бы только руками развели — внешность была самая что ни на есть обыкновенная. Даже в его походке, манере разговаривать и других повадках не было ничего настораживающего или подозрительного, так что если вы способны еще кому-либо доверять, то непременно доверились бы этому джентльмену, которому, судя по его облику, не приходилось роптать на свой жребий.

Что и говорить, замаскировался он безупречно, поскольку его камуфляж был на все сто процентов натуральным. Господин этот и впрямь содержал контору, хотя и не на Манхэттене, и в самом деле не жаловался на судьбу. Напротив, Рудольф Лесс полагал, что имеет все основания быть довольным своей жизнью, особенно теми ее периодами, когда он занимался делом, а как раз теперь ему предстояла очередная работенка.

Наверху находился человек, которого Рудольф подрядился убить. По существующим расценкам эта смерть должна принести Рудольфу Лессу ни много ни мало 10 000 зелененьких, уже намеченных им к израсходованию на тайные развлечения, которым он предавался в своем специально оборудованном летнем коттедже на Лонг-Айленде. При мысли об этом он улыбнулся и почувствовал во всех членах легкий трепет предожидания ожидавших его удовольствий. Каких только удивительных штук-чек не вытворяют эти женщины, если их как следует подучить... или заставить, подумалось ему.

Да, дела у него идут как по маслу. Лишь немногие — избранные — знают об истинном характере промысла, которым он занимается. Через этих избранных к его услугам имеют возможность прибегнуть и непосвященные, да как еще прибегают!

Сколько уже раз? Сорок шесть? Или, может, сорок восемь? Теперь трудно сказать наверняка. Он когда-то начал вести

ДАТОР

Рисунок
ЗЛЬМИРЫ АШУРЬБЕКОВОЙ

записи, но вскорости, как это случается в любом бизнесе, таблицы учета до смерти наскучили ему. Да и что проку вспоминать прошлое, куда приятнее думать о будущем.

Бизнес у него ничуть не хуже, чем у других, а Рудольф Лесс — лучший из лучших среди тех, кто промышляет этим занятием. На этот счет двух мнений быть не может (он улыбнулся швейцару — так требовала маскировка, и тот ответил улыбкой). Ему часто приходилось читать в газетах о своей работе. Как правило, полиция либо оставалась в недоумении, либо же арестовывала кого-то другого. Он хмыкнул, вспомнив о троих придурках, которых уже поджарили из-за него на электрическом стуле. Вот уж полетели бы головы у начальства, всплыви вся правда наружу! Впрочем, казненные были всего-навсего дешевой шпаной, и судебная ошибка, допущенная по отношению к ним, фактически обернулась благодеянием для общества, просто-напросто ускорив то, что рано или поздно все равно случилось бы.

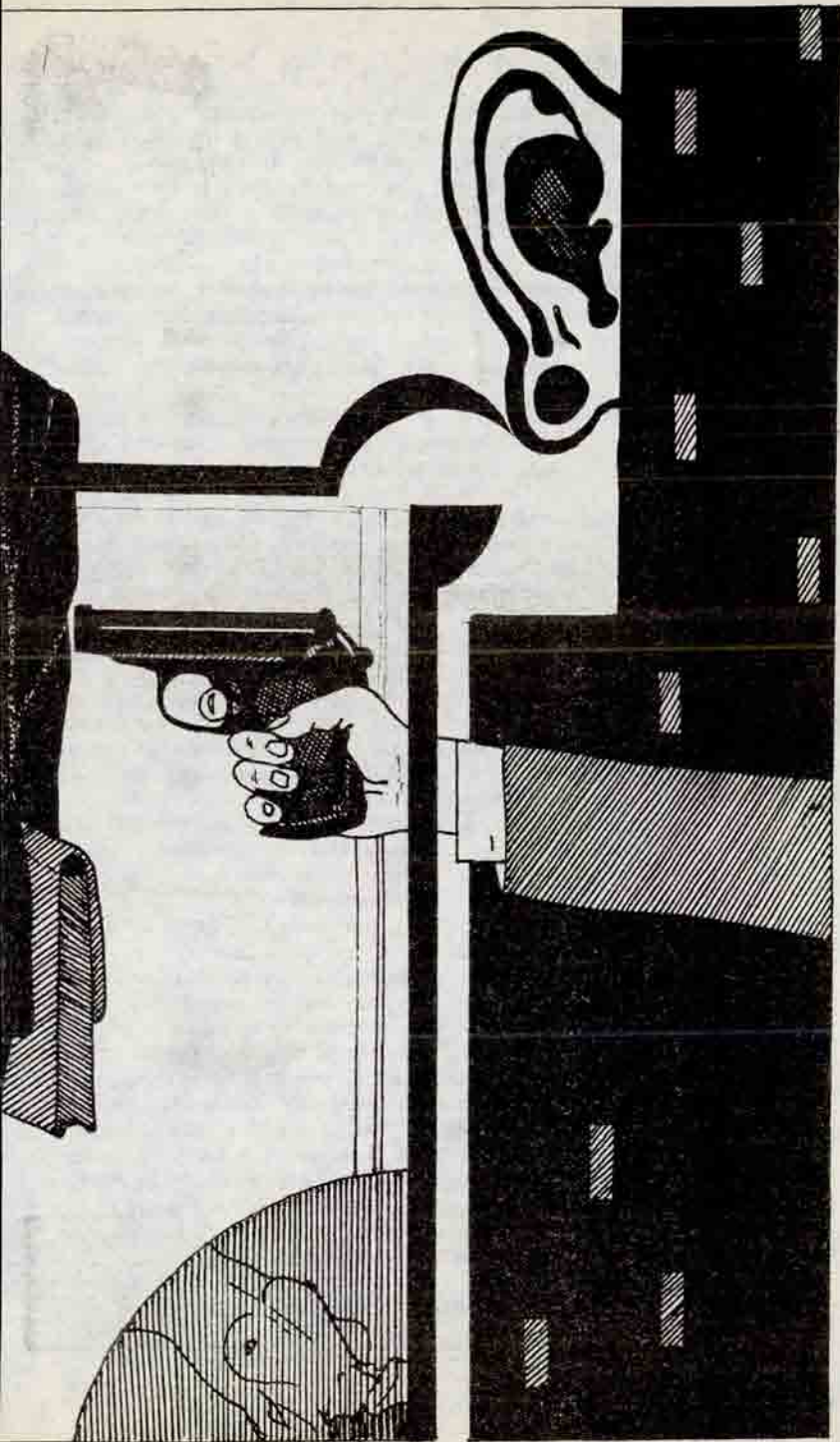
Подобные ошибки, надо сказать, лишь укрепляют его деловую репутацию, что тоже приносит свои дивиденды, и вполне ощутимые. На память ему сразу же пришла Тереса с ее черным телом и еще более черными волосами. Ей нравились его ласки, еще как! Что ж, теперь он вполне может позволить себе новое свидание с нею.

Вот что значит быть лучшим в своей профессии. Почему его нанимают? Да потому, что у него никогда не случалось осечек. Тут на лице Рудольфа промелькнула тень недовольства собой, и он встряхнул головой, как бы отмахиваясь от мысли о чем-то нереальном.

Плохо, конечно, что он сразу же не удостоверился во всем как полагается, но что поделаешь, у него в ту пору не было еще достаточно опыта; слишком быстро он тогда смылся и теперь вот расплачивается за это сомнением. Он снова улыбнулся, хотя и не очень-то уверенно: как-никак ему заплатили, так почему бы не считать, что и в тот раз он сработал без сучка и задоринки?

И все же мысль о том давнишнем дельце не выходила у него из головы, и он из чистого педантизма старался припомнить подробности. То был первый в его жизни заказ, и дельце-то оказалось проще простого. Малый по имени Бадди... Фамилия вроде бы уже и запомнялась, но вот что хорошо запомнилось в его облике: дырка в правом ухе, якобы полученная на войне, —





след от шальной пули калибра 0,45 дюйма. Бадди хапнул 17 косых у казначея шайки из Джерси-Сити. Главари шайки, чтобы не стать всеобщим посмешищем и восстановить свое пошатнувшееся воровское псевдодостоинство, решили убрать Бадди, но, разумеется, так, чтобы на них не пало подозрение.

Выполнить их заказ не представляло особого труда. Бадди оказался на редкость общительным парнем, и, завязав с ним разговор, Рудольф просто подвел его к реке, в последний момент шутки ради сообщив о том, кто он такой и как намерен с ним поступить. Бадди, ошеломленный этим сообщением, раскрыл от неожиданности рот, а сквозь его продырявленное ухо виднелись огни на противоположном берегу. Насладившись своей шуткой, Рудольф выстрелил ему в грудь и проследил за тем, как Бадди падал вниз...

Рудольф не испытывал бы теперь чувства неудовлетворенности, если бы вскорости после этого обнаружили останки Бадди. Но течение реки было довольно стремительным, к тому же надвигалась гроза, да и океан находился совсем неподалеку. Бадди так нигде и не объявился, даже сверток с деньгами в его комнате остался невостребованным. Рудольф облегченно вздохнул и улыбнулся при мысли о том, какой же все-таки безупречный у него послужной список. Можно сказать, внушительный. Еще бы: Большой Том Шили — профсоюзный босс из Детройта, сенатор с Запада, Марко Лепперт — связной у мафии. Он опять хмыкнул. Где только мафия не разыскивала его убийцу! Они даже «замочили» одного за другим каких-то четверых недоумков, каждый раз полагая, что убили именно того, кого им надо было, а на него даже и не подумали. После их четвертой осечки сама же мафия и наняла Рудольфа Лесса избавить организацию от киллеров, не справившихся со своими обязанностями.

Ему вспомнилось, что гонорар за то славное дельце дал ему возможность познакомиться с Джоан. Вот это женщина! Вся из себя крупная, большая. Все у нее такое большое — все без исключения. Вот бы снова повидаться с ней!

На настенный указатель он не посмотрел — этаж и номер помещения ему сообщил клиент, — а сразу шагнул в лифт. Никто не обращал на него внимания. Он учтиво кашлянул от дыма сигары, торчащей во рту соседа, и хотя ничего не сказал, но тотчас подумал: «Как же мне хочется тебя убить!»

Как Лью Смита, стоявшего перед ним в самом конце затемненного зрительного зала. Лью даже не успел ничего почувствовать, как ему в сердце вонзилось шило. Когда он свалился на пол, его просто вынесли в фойе, полагая, что с ним случился обморок, а Рудольф тем временем незаметно покинул помещение театра. От Лью тоже разлило сигарным дымом. После ликвидации Смита он смог купить услуги Франси. Она доводила его до умопомрачения своими дьявольскими плясками, от которых захватывало дух и глаза вылезали из орбит.

От этих воспоминаний он тяжело и учащенно задышал прямо в затылок стоявшей впереди дамы, едва не вынудив ее обернуться.

Как же все-таки приближение очередного денежного расчета

оживляет воображение! А не слишком ли часто последнее время оно увлекает его, заставляет идти у себя на поводу и мысленно пожинать еще не выращенные плоды успеха? Хотя что в этом плохого? Исход операции так или иначе предreshен, а в успехе он привык уже не сомневаться. Успех всегда гарантирован. Именно поэтому за свою в общем-то не слишком уж пыльную работенку он может драть с клиентов чуть ли не втридорога.

Любопытно, что испытывают те из подопечных, которые ненароком получают несколько мгновений отсрочки? О чем они думают в эти мгновения? Задаются ли вопросами, кто он или что они ему сделали? Конечно, попадают и такие, которые прекрасно все понимают. По крайней мере двое, как ему помнится, даже вздохнули с облегчением, осознав, что пришел их конец. Годами они страшатся наступления рокового часа расплаты, но вот этот час приходит, и нечего больше бояться. Все оказывается не таким уж и ужасным. Является к ним среднего роста человек с дружелюбной улыбкой на лице и все устраивает в лучшем виде, почти без боли, поскольку в этом деле он эксперт. Один из них, перед тем как умереть, даже процептал чуть слышно: «Благодарю вас».

Его манера работать тем и хороша, что он никогда не устраивает погонь или шумных театральных эффектов. Когда-нибудь, может, ему и надоеет действовать по старым, отработанным схемам. Вот если бы он сумел заманить жертву в подходящее место, тогда можно было бы даже и поэкспериментировать в духе того, например, чем он занимался с Лулу. У той в жилах текла кровь дикарки. Ей нравилось, когда ее определенным образом истязали...

Рудольф отогнал от себя воспоминания, чтобы взглянуть на указатель этажей над головой лифтера. Кабина остановилась, двери раскрылись.

Шестнадцатый этаж.

Ему вспомнилась шестнадцатая жертва.

Синди Валентайн, танцовщица из кабаре, чересчур много узнала от своего дружка, вскорости убитого, о делах банды, в которой этот дружок состоял. Окружной прокурор взял Синди на заметку как важную свидетельницу для предстоящего расследования. Разумеется, намерение прокурора держалось в секрете, но всемогущие деньги купили и эту тайну, так что Синди навсегда изымалась из обращения.

Синди Валентайн, его жертва номер шестнадцать, явилась для него восхитительным сочетанием приятного с полезным. По правде говоря, именно она показала ему, на что приятнее всего употреблять накопившиеся доллары. До встречи с ней он вел довольно бесцветную жизнь. Для отвода глаз арендовал контору, где с помощью объявлений в определенных журналах занимался продажей — и, надо заметить, с прибылью для себя — всяких побрякушек и новомодных безделушек. Хотя со всеми делами у него справлялся один-единственный служащий, эта контора представлялась Рудольфу символом благополучия, социального статуса, и он ежедневно ездил туда из своего дома, как на работу. Дом у него небольшой, но удобно расположенный. Там он

мог заниматься всем, чего только душа пожелает, а душа Рудольфа не вызывала нескромного любопытства у соседей, которые считали, что живет он неприхотливо и уединенно. Этаким безобидный отшельник.

Да, Синди наполнила его жизнь новым содержанием. Заблаговременно позвонив ей по телефону, Рудольф назвал себя ювелиром, которому поручено показать ей товары с тем, чтобы она выбрала себе подарок. Синди пришла в восторг и хотела тут же выпытать имя щедрого дарителя, однако он объяснил ей, что дал слово молчать, хотя и намекнул, что это один из ее тайных обожателей. Она поверила всему, что он ей наплел, и от радости захлопала в ладоши, когда впустила его в дом и увидела у него под мышкой большой плоский футляр, решив, что это образцы товара.

Она была так возбуждена, что сперва и не заметила, как густо покраснело у него лицо при виде ее. Но уже в гостинной она поняла его состояние и проказливо улыбнулась.

— Раз уж вы пришли не с пустыми руками, я тоже не поскуплюсь. А пока — раздача подарков, — напомнила она, не отрывая взгляда от лежавшего на столе футляра...

Разумеется, он выдал все, что ей причиталось. Сполна и без промедления, почти даже без крови. Затем забрал футляр и вышел из квартиры.

После встречи с Синди его жизнь приобрела другую окраску. Теперь, помимо привычной удовлетворенности от хорошо выполненной работы, у него появился иной стимул в жизни, его манит новая конечная цель. Вот и сегодня вечером его ждет нечто гораздо большее, нежели просто чувство торжества или гордость за безупречно выполненный заказ. Но так ли уж все чисто им было сработано в прошлом? Червь сомнения не переставал беречь его сознание. Если бы только у него была полная уверенность в отношении самого первого его подопечного — малого по имени Бадди, в ухе у которого зияла большая дырка!

Тот, что наверху, всего лишь пополнит список его достижений. Довольно любопытный тип, не похожий на всех предыдущих. Он должен сейчас находиться у себя в офисе и подсчитывать наличные доходы за неделю. Этот офис он снимает через подставных лиц исключительно с целью ведения в нем своей тайной бухгалтерии и приходит туда, загримировавшись и переодевшись до неузнаваемости, поскольку занимается незаконными махинациями, которые искусно скрывает от всех. Лишь после долгих и упорных поисков клиенту Рудольфа Лесса удалось обнаружить местонахождение тайного убежища. Клиенту необходимо держаться как можно дальше от этого места, чтобы иметь железное алиби на момент преступления, так как факт его связи с убитым не будет ни для кого секретом. Отсюда-то и возникла нужда в услугах Рудольфа.

Что же касается второй половины их с клиентом соглашения, то прежде она пришлась бы Рудольфу не по вкусу, но с недавних пор ему все больше и больше нравилось открывать еще неизведанные грани в своей привычной работе, скрапивать ее элементами новизны и разнообразия. Клиент сообщил, что Рудольф,

помимо обычного гонорара, может считать своими все деньги, какие только найдет в офисе. Это же черт знает сколько лишних тысяч! Предостаточно для того, чтобы заполучить, например... Если только ему не наврали про ту кубинку, он мог бы теперь сразу же и вызвать ее к себе. Говорят, она полностью владеет всеми мышцами своего тела. Подумать только! Он судорожно сглотнул и постарался укротить не в меру разыгравшееся воображение. Еще не время. Вот потом, сделав дело и сидя у себя дома, он может в полной мере насладиться предвкушением этих удовольствий, но сперва нужно покончить с делом. Дело прежде всего.

Он вышел на двадцатом этаже вместе с двумя другими пассажирами. Не успели двери лифта закрыться, как откуда ни возьмись к Рудольфу подскочила разбитная на вид девица и, схватив его за рукав, до неприличия громко обратилась к нему:

— Мистер Бэском! Это ведь вы мистер Бэском? Только что позвонили снизу и сказали...

— Я не мистер Бэском, — ответил Рудольф, улыбнувшись ей, а про себя выругался, чего с ним не случалось уже много лет.

Прежде чем двери лифта сомкнулись, он заметил, что лифтер смеется над смущенной и виновато бормочущей извинения девицей. Эта глупая сценка может привести к нежелательным последствиям: лифтер, чего доброго, теперь запомнит его в лицо. Ну и что из этого? Возвращаться сюда Рудольф не собирается, лифтом этим никогда больше не воспользуется, а если вдруг лифтеру или девице придется описать его внешность, кого они обрисуют? Человека, ничем не выделяющегося из толпы обычных людей.

Рудольф остановился и поправил пиджак, хотя в коридоре не было ни души. Он крепче зажал под мышкой кожаную папку и ощутил в ней контур плоского браунинга с глушителем, приобретенного у случайного незнакомца в Германии. Полезная штука — глушители. И почему только ими не пользуются на войне? Не так уж и дороги они, зато как бесшумно и удобно было бы воевать, не сожалея о преимуществах лука со стрелами, этого дотопопного оружия, которое слишком уж громоздко и неудобно в обращении.

Он остановился у двери с надписью «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕДУЩИХ РОЛЕЙ», улыбнулся самому себе и вставил в замочную скважину ключ, которым его снабдил клиент. Дверь открылась без труда, он шагнул внутрь и очутился в небольшой приемной прямо перед освещенным изнутри квадратом матового стекла в двери без замка. Рудольф Лесс опять улыбнулся.

Услышав за дверью чей-то кашель, он удовлетворенно кивнул головой. Кто-то зашаркал ногами, отодвинул стул, затем снял телефонную трубку и набрал номер. Рудольф затаился в ожидании. Входить, пока снята телефонная трубка, нельзя — «подопечный» может позвать на помощь. Если проделать все как следует, труп не обнаружат до тех пор, пока он не начнет смердеть, а до этого пролежит несколько дней. Так что лучше уж немного подождать.

За дверью послышался голос:

— Вы успеете все подготовить до вечера? Ага, ага... Я вам позволю еще... Собираюсь приступить к составлению платежной ведомости... Конечно... Разумеется... Пока.

Раздался щелчок положенной на рычаг трубки, и человек за дверью снова кашлянул.

— Пора, — тихо скомандовал себе Рудольф и открыл дверь кабинета.

Он улыбнулся своему «подопечному».

Увидев направленный на него браунинг с глушителем на конце, «подопечный» озадаченно нахмурился. Это был очень крупный мужчина с широченной грудью и бычьей шеей. На висках седина, весьма прилично одет, с виду вовсе не похож на человека, занимающегося чем-то противозаконным. Внешность, однако, бывает обманчива, не правда ли? Рудольфа, к примеру, никто бы не принял за ликвидатора. Хорошее слово — «ликвидатор».

— Что вам угодно? — спросил мужчина.

Рудольф быстро прикинул — здоровенный детина, ничего не скажешь. Одним выстрелом его, пожалуй, не свалить. Ну что же, тогда две пули в корпус, чтобы не дергался, и одну в голову — для верности. Чем еще глушитель хорош — позволяет слышать, как пули входят в тело. Не очень громкий звук при попадании в живот, зато когда пуля пробивает ребро или череп...

— Я пришел за вашими деньгами. — Слова Рудольфа прозвучали как-то неестественно, даже фальшиво. — Где они?

— В сейфе, где же им еще быть? Но не думайте...

— Если не выложите деньги, я вас убью, — предупредил его Рудольф.

Тон голоса не позволял усомниться в намерениях говорившего. Детина понятливо кивнул, собрался было что-то сказать, но передумал, молча прошел к сейфу и вытащил из него небольшой несгораемый ящик. Разглядев на нем замок с секретом, Рудольф махнул браунингом в сторону стола. О том, чтобы ящик вынести отсюда, нечего было и думать.

— Откройте, — распорядился он.

Детина присел к столу и стал набирать на замке комбинацию цифр. Внезапно в коридоре раздался взрыв смеха, в замочной скважине заскрежетал ключ, отворилась дверь приемной, и снова зазвучал смех. Смеялись две девушки, к их голосам присоединился мужской.

У Рудольфа екнуло сердце, однако он мгновенно взял себя в руки — подобные ситуации были для него не внове. Он засунул руку с пистолетом в свою папку и сел на стул, постаравшись принять непринужденную позу. Дверь приоткрылась, и в кабинет заглянула девушка, которая объявила:

— Мистер Райли, тут пришел ваш друг мистер Бриссон. Не желаете ли...

Девушка повернула голову в сторону Рудольфа и увидела его.

— Ой, — она прыснула в ладошку, — извините, я не знала, что у вас посетитель, чуть было не приняла его за мистера Бриссона.

— Ничего, — ответил ей мистер Райли. — Я скоро освобожусь и выйду к вам.

Девушка снова хихикнула и закрыла дверь. Было слышно, как в приемную заходят люди, потом застрекотали пишущие машинки, двое каких-то мужчин принялись обсуждать предстоящее деловое совещание.

Несмотря на то, что кожа у Рудольфа оставалась на ощупь сухой, он почувствовал запах собственного пота. Может быть, не запах пота, а просто страх? Произошло что-то неладное. Ведь в офисе никто не должен был находиться, кроме одного-единственного человека! Что за черт! И почему он с самого начала не повел это дело по своим правилам, как во всех предыдущих случаях? Зачем нелегкая дернула его доверить кому-то разработку деталей? Однако по лицу Рудольфа Лесса никто бы не смог догадаться, о чем он думает, — на губах его играла в высшей степени благожелательная улыбка.

— Похоже, ты здорово вялнялся, братишка, — негромко произнес детина, открывая крышку денежного ящика.

Внутри, как и предполагалось, лежали деньги — пачки сотенных банкнот, которые Райли принялся выкладывать на стол. Затем он взглянул на своего улыбающегося посетителя.

— По-тихому тебе отсюда ни за что не свалить — кто-нибудь обязательно заглянет ко мне с минуты на минуту. Даже если ты и выберешься из этого здания, тебя запросто потом опознают. Девушки, что сидят за дверью моего кабинета, — профессиональные художницы, им не составит большого труда набросать по свежей памяти твой портрет. Стоит поместить его в газетку, и тебя в два счета заметут.

— Ну, это вряд ли, — возразил ему Рудольф.

— Не в добрый час пришел ты брать мою кассу, кореш.

— Это уж точно. — Рудольф снова улыбнулся, но улыбка исчезла с его лица, когда засмеялся Райли.

— Окажись преимущество на моей стороне, ты бы у меня сейчас имел очень бледный вид.

— Да что вы говорите? — Рудольф опять сверкнул белозубой улыбкой, вынимая из папки руку с браунингом.

— Сам посуди. Ты добываешь где-то ключ от моей конторы, заявляешься сюда как раз в тот день, когда выдается зарплата, причем заявляешься с пистолетом, а это уже называется заранее обдуманном вооруженным налетом. Если я сейчас убью тебя, что мне будет? — Детина пожал плечами. — Ровным счетом ничего. Один день в суде, вот и все — убийство с целью самозащиты.

— Вряд ли у вас это получилось бы, — сказал Рудольф, испытывая какое-то непонятное раздражение.

Операция вытанцовывалась совсем не так, как ему хотелось. Его «подопечный» — хорошее слово, звучит гораздо лучше, чем «жертва», — ведет себя слишком уж агрессивно. Пора закругляться, и как можно скорее. Он быстро проиграл в уме варианты своих последующих действий. Деньги, разумеется, нужно забрать. Выйдя из кабинета, он скажет людям в приемной, что мистер Райли весь день будет занят и просит его не беспокоить. Очень уж не хочется расставаться с домом, в особенности с обстановкой, которую он так тщательно подбирал. Хорошо еще, что жил он там под вымышленным именем, и ничто не помешает

ему снова прибегнуть к этой уловке. К тому же солнечный загар, краска для волос и бакенбарды достаточно изменят его внешность — не такая уж это сложная проблема.

Размышления настолько поглотили его внимание, что обращенные к Рудольфу слова детины он воспринял как ничего не значащее монотонное бормотание.

— ...я очень долго тебя разыскивал. Ты чертовски хитер, что, наверное, тебе и без меня известно. Найти доказательства, необходимые для твоего формального осуждения, практически невозможно, а самому лезть в петлю мне что-то не хотелось. Собственной шкурой расплачиваться за убийство мерзавца, по которому давно уже виселица скучает, — это меня не устраивало. Я тоже хитрый. Пришлось завязать соответствующие знакомства. В конце концов один добрый человек подсобил мне. За очень большую услугу с моей стороны он вывел меня на твой след. Так вот мы с тобой и столкнувались обо всем — ты да я. Ловко, как считаешь?

Детина глубоко вздохнул и, довольный, улыбнулся. Больно уж матер, подумалось Рудольфу. Может случиться, что и двух пуль в корпус не хватит. В браунинге пять патронов, и четыре пули одну за другой придется всадить в грудь, а пятую прибегать для контрольного выстрела в голову. Уж четырех-то попаданий в грудную клетку никому не выдержать, к тому же легкие, вдребезги разбитые сокрушительными ударами пуль, не позволят ему вскрикнуть, единственное, что будет слышно, — это звук падения тела, но из-за шума в приемной никто не обратит внимания.

Между тем казавшееся невразумительным поначалу монотонное бормотание мало-помалу становилось разборчивым и обрело значение. Мозг Рудольфа стал лихорадочно воспроизводить и осмысливать сказанные детинной слова — в них содержалось что-то абсолютно неприемлемое для ликвидатора. Что-то катастрофически ужасное. Улыбка на его лице сделалась какой-то вымученной, и впервые за все время взгляд Рудольфа с крысиной суетливостью заметался по кабинету.

— Это ведь я нанял тебя, чтобы ты меня убил, — продолжал говорить Райли. — Мне было абсолютно неизвестно, кто ты такой или где тебя искать, но в конце концов я додумался, как тебя можно заманить сюда, чтобы ты сдох у меня на глазах, а полиция не взяла бы меня за это в оборот.

— У тебя ничего не получится! — выкрикнул Рудольф.

— Уже получилось, корешок, все уже получилось. Но прежде позволь мне тебя поблагодарить. Видишь ли, я ведь здесь занимаюсь, как ни странно, чистым бизнесом, честно и открыто, так что никаких претензий ко мне со стороны полиции быть не может. Поэтому я как бы героем сделаюсь, порешив тебя. Что ты на это скажешь, а?

Внезапно Рудольфу стало очень холодно — такого жуткого озноба он отроду еще не испытывал. Во рту страшно пересохло, внутренности заколыхались, готовые выскочить наружу. Если бы он перед этим поел, его бы сейчас непременно стошнило. Почему-то вдруг послышались голоса Синди, Лулу, Франси, Джоан, всех остальных теперь недосыгаемо далеких женщин.

Нарочно коверкая слова на кубинский манер, они дразнили его еще не испробованными им плотскими утехами, о которых он так мечтал, а откуда-то, из-за какой-то незримой завесы, доносились испуганный лепет тех женщин, которыми он с помощью уговоров, хитрости или, если нужно, грубого насилия собирался овладеть в своих несбыточных мечтах.

Несбыточных? А вот это мы еще посмотрим! Черта с два, мистер Райли!

— Вы, кажется, забыли, мистер Райли, — произнес Рудольф, наводя на детину браунинг, — что у меня имеется пистолет.

— Да и у меня тоже имеется — в этом вот ящике, кореш. Здоровенная такая дура калибра 0,45 дюйма, на хранение которой, между прочим, я получил разрешение.

Рудольф понимающе кивнул.

— Но как только ты начнешь тянуть к ней свои грабки, я тебя застрелю, — негромко предупредил он детину.

— Лады! — ответил Райли.

Рудольф вскочил на ноги. Да что же он такое мелет? С ума сошел, что ли? Рука Райли потянулась к ящику, и Рудольф нажал спуск. Браунинг в его руке вздрогнул один раз... дважды... трижды... четыре раза. Было видно, как пули поражают грудь в области сердца. Падай же, черт бы тебя побрал! Ну давай же, падай! Какого дьявола ты не падаешь? Ты ведь должен упасть!

Детина успел выгащить из ящика пистолет, когда Рудольф Лесс выпустил последнюю, пятую, пулю и увидел, что она попала в руку, но не в ту, куда следовало бы, — свой пистолет Райли держал в другой.

В придачу он еще улыбался!

Райли взглянул на кровь, брызнувшую у него из раны на руке.

— Так оно даже будет лучше, — заметил он, снова засмеялся и рванул на груди рубашку.

Взору Рудольфа, от неожиданности раскрывшего рот, представили перекрывающие друг друга пластины бронезилета, а Райли навел на него пистолет, целясь прямо в лоб.

Рудольф превратился в дряхлого старика с посеревшим и осунувшимся от страха лицом. Всем его восхитительным удовольствиям пришел конец, все, абсолютно все, пропало, потому что этот вот здоровенный придурок, не сводящий с него пистолета, хитростью загнал его в угол. Должно быть, Рудольф чего-то все-таки не понял, в чем-то допустил промашку. Но в чем?

— За что? — слабым и дрожащим голосом спросил он.

Райли дотронулся рукой до ушной раковины, где косметическим воском была искусно замазана круглая дырка, затем нажал спусковой крючок.

В оглушительном грохоте пистолетного выстрела Рудольфу Лессу удалось прийти в голову, что размер жерла в носу его последней любовницы — огнедышащей дуры калибра 0,45 дюйма — совпадает с размером дырки в ухе детины по фамилии Райли, которого наверняка зовут Бадди.



НАТАЛЬЯ ВЕТЛИЦКАЯ:

«Хочется греть души...»

Наталия Ветлицкая как «звезда» отечественной поп-музыки «зажглась» неожиданно и быстро. Только в новогоднюю ночь 1993 года обворожительная и таинственная незнакомка появлялась в эфире, если верить подсчетам одной газеты, 14 раз! На фестивале видеоклипов «Поколение-93» песня Ветлицкой «Посмотри в глаза» завоевала гран-при, а певице вручили в придачу серебристый «опель».

Слушая нежный, мелодичный голос, любуясь красотой и пластикой певицы, почти никто не узнавал в новой «звезде» ту самую Ветлицкую, которая когда-то была солисткой группы «Мираж», пела в телефильме «Мэри Поппинс, до свидания...».

— Пожалуй, немногие музыканты и исполнители сохраняют верность одному коллективу. Может, в этом есть определенный смысл... С одной стороны, идет профессиональный рост, но с другой, видимо, существуют какие-то «теневые стороны», вынуждающие музыкантов менять группы... Вот и вы, Наташа, работали с «Рондо», затем с «Миражом»...

— «Теневых сторон» хватает в любом творческом коллективе. Это непростая и серьезная проблема. И не мне ее решать. Задача исполнителей несколько иная — честно работать. Думать о творчестве, а не о копании в «грязном белье». Но все же, я считаю, здоровая, нормальная обстановка в коллективе зависит в большей степени от руководителей. Когда-то группа «Мираж» была одной из самых интересных — прекрасная музыка, своеобразные композиции. Выступления, как правило, проходили «живьем», что заста-

вляло нас постоянно быть в форме. Ведь «фанера» не только ослабляет, но в какой-то мере и развращает исполнителя. Иногда доходит до курьезов — на сцене находится один популярный певец, а голос звучит другого, не менее популярного...

Когда я пришла в «Мираж», в группе работали солистки Наталья Гулькина и Светлана Разина. Но вскоре я осталась одна. Приходилось исполнять песни из старого репертуара и, к сожалению, часто под фонограмму, которую мы переписывали дома, подвесив магнитофон к люстре. А это уже неинтересно. Я всегда стремилась петь «живьем», как, кстати, и в «Рондо»...

— Значит, именно поэтому вы покинули «Мираж»?

— Не совсем так. Повторяю, мне всегда нравилась их музыка, и я до сих пор считаю, что на тот момент это был один из лучших коллективов у нас в стране. А ушла я по «состоянию здоровья», так как физически не выдерживала бешеный ритм работы. Но как ни странно даже для меня — только втянулась в этот ритм, тут же объявила о своем уходе. Мне не поверили, посчитав мои слова неуместной шуткой. А я все уже для себя решила. Хотелось разнообразия в репертуаре. Становилось тесно. Захотелось исполнять другие песни, участвовать в концертах независимо от «Миража». Руководители соглашались с моим требованием петь «живьем», но об изменении репертуара не могло быть и речи. Либо только их, либо...

— Многим запомнилась песня «Полгода плохая погода» из «Мэри Поппинс...». Судя по всему, это ваша первая и последняя запись в кино?

— Я не стала бы говорить так

категорично, все еще впереди... Но к сделанной работе серьезно не отношусь, потому как исполнила песни из «Мэри...» совершенно случайно. Просто пришла в студию к мужу Павлу Смеяну, а он попросил меня «подпеть». Вообще в жизни я никогда не строю никаких планов, и у меня все происходит по воле случая. Только любовь к музыке не случайна. Я хорошо ее чувствую, понимаю. В детстве закончила музыкальную школу, очень любила танцевать, даже профессионально занималась балльными танцами.

— Ваши родители имеют отношение к музыке?

— Только мама. Она преподает в музыкальной школе по классу фортепиано. А папа — ученый, занимается ядерной физикой.

— Мне приходилось слушать песни, написанные вами. Поговаривают, что вы пишете и для спектаклей Ленкома. Это действительно так?

— Конечно, нет. Ох уж эти слухи!.. Мои песни к Ленкому не имеют никакого отношения. Когда-то с Павлом Смеяном мы писали для «Утренней почты». Из всего, что я «сочинила», удалось записать только две песни. «Лей, лей» — джаз-роковая вещь, и «Пусть будет» — ее я исполнила в хит-параде в Останкине.

— Наташа, как вы считаете, почему так поздно к вам пришел успех?

— Видимо, потому, что у меня не было ни денег, ни связей. В отличие от некоторых других. И еще: я не шла ни на какие компромиссы, не рвалась исполнять шлягеры — пустые и глупые. Хотя, конечно, не без греха. Была одна песенка «массового пользования» — «Золотые косы». Когда записала свой альбом, он не стал популярным, так как в него были

включены песни, шедшие вразрез «попсе». Тогда на эстраде царили рэп, техно и хип-хоп... И только сейчас настало время для моих песен.

— Вам часто помогали?

— Могу сказать с уверенностью, что все для себя я сделала сама. Никогда ни на кого не полагалась. Меня «не лепили», не протаскивали... Но у меня, как и у каждого из нас, есть друзья, которые, конечно же, помогают и советом, и делом. Я с благодарностью вспоминаю Игоря Матвеевко, чьи советы по поводу аранжировок моих песен очень пригодились, Федю Бондарчука, взявшегося снимать клип к песне «Посмотри в глаза». Когда он позвонил с предложением сделать клип, я ответила, что, увы, нет денег. Но это его не остановило. «Ерунда, найдем или займем, или под залог возьмем». Вообще мне всегда везло на людей: благородных, добрых, бескорыстных. Когда я написала песню «Танцующее поколение», то там надо было прочитать рэп. И сделать это должен был обязательно мужчина. Обратилась к Володе Преснякову, хотя и не была уверена, что он, при своей занятости, согласится. Володя откликнулся, и не только прочел рэп вместе со мной, но спел вокализы и даже сыграл партию «бас» на клавишных.

— Есть ли еще совместные проекты с другими музыкальными группами, исполнителями?

— Идеи всегда есть. Только обстоятельства складываются не в пользу их осуществления. Но, надеюсь, все изменится в лучшую сторону. И время появится, события в стране нормализуются. Хочу с Павлом Жагуном, создавшим группу «Моральный кодекс», сделать один авангардный проект. Но пока об этом рано говорить.

— В чем же все-таки феномен популярности Ветлицкой?..

— Может, в естественности? На сцене всегда искренне выражаю свои эмоции. Мне хочется радовать людей, греть их души. Иных целей я не преследую.

— Зрителей привлекает мягкая женственность вашего сценического имиджа... Кто вам его создал?

— Никто. Если человек не обладает чувством вкуса, красоты, интуиции, никакой стилист не поможет. Другое дело, обращаться за советами к визажистам. А так я все стараюсь делать сама. На Западе, конечно, есть профессиональные стилисты, но, чтобы создать определенный образ, нужно иметь то, из чего можно его сделать. А у нас все так сложно... В выборе сценических костюмов руководствуюсь только интуицией. Часто вспоминаю выражение «голь на выдумку хитра». Из совершенно простых вещей пытаюсь что-то сделать, скомбинировать. Дело не в стоимости костюма, а как его преподнести. И в супердорогом наряде можно выглядеть нелепой...

— Ваши увлечения, пристрастия, самое любимое занятие в свободное время?

— У меня есть собака, которую я обожаю. Вообще люблю животных, природу. В свободный момент пытаюсь вырваться за город. Какой покой, какая красота! Стараюсь насладиться ею, впитать всю эту Божью благодать. Люблю рисовать. Хотя, признаюсь, совсем не умею этого делать. Но упорно рисую. На моих картинах нет людей, зато буйство красок. Так я выражаю свои эмоции, настроения. Моя тайная мечта — организовать выставку картин.

— А кто же занимается домашним хозяйством?

— Разумеется, я люблю в доме чистоту и порядок. Но заниматься хозяйством — выше моих сил. Ненавижу быт. Это меня отвлекает, вытягивает массу энергии. Иногда на меня «находит стих» и что-нибудь приготовлю вкусненькое. Но предпочитаю рестораны. Хотя и дорого, но денег не жалею — проще заплатить за хороший ужин, чем самой стоять у плиты полдня. Я умею вязать и шить — пиджаки, брюки, юбки. Хотя никто меня этому не обучал. А еще могу и кран починить...

— Неделю назад, когда я предложил вам поговорить о вашем творчестве, вы мне ответили: «У меня нет никакого творчества».

— Видимо, тогда у меня было скверное настроение. Я, как, наверное, и все творческие люди, часто подвержена унынию, разочарованию, депрессии...

**Беседу вел
ВАЛЕРИЙ БАТУЕВ.**



ГЕРБАЛАЙФ

■ Американский продукт питания поможет Вам похудеть (до 15 кг за месяц) без голодания, помолодеть, обрести бодрость и работоспособность, восстановиться после инфаркта или инсультов, облегчить страдания при остеохондрозе, псориазе.

■ Об эффективности ГЕРБАЛАЙФА читайте в «СМЕНЕ» № 11-93, стр. 107. Объявление — талон на льготную покупку. Инвалидам и пенсионерам — скидка 10%. Приглашаем распространителей.

(095) 245-59-56, 245-40-72.

ДМИТРИЙ КОРСАКОВ

ФАВОР

И

ПЕЖА

Рисунок ГЕННАДИЯ НОВОЖИЛОВА



PETER II





Место, занимаемое князем Иваном Долгоруким в русской истории первой половины XVIII века, само по себе, быть может, и не столь значительно, но личность и судьба этого человека с удивительной точностью отражают время и среду, в которые ему довелось жить.

Об этом — очерк известного, но ныне несправедливо забытого русского историка Дмитрия Александровича Корсакова (1843—1919 гг.).

С 1723 года, будучи пятнадцатилетним юношей, князь Иван жил в Петербурге, при отце, Алексее Григорьевиче Долгоруком, занимавшем тогда должность президента главного магистрата. При восшествии на престол Екатерины I князь Иван был назначен гофюнкером к великому князю Петру Алексеевичу, сыну казненного царевича Алексея. Петр был в то время «забыт и неизвестен», никто не обращал на него внимания, а Иван Алексеевич, поняв тогдашние придворные «конъюнктуры», сообразил, что преемником Екатерины будет не кто иной, как Петр Алексеевич, и «рассудил сыскать его к себе милость и уверенность». Князь Щербатов передает следующий анекдот по этому поводу: «В единый день, нашед его (великого князя Петра) единого, Иван Долгорукий пал перед ним на колени, изъясняя всю привязанность, какую весь род его к деду его, Петру Великому, имел и к его крови; изъяснил ему, что он по крови, по рождению, по полу почитает его законным наследником Российского престола, прося, да уверится в его усердии и преданности к нему». С этого дня начинается дружба его с великим князем, а вместе с тем и фавор всей фамилии Долгоруких.

Петр, в то время десятилетний ребенок, впечатлительный и привязчивый, очень естественно мог полюбить ловкого, словоохотливого семнадцатилетнего красавца гофюнкера. Меншиков, зорко следивший за Петром, конечно, не мог равнодушно переносить фавора Ивана Алексеевича. Запутанный Ижорским князем в дело Девьера, молодой гофюнкер был отправлен поручиком в один из армейских полков. Такого оскорбления никогда не мог простить «выскачке пирожнику» надменный Долгорукий, и в этом удалении следует искать начала немилости, а затем и падения Меншикова.

С воцарением Петра II Иван Алексеевич снова является при дворе и сразу затеняет своим значением будущего императорского тестя. Он совершенно овладевает сердцем и умом юного императора. Петра II забавляют разные выдумки его весельчака-любимца: то бал, то охота, то *partie de plaisir* за городом с иллюминацией, бенгальскими огнями и фейерверком. Постоянно в обществе своей красавицы тетки, Елизаветы Петровны, и кокетливой сестры князя Ивана, Екатерины Долгорукой, окруженный целой толпой молодых придворных дам и фрейлин — двенадцатилетний Петр II невольно начинает предаваться мечтаниям эротического свойства... Мария Меншикова, его невеста, гораздо старше его и некрасивая лицом, мало-помалу делается ему противна.

Но не одними забавами привязывал к себе императора Долгорукий. Он напоминал Петру о необходимости продолжать занятия науками и внушал ему милосердие и сострадание. Сохранилось, между прочим, следующее предание. Однажды, стоя за креслами императора и видя, как ему поднесли к подписанию смертный приговор, князь Иван укусил государя за ухо и на вопрос его: «Что это значит?» — отвечал: «Прежде чем подписывать бумагу, надо вспомнить, каково будет несчастному, когда ему станут рубить голову!» «Расположение царя к князю Ивану таково, — пишет испанский посол де Лириа, — что царь не может без него ни минуты. Когда на днях его ушибла лошадь и он должен был лечь в постель, его величество спал в его комнате».

Результаты сближения императора с гофюнкером скоро дают себя знать. В сентябре 1728 года Меншиков, а с ним и его дочь, невеста императора, ссылаются в Ранненбург, а оттуда в Березов. Девятнадцатилетний Иван Алексеевич Долгорукий делается обер-камергером, майором гвардии и затем кавалером сразу двух орденов: Александра Невского и Андрея Первозванного. Фавор полный. Молодой любимец царя становится проводником честолюбивых замыслов своих родичей Долгоруких: родного дяди Сергея Григорьевича и двоюродного Василия Лукича. У самого обер-камергера нет никаких честолюбивых планов в голове, нет никаких «конъюнктур». Он живет жизнью двадцатилетнего юноши, смотрящего через розовые очки на мир Божий, не мудрствуя лукаво, не думая о завтрашнем дне, мало обращая внимания на калейдоскоп придворных перемен того времени; а перемены эти были часты и эфемерны.

Двор императорский со времени удаления князя Меншикова был как бы ристалищем, на коем бойцы испытывали свои силы, и сделался потом местом сокровенных нападений и открытого боя соперников, препиравшихся о власти, а князь Иван, по личным к нему отношениям ребенка-императора, был сила, к которой прибегали не одни только его родичи, но и сторонние люди и притом, что называется, люди с весом. Гофмейстер императора Остерман заискивал в Иване Долгорукове, его друзья искали иностранные дипломаты. При Петре II все иностранцы в России вообще очень струсили. Возвышение при дворе и в государстве русских людей и долгое пребывание императора в Москве после коронации — в особенности последнее — их очень смущали и беспокоили. Они воображали, что Россия стоит на повороте к прежнему варварству, что на пути «от бытия», к которому вызвал ее Петр Великий, снова к «небытию», то есть к замкнутости Московского царства. «Великие замыслы Петра I, — взывали иностранные дипломатические агенты при русском дворе, — в скором времени будут приведены к нулю». Они близоруко воображали, что реформа Петра Великого есть его прихоть и что «бытие» России обуславливается преобладанием «немцев, перешедших наш порог». В одном они были правы. В Москве Петр II повел не по летам рассеянную жизнь.

С переездом двора в Москву в 1728 году «потехи» Петра II окончательно взяли верх над учеными и серьезными занятиями. Ребенок-император предался всецело увеселениям и в особенно-

сти охоте. Но на этот раз виновником рассеянной его жизни был уже не Иван Алексеевич, а отец фаворита, Алексей Григорьевич Долгорукий, второй после Остермана гофмейстер Петра II, человек без образования, без способностей, но гордый и тщеславный. Он завидовал фавору сына и желал подставить на его место другого. Этот другой скоро нашелся в лице красивого камергера цесаревны Елизаветы Петровны, Бутурлина, родственника Голицыных. Петр стал оказывать Бутурлину предпочтение пред Иваном Долгоруким, но это предпочтение было далеко не по сердцу Алексею Григорьевичу, через Бутурлина император поддадал влиянию Елизаветы Петровны и Голицыных, чего менее всего желал Алексей Долгорукий. Тайным намерением его было обвенчать Петра II со своею дочерью, княжною Екатериною. Он увозил Петра II на целые недели в свою подмосковную деревню Горенки, для того, чтобы отдалить его, как от цесаревны Елизаветы, так и от сына, и сблизить, напротив, со своею дочерью Екатериной. «Бедный молодой человек, — пишет испанский посол де Лириа о князе Иване, — в таком отчаянии, что желает, чтобы царь перестал его любить и удалил его от себя». Де Лириа, бывший с князем Иваном в близких отношениях, обращал его внимание на охлаждение к нему императора, но тот всегда отвечал ему, что он не ездит за город с государем просто потому, что не хочет быть свидетелем глупостей, которые заставляют его делать, и таких наглостей, с которыми относятся к царю его сопровождающие.

С отчаянием, в досаде на отца и на сестру Екатерину, с которой он был не в хороших отношениях, князь Иван, оставаясь один в Москве, предавался неумеренному кутежу. Образ жизни его выводил из себя даже его друзей.

Враги князя Ивана (а у него их было немало) с большой резкостью отзываются о его наслаждениях и удовольствиях.

Феофан Прокопович, питавший ненависть ко всем Долгоруким, утверждал, что Иван Алексеевич «на лошадях, окружен драгунами, часто по всему городу, необычным стремлением, как бы изумленный, скакал по ночам, в честные дома вскакивал — гость досадный и страшный».

Князь Щербатов рассказывает подробно о любовных похождениях князя Ивана и, между прочим, о его открытой связи с женой князя Никиты Юрьевича Трубецкого, княгиней Настасьей Гавриловной, рожденной Головкиной (дочерью канцлера). «Князь Иван, — говорит князь Щербатов, — не только без всякой закрытости с ней жил, но при частых съездах у князя Трубецкого с другими своими младыми сообщниками пивал до крайности, бивал и ругивал мужа, бывшего тогда офицером кавалергардов, имевшего чин генерал-майора и с терпением стыд свой от своей жены сносящего. И мне самому случилось слышать, что единожды, быв в доме сего князя Трубецкого, по исполнении многих над ним ругательств, хотел наконец его выкинуть в окошко и если бы Степан Васильевич Лопухин, бывший тогда камерюнкером у двора и в числе любимцев князя Долгорукого, сему не воспрепятствовал, то бы сие исполнено было»... «Окружающие однородцы и другие младые люди, самым распутством дружбу

его приобретшие, — продолжает князь Щербатов, — примеру его подражали, и можно сказать, что честь женская не менее была в безопасности тогда в России, как от турков во взятом граде».

Разгульный образ жизни надоел князю Ивану. Добрая сторона его природы проснулась в нем, и он решился остепениться. Лучшее средство для этого, по воззрению наших предков, была женитьба: «женится — переменится», — говорит русская пословица; и вот князь Иван начинает мечтать о семейной жизни. Его родственники, в особенности мать, по всей вероятности, склоняли его также к этому. Жених он был очень выгодный. Его положение при дворе, его близость к императору, а главное, ожидаемая всеми не нынче, завтра помолвка Петра II с его сестрою Екатериною* — заставляли многие знатные семейства искать случая породниться с ним. Носились даже слухи, что он хотел жениться на цесаревне Елизавете, но получил отказ. Елизавета Петровна сочла брак с ним не равным для себя союзом, да и, кроме того, сердце ее в то время не было свободно. Он влюбился в дочь Миниха, но на этот брак не согласился его отец, ненавидевший немцев. Думал было князь Иван жениться на графине Ягужинской, дочери известного Павла Ивановича, одного из наперсников Петра Великого, но и этот брак его расстроил. Помешал опять отец. Алексей Григорьевич считал не парой для своего сына дочь худородного поляка. У Ягужинского произошла с ним из-за этого ссора, и Павел Иванович стал непримиримым врагом Долгоруких.

Наконец князь Иван сделал предложение дочери умершего фельдмаршала графа Бориса Петровича Шереметева, Наталье Борисовне. Предложение это было принято с радостью как его родными, так и родными невесты. Партия, которую делала пятнадцатилетняя сирота графиня, красавица и девушка очень богатая, считалась в то время идеально-завидною как для невесты, так и для жениха. Но пусть лучше расскажет нам об этом сама Наталья Борисовна, задушевно простым языком своих записок:

«Думала, я первая счастливица в свете, — пишет Наталья Борисовна, — потому что первая персона в нашем государстве был мой жених. При всех природных достоинствах имел знатные чины при дворе и в гвардии. Я признаюсь вам в том, что я почитала за великое благополучие, видя его к себе благосклонным. Напротив того, я ему ответствовала, любила его очень, хотя и никакого знакомства прежде не имела, нежели он мне женихом стал; но истинная и чистосердечная его любовь ко мне на то склонила. Правда, что сперва это очень громко было; все кричали: ах! как она счастлива! Моим ушам не противно было это эхо слышать, я не знала, что это счастье мною понграт: показало

* Вот что пишет потомок Долгоруких — известный историк и публицист Петр Владимирович Долгоруков: «Во время последней охоты Петра II, длившейся около двух месяцев, местом отдыха охотников служили Горенки (...) Как-то в сентябре, в одну из таких поездок, после веселого ужина, за которым было много выпито, государя оставили с княжной наедине... Петр II был рыцарь и решил жениться...»

мне только, чтоб я узнала, как люди живут в счастье, которых Бог благословит. Однако я тогда ничего не разумела, молодость лет не допускала ни о чем предбудущем рассуждать; а радовалась тем, видя себя в таком благополучии цветущею. Казалось, ни в чем нет недостатку; милый человек в глазах, в рассуждении том, что этот союз любви будет до смерти неразрывный, а притом природные чести, богатство, от всех людей почтение: всякий ищет милости, рекомендуется под мою протекцию. Подумайте, будучи девке в пятнадцать лет так обрадованной. Я не иное что воображала, как вся сфера небесная для меня переменилась».

Иван Алексеевич серьезно и глубоко полюбил эту прекрасную девушку, и эта любовь служит лучшим меридом его собственной души: в ней выразилось все лучшее в его природе.

30 ноября 1729 года произошло торжественное обручение Петра II с Екатериною Алексеевною Долгорукою, а вскоре после этого, в Рождественский сочельник, состоялось тоже очень торжественное обручение брата императорской невесты, обер-камергера Ивана Долгорукого с Натальей Борисовною Шереметевой; состоялось оно в Москве, в доме Шереметевых, на Воздвиженке, в присутствии императора, всего двора и иностранных послов. Невеста получила громадное количество драгоценных подарков от Долгоруких. «Мои руки не могли всего забрать, когда бы мне не помогали принимать», — пишет Наталья Борисовна. Вся Воздвиженка была запружена толпой народа, из которой слышны были радостные возгласы: «Слава Богу, — говорили голоса, — что отца нашего дочь идет замуж за великого человека, восставит род свой и возведет братьев своих на степень отцову!» Фельдмаршал Борис Петрович был очень любим народом.

1730 год начался очень несчастливо для Долгоруких и для юного императора, но никто не предвидел того, что свершилось так неожиданно скоро. 6 января, в крещенье, Петр II простудился, и болезнь его стала развиваться с каждым днем все более и более. Надежды на его выздоровление не было. Тогда-то Долгорукие — Григорьевичи, отец обер-камергера с братьями, и Василий Лукич Долгорукий — придумали составить подложное завещание от имени Петра II о назначении преемницей престола государыни-невесты Екатерины Алексеевны. Иван Алексеевич мало принимал участия в этом деле. Замысел о духовном завещании принадлежит Алексею Григорьевичу Долгорукому, отцу князя Ивана, а главные авторы его были: Василий Лукич и Сергей Григорьевич.

На совещании Долгоруких о духовной в Головинском дворце у князя Григория Алексеевича, 17 января, составлено было два экземпляра духовной: один экземпляр предполагалось поднести к подписанию умирающего императора, а другой экземпляр на случай, если император не будет иметь возможности подписать, должен был подписать кто-нибудь из Долгоруких. Подписал Иван Алексеевич, которому рука Петра II была хорошо известна.

— Я умею под руку государеву подписываться, — говорил Иван Алексеевич, — понеже я с государем, издеваясь (то есть

забавляясь, шала), писал и можно мне ту духовную подписать.

Когда оба экземпляра духовной были написаны, Иван Алексеевич подписал один из них. Этим ограничилось все его участие в замысле его родичей. Он был совершенно чужд не только дальнейшим планам своего отца и дядей относительно подложной духовной Петра II, но и самому замыслу об объявлении своей сестры наследницею престола.

Иван Алексеевич был неотлучно при умирающем императоре. Авторы духовной отдали ему оба экземпляра, прося найти случай, чтоб Петр II подписал один из них, но он не нашел такого случая за тяжкою болезнью императора. Очень может быть, что Иван Алексеевич просто не хотел найти этого случая, считая невозможным возвести на престол свою сестру. Подписав духовную, необдуманно и, по собственному признанию, не читая, Иван Алексеевич вовремя спохватился и не дал ей дальнейшего хода.

Присутствуя на совещании своих родичей 17 января и выслушав длинные рассуждения pro и contra о провозглашении императрицею княжны Екатерины, Иван Алексеевич, как видно, пришел к выводам отрицательным на этот счет. Кроме того, личные к нему отношения княжны Екатерины и отца не могли заставить его особенно пленяться мыслию видеть сестру на русском престоле.

Долгорукие, кроме подписи духовной, имели еще следующие планы относительно провозглашения императрицей княжны Екатерины. Они хотели: во-первых, чтобы волю свою, выраженную в духовной, Петр II заявил лично министрам верховного тайного совета, призвав их к себе, и, во-вторых, чтобы по кончине императора объявить духовную в народе. Эти планы были вовсе даже неизвестны Ивану Алексеевичу. Он держал у себя оба экземпляра духовной до 20 января, то есть до того дня, когда уже избрание на престол Анны Иоанновны, герцогини Курляндской, стало свершившимся фактом. 20 января Иван Алексеевич отдал духовные отцу и тот их сжег.

9 января, в первом часу ночи четырнадцатилетний Петр II скончался; царствование его продолжалось два года и восемь месяцев. С его смертью пресекалось мужское поколение дома Романовых.

Верховный совет собрался в экстренное заседание для решения вопроса первой важности: кому быть государем на Руси? Вопрос этот не стоял на очереди с 1613 года. Отец Ивана Алексеевича, князь Алексей Григорьевич Долгорукий, попробовал было завести речь о своей дочери, но ему почти не дали говорить. По инициативе князя Дмитрия Михайловича Голицына, поддержанного князем Василием Лукичем Долгоруким, главой Российского государства была избрана Курляндская герцогиня Анна Иоанновна, причем самодержавная власть была ограничена известными «пунктами». Вслед за тем началась знаменательная в русской истории борьба «верховников» с «шляхетством» по вопросам о государственном строе земли Русской. У шляхетства (так называлось в то время дворянство) начались

совещания, стали открыто съезжаться и сходиться на большие сборища в домах князя Черкасского, князя Барятинского и других. Верховники также совещались — но тайно.

Московское общество было сильно возбуждено, как давно не припомнят старожилы. «Шляхетские» кружки волновались теперь, быть может, столь же сильно, как волновались московские «начетчики» конца XVII века, в годину стрелецких и раскольничьих смут.

Иван Алексеевич не участвовал в этих совещаниях. Он был совершенно чужд тогдашнему политическому движению. Он предавался искренно постигнутому его горю, горячо оплакивая преждевременную кончину своего юного друга-государя. Угрызения совести за «потехи» с императором мучили его. Его волновало будущее... Что-то будет с воцарением Анны Иоанновны? Как отнесется новое правительство к нему и к его родичам?.. Его смущало духовное завещание. Князь Иван находил утешение своей душевной скорби в любвеобильном сердце своей невесты и в беседах испанского посла де Лириа. Но, конечно, самая мрачная фантазия не могла подсказать той лютой судьбы, которая в недалеком будущем ожидала князя Ивана и всю его семью.

11 февраля совершились похороны Петра II, и с опущением в могилу трупа юного императора померкла звезда его фаворита.

Анна Иоанновна уже торжественно въехала в Москву, не менее торжественно уже разодрала «пункты» верховного тайного совета: самодержавие было восстановлено. Все с нетерпением ожидали приближающейся коронации императрицы, к которой делались пышные приготовления. По-видимому, гроза пронеслась над головою Долгоруких, не задев их — но это было только по-видимому.

Гроза подобралась к Долгоруким втихомолку, неожиданно-негданно. 8 апреля появился указ сенату с следующим неопределенным началом: «Известны мы, что в некоторых губерниях губернаторов нет: того ради...» назначались губернаторами следующие Долгорукие: князь Василий Лукич в Сибирь, князь Михаил Владимирович в Астрахань, князь Иван Григорьевич в Вологду — воеводою.

На другой день, 9 апреля, появились два кратких указа. Первым — назначался воеводою, даже без указания, куда именно, другой брат князя Алексея Григорьевича, князь Александр Григорьевич Долгорукий. Город для его воеводства предоставлялось определить сенату. Вторым указом ссылались в дальние деревни их: отец князя Ивана, Алексей Григорьевич, со всеми его детьми, следовательно, и Иван Алексеевич, и дядя его, князь Сергей Григорьевич с семьей.

В тот же день всех Долгоруких допрашивали о «завещательном письме Петра II». Иван Алексеевич, под угрозой «объявить самую истинную правду под смертною казнию», собственноручно написал: «ни о какой духовной или завещательном письме или проектах (оного) никогда ни от кого не слышал и у самого не бывало». В данном случае запретиться было единственным средством спасти себя.

В самый разгар злосчастных для Долгоруких дней несчастья

посыпались и на невесту князя Ивана Наталью Борисовну: 23 февраля 1730 года умерла бабушка ее, старший брат Петр Борисович Шереметев лежал больной в оспе, меньший, Сергей, жил отдельно от сестры. Молоденькая невеста была совершенно предоставлена себе. Вся ее родня, так еще недавно восхищавшаяся предстоящею ей партией, стала ее теперь отговаривать от брака с человеком, над которым уже носился злой демон опалы, но влюбленная девушка слушать ничего не хотела. Она вступала в большую семью, кроме того, в семью не дружную, сварливую. Наталья Борисовна видела во всем этом определение судьбы и волю Божию. Она торопилась со свадьбой. «Сам Бог меня давал замуж, больше никто», — трогательно замечает она в своих записках. Наконец свадьба была совершена в начале апреля в знаменитом селе Горенках, подмосковной князя Алексея Григорьевича, где еще так недавно любил подолгу проживать юный император. Самое название села — Горенки — как бы предвещало ту горемычную будущность, которая открывалась теперь перед новобрачными. Никто из Шереметевых не присутствовал на свадьбе. Свадебный поезд невесты состоял только из одной кареты, в которой сидела Наталья Борисовна и две старушки, дальние ее родственницы.

Три дня прожили молодые в Горенках. На третий день они собрались делать визиты родственникам Ивана Алексеевича, но вместо визитов явился сенатский секретарь и объявил грозный указ, которым Алексей Григорьевич Долгорукий отправлялся в ссылку со всею семьею.

Здесь начинается горемычная доля экс-фаворита, доля, в которой играет такую видную роль молоденькая шестнадцатилетняя княгиня Долгорукая.

15 мая приехал туда гвардии капитан Петр Воейков и отобрал у князя Алексея Григорьевича и сына его Ивана «кавалерии», а у последнего, кроме того, еще и камергерский ключ. 12 июня последовал новый указ — о ссылке князя Алексея с семьей в Березов, под крепким караулом. Все вотчины и движимое его имущество были описаны и над ними учреждено особое управление от канцелярии конфискации. Долгоруким дозволялось взять с собою только пятнадцать человек прислуги: десять человек мужчин и пять женщин («на каждую их женскую персону по одной»). Приставом к Долгоруким, для сопровождения их до Тобольска, назначен гвардии капитан-поручик Макшеев с отрядом из двадцати четырех солдат при одном сержанте и одном капрале. Макшеев получил строгую инструкцию о присмотре за арестантами. Между прочим, инструкция предписывала «смотреть накрепко, чтоб никто к ним, Долгоруким, нарочно откуда-либо приезжие или едучие по пути на встрече, не приходили и водиться с ними отнюдь не допускать».

Третьего августа в пути Долгоруких нагнал прапорщик Никита Любовников — для описи бывших с ними денег и пожитков. 24 августа Долгорукие прибыли в Тобольск и в тот же день, под надзором капитана Петра Шарыгина с командою в двадцать четыре человека, отправлены в Березов.

В конце сентября 1730 года прибыли разжалованные и уни-

женные временщики в пустынный и ледяной Березов, где еще застали семью свергнутого ими князя Меншикова.

Долгорукие были заперты в острог, с запрещением выходить из него. Они могли посещать только церковь. Бумаги, чернил и книг им не велено было давать. Они получали кормовых по одному рублю в сутки, прислуга их столько же.

Жили Долгорукие постоянно в ссорах и пререканиях друг с другом. Ссоры начались вскоре по прибытии их в Березов; как видно, главными заводчиками этих ссор были Алексей Григорьевич и развенчанная государыня-невеста. Гордая и надменная, она не могла переносить своего унижения. Алексей Григорьевич стал еще нестерпимее и придирчивее к князю Ивану. Он преследовал его постоянно упреками в том, что тот виновник всех их бед, так как он не хотел дать умиравшему Петру II подписать духовную...

Первое время ссылки князя Ивана мучили угрызения совести: его добрая натура сказывалась. В 1733 году он говел великим постом и на духу признался священнику Рождественской церкви, что он мучается тем, что подписал духовную Петра II под руку государя. «Бог простит», — отвечал священник.

В 1734 году умер Алексей Григорьевич. Главой семьи остался князь Иван, и вся горечь семейных распрей пала на долю несчастной его жены, Натальи Борисовны. Несмотря на строгие требования инструкции о содержании ссыльных, Долгорукие пользовались покровительством их приставов и караульных офицеров. Майор Петров и каптенармус сибирского гарнизона Павел Козмин особенно мирволили несчастным узникам. Петров даже был крестным отцом старшего сына Ивана Алексеевича, Михаила, родившегося в 1731 году. Они позволяли князю Ивану и жене его выходить из острога в город в гости и принимать у себя гостей. Скоро сам воевода березовский, добрый и благодушный старик Бобровский и его семья познакомились с Долгорукими и часто проводили у них время и они у них. Бобровский и жена его присылали Долгоруким «разную харчу» и дарили их песцовыми и другими мехами.

Иван Алексеевич, общительный от природы, начал заводить дружбу с разными офицерами из местного гарнизона и наезжавшими в Березов, с местным духовенством и с березовскими обывателями. Особенно подружился он с флотским поручиком Дмитрием Овцыным. Он постоянно становился с ним рядом в церкви, часто бывал у него и принимал у себя, даже в баню ходили они иногда вместе. Близость с Овцыным погубила Долгоруких. Впоследствии молва сделала его любовником княжны Екатерины и на этом-то факте обыкновенно основывали все дальнейшие злоключения Долгоруких... Но мы опережаем события.

Под влиянием новых знакомств религиозное настроение князя Ивана стало слабеть, и скоро он снова вспомнил свою разгульную жизнь. Он стал бражничать и кутить со своими новыми приятелями. Иногда, под влиянием вина, язык его развязывался не в меру, и он проговаривался о многом из своей прежней жизни, о чем трезвый, конечно, не проболтался бы. Весьма естественно,

что березовских офицеров, подьячих, священников и обывателей очень занимали рассказы Ивана Алексеевича, и они нарочно его подзадоривали, а он выражался подчас очень неосторожно и резко об Анне Иоанновне, о цесаревне Елизавете Петровне, о тогдашних придворных «конъюнктурах».

— Ныне фамилия наша и род наш совсем пропали, — говорил в отчаянии подгулявший князь Иван, — а все это разорила... ваша теперешняя императрица, — причем он выражался об Анне Иоанновне в полном смысле непечатными словами.

Из отрывочных речей князя Ивана выясняются настоящие виновники гибели Долгоруких. Бирона он не называет в числе их ни разу. Зато упоминает о Ягужинском. «Я никого так не боюсь, как Павла Ягужинского — он наш гонитель», — печалился князь Иван. Но чего же он мог опасаться? Для опасения с его стороны были основания, кроме неосторожных речей с березовцами. Князь Иван не во всем винулся на духу рождественскому священнику.

Не с одними березовцами говорил князь Иван. Он говорил откровенно со своими меньшими братьями, в особенности с Николаем и Александром. Здесь в откровенной семейной беседе он давал полную волю языку: подробно разбирал права Анны Иоанновны на наследие русского престола и приходил к отрицательным выводам на этот счет, толковал и о наследии русского престола после Анны. Какая-то давнишняя, затаенная злоба к Анне Иоанновне проглядывает в его отзывах о ней. Повторяя распространенную в то время сплетню об отношениях ее к Бирону, Иван Алексеевич говорил:

— Какая она государыня, она шведка! Мы знаем, за что она Бирона жалует...

На Долгоруких явился донос около 1735 года. Один из березовских жителей Иван Канкаров сказал за собой «слово и дело». Доносчик оказался сумасшедшим, и на этот раз гроза миновала Долгоруких. Года через два, в 1737 году, последовал новый донос со стороны офицера Муравьева. Из Петербурга был прислан капитан Рагозин, описавший вновь все имущество Долгоруких. Князю Ивану и жене его удалось припрятать дорогие для них патенты и манифест. Долгоруких обвинили в свободном хождении к березовским обывателям и в имении лишних вещей, что доказалось пожертвованием в церковь парчи на облачения. Излишние вещи были отобраны, и караул над ними усилен: им запрещено было выходить из острога.

Тем не менее Долгоруких продолжали навещать березовцы. В числе этих посетителей бывал тобольский таможенный подьячий Тишин, иногда приезжавший в Березов по делам службы. Очень возможно, что Тишин был подослан нарочно петербургскими врагами Долгоруких, как повествует семейное предание. Тишину приглянулась красивая и неприступная «разрушенная» государыня-невеста, княжна Екатерина. Раз как-то напившись пьяным, он в грубой форме высказал ей свое желание. Оскорбленная Екатерина Алексеевна пожаловалась приятелю князя Ивана поручику Овцыну, и тот жестоко избил Тишина. Затаив оскорбление, Тишин дал слово отомстить обидчикам. Повод не

замедлил представиться. Князь Иван, подгулявши, проговорился и Тишину, как он не раз проговаривался и раньше про императрицу и про Бирона.

— Для чего ты такие слова говоришь, — как бы усовещевал его Тишин, — лучше бы тебе за ее императорское величество и за всю императорскую фамилию Бога молить.

— А что, донести хочешь? — догадывался выпивший князь Иван.

Тишин сказал, что он доносить не думает, а донесет пристав Долгоруких майор Петров.

— Петров уже наш и задарен! — отвечал на это князь Иван.

Тишин пожаловался Петрову, но тот не обратил на жалобу внимания и замаял дело. Тогда Тишин подал донос сибирскому губернатору, в котором обвинял, кроме Долгоруких, и Петрова, и березовского воеводу Бобровского за послабление им*.

Результатом этого доноса было прибытие в Березов капитана сибирского гарнизона Ушакова, родственника знаменитого начальника тайной канцелярии Андрея Ивановича Ушакова. Капитан Ушаков явился в мае 1738 года, «инкогнито, но с секретным предписанием». Ему поручено было прикинуться присланным по повелению императрицы разузнать о житье-бытье Долгоруких и улучшить их положение. Ушаков отлично сыграл роль. Он познакомился с Долгорукими, с разными березовскими жителями, с священниками, водил с ними хлеб-соль, вступал в беседы и, таким образом, под рукой узнал все, что ему было нужно.

Немедленно по его отъезде получен в Березов приказ из Тобольска — отделить князя Ивана от жены, братьев и сестер. Иван Алексеевич был заключен в тесную землянку, где его еле кормили и притом самой грубой пищей. Наталья Борисовна выплакала у караульных солдат позволение тайно по ночам подходить к землянке. Она приносила ему ужин и изредка удавалось видеть ей страдальческий облик мужа через небольшое отверстие землянки.

Прошло лето 1738 года.

В конце августа тайно, ночью, были вывезены из Березова в Тобольск: князь Иван, двое его братьев, Николай и Александр, Бобровский, Петров, Овцын, трое березовских священников, один дьякон, слуги Долгоруких и березовские обыватели, всего более 60 человек. В Тобольске всех их сдали тому же капитану Ушакову, который, к удивлению князя Ивана, вдруг превратился из любезного гостя в грозного и жестокосердного судью.

Несчастная Наталья Борисовна, оставшись в Березове со своим шестилетним сыном, с третьим братом князя Ивана и с золовками, надеясь, кроме того, скоро стать матерью, была совершенно удручена горем. Она не знала, куда девался ее Иванушка с братьями и приходила от этого в отчаяние. «Я кричала, билась, волосы на себе драла, — описывает свое отчаяние сама Наталья

* Забегая вперед, скажем, что Тишин был награжден не особенно щедро. Из тобольских подьячих он был «пожалован» секретарем в Москву и получил 600 рублей наградных, впрочем, с рассрочкою на шесть лет, по 100 рублей в год. «понеже он к пьянству и мотовству склонен».

Борисовна, — кто ни попадет встречу, всем валюсь в ноги, прошу со слезами: помилуйте, когда вы христиане, дайте только взглянуть на него и проститься! Не было милосердного человека, ни словом меня кто утешил, и только взяли меня и посадили в темнице и часового, примкнувши штык, поставили».

Скоро она узнала, где ее муж с братьями, но то, что она узнала, не успокоило ее, а окончательно подкосило, и не суждено уже было ей свидеться с мужем...

В Тобольске была образована для настоящего дела особая экспедиция, под начальством все того же Ушакова и поручика Василия Суворова (кажется, отца знаменитого впоследствии героя Рымника, Измаила и Варшавы, Итальянского князя). Начались обычные допросы с «пристрастием и розыском», то есть пыткой.

На первых допросах Иван Алексеевич пробовать было записаться, но скоро, помимо своей воли, высказал гораздо более чем хотел. Он содержался очень жестоко. В сырой тюрьме, в ручных и ножных кандалах, прикованный к стене, он лишился сна и аппетита, впал в нервное раздражение, близкое к умопомешательству, и стал рассказывать подробности о составлении духовной Петра II. Эта история, как мы видели, тяжелым гнетом лежала у него на душе, и он был рад очистить свою совесть. Этим последним показанием он оговаривал в весьма серьезных замыслах своих дядей: Василия Лукича, Сергея и Ивана Григорьевичей и других Долгоруких.

Ивана Алексеевича перевезли в Шлюссельбург. Двух его братьев, Николая и Александра, сослали в Вологду. В Шлюссельбург же в начале 1739 года доставлены были и все оговоренные им Долгорукие.

Между тем тобольская экспедиция работала над допросами лиц, прямо или косвенно причастных к «вредительным и злым словам» Ивана Алексеевича в Березове. В числе их находились и караульные офицеры, и вся команда часовых, начиная с майора Петрова, и Овцына, и березовские подьячие, и «отставные дворяне, и дети боярские», и священники, и дворовые князя Ивана, и простые обыватели — всего 50 человек, 19 из них потерпели кару по суду. Майор Петров был обезглавлен в Тобольске в июне 1739 года. Священники биты кнутом и разсланы по дальним сибирским городам со всеми своими семьями. Всех больше пострадал духовник князя Ивана, священник Рождественской церкви Федор Кузнецов: его били кнутом нещадно и затем, вырезав ноздри, сослали в Охотск. Офицеры, некоторые из березовских обывателей и дворовые люди князя Ивана написаны в рядовые в сибирские полки.

В Шлюссельбурге шли деятельно допросы постепенно доставляемых туда Долгоруких. «Инквизицией» над ними управляли из Петербурга два Андрея Ивановича: Остерман и Ушаков, а за ними стояла целая толпа врагов и ненавистников Долгоруких, в числе которых находился приобретший тогда большую силу кабинет-министра А. П. Волынский. Целый год тянулись допросы в Шлюссельбурге: начавшись в октябре 1738 года, они окончились в октябре 1739 года. Этот процесс не мог не обратить на

себя внимания и в России, и за границей. Иностранные дипломаты прислушиваются к слухам, к толкам и заносят их в свои депеши. Эти же слухи попадают и в заграничные листки и журналы. В то время Россия переживала трудное для нее время, и почва для слухов была обильная.

Шла неудачная и непопулярная война с Турцией, в которой гнала русская армия от дурного продовольствия. Неудача русско-го оружия в Турции заставляла шевелиться наших недругов. Швеция помышляла объявить нам войну. Положение России внутри было еще хуже. Финансы наши пришли в страшное расстройство, курс на наши рубли упал более чем наполовину. Недоимки возрастали год от года, административный произвол в губерниях и казнокрадство чиновников не знали пределов, голод и пожары опустошили разные местности России. На Волге шли разбой и инородческие бунты. Рядом с этими внутренними настроениями начались преследования «родовитых» русских людей. Граф Апраксин, князь Волконский, князь Алексей Михайлович Голицын, обращенные в придворных шутов, играли в чехарду в спальне больной императрицы, кудахтали, сидя на лукошках с яйцами, и нежно заботились о здоровье царской собачки. В 1737 году «искоренена» вся фамилия Голицыных. Вождь верховников в 1730 году, князь Д. М. Голицын заключен в Шлюсбург, его сыновья и другие родичи сосланы, кто в Казань, кто в Астрахань, кто в Сибирь. Шли хлопоты при дворе о бракосочетании племянницы императрицы Анны Леопольдовны, для утверждения наследия русского престола в потомстве Иоанна Алексеевича, а потомство Петра отстранялось систематически. Его внук назывался «чертушкой, что в Гольштинии живет», а его дочь, Елизавета Петровна, была в забросе, в загоне. Бирон и Остерман придумывали разные «конъюнктуры» для предстоящего брака Анны Леопольдовны. Немецкий террор достиг своего апогея. Такова была канва, по которой досужим дипломатам весьма легко было вышивать очень пестрые узоры. И они вышивали.

Носились слухи, что Долгорукие замыслили государственный переворот в пользу Елизаветы Петровны. Но из громадного допроса Долгоруких 1738 и 1739 годов не видно, чтобы правительство бы их в чем-либо подобном подозревало. Может быть, намеренно не допрашивали их — это другое дело.

В политических процессах того времени почти постоянно главная вина подсудимых, известная очень хорошо правительству, не вносилась в допросные пункты и затем в обвинительный акт. Осуждение произносилось за второстепенные, иногда третьестепенные преступления и проступки. Долгоруких обвинили в составлении подложной духовной Петра II с намерением возвести на престол после его смерти княжну Екатерину Долгорукую, а Иван Алексеевич, кроме того, обвинялся еще в «вредительных и злых словах» об императоре и других лицах императорской фамилии и в подписании духовной под руку Петра II.

31 октября 1739 года генеральное собрание, выслушав «изображение о государственных воровских замыслах Долгоруких, в которых по следствию не токмо обличены, но и сами

винились», постановило следующий приговор: князя Ивана Алексеевича колесовать, а затем отсечь ему голову. Князьям: Василию Лукичу, Сергею и Ивану Григорьевичам — отсечь головы. Все имущество Долгоруких, движимое и конфискованное в 1730 году недвижимое, описано на ее императорское величество.

На другой день, 1 ноября, приговор генерального собрания был утвержден императрицей. Кроме того, при этом повелевалось: 1) казнь учинить в Новгороде публично; 2) князя Василия Владимировича (фельдмаршала. — А. К.) под крепким караулом заключить в Иван-город, а брата его, Михаила Владимировича, — в Шлюссельбург; 3) о братьях и сестрах князя Ивана, жене его и детях, и о семьях князей Сергея Григорьевича и Михаила Владимировича собрать сведения, сколько их, где обретаются, сколько за ними деревень и какие у них пожитки, и доложить императрице.

Казнь совершена в Новгороде, 8 ноября 1739 года. Ее очень поэтично, хотя не совсем точно, изобразил, на основании семейных преданий, князь П. В. Долгорукий в своих записках:

«В версте почти от Новгорода, — пишет он, — лежит большая болотистая местность, отделенная от города оврагом с высохшим на дне его ручьем, известным под названием Федоровский ручей. На этом болотистом месте находится кладбище для бедных, так называемое Скудельничье кладбище. В четверти версты от него был воздвигнут эшафот. Начали с наказания кнутом трех меньших братьев князя Ивана, из которых Николаю, кроме того, «урезали» язык; затем отрубили головы князьям Ивану и Сергею Григорьевичам и Василию Лукичу. Наконец очередь дошла до Ивана Алексеевича, приговоренного к четвертованию. Он вел себя в эту высокую и страшную минуту с необыкновенной твердостью, он встретил смерть — и какую смерть! — с мужеством истинно русским. В то время, как палач привязывал его к роковой доске, он молился Богу; когда ему отрубили правую руку, он произнес: «Благодарю тебя, Боже мой, — при отнятии левой ноги: — яко сподобил мя еси... познати Тя», — произнес он, когда ему рубили левую руку, и лишился сознания. Палач поторопился кончить князя, отрубив ему правую ногу и вслед за тем голову»*.

Внук несчастной жертвы князь Иван Михайлович Долгорукий пишет в неизданных своих записках: «Конец столь неожиданный, столь страшный, исполненный стольких страданий — искупил все грехи юности князя Ивана, и его кровь, оросившая новгородскую почву, эту древнюю колыбель русской политической жизни, должна примирить его память со всеми врагами нашего рода». И со всеми врагами России, и с пуристами нравственности, клеймящими до сих пор князя Ивана за его легкомысленную юность, — прибавим мы к словам князя И. М. Долгорукого.

* По сентенции суда, как мы видели выше, князь Иван был колесован; его братья Александр и Николай во время совершения казни в Новгороде были в Вологде.

Этим мы закончим нашу беседу с читателем о жизни молодого человека, обманутого призрачным счастьем в том возрасте, когда все мы гоняемся за этим счастьем, девять лет протомившегося потом «в стране медведей и снегов» и умершего от руки палача тридцати одного года.

Наш очерк был бы не полон, если бы мы не напомнили читателю дальнейшей судьбы вдовы князя Ивана Долгорукова.

Наталья Борисовна мучилась и терзалась о судьбе князя Ивана в Березове. Только 26 апреля 1740 года вспомнили о ней. Послед зал высочайший указ: «жену князя Ивана, с детьми и со всеми пожитками, отпустить в дом к брату ее, графу Петру Борисовичу Шереметеву». 17 октября, в самый день кончины императрицы Анны Иоанновны, прибыла она в Москву, с двумя сыновьями: старшему, Михаилу, был 12-й, а меньшему, Дмитрию, 3-й год. Пристроив старшего сына в военную службу, а затем женив его, Наталья Борисовна в 1758 году вместе с меньшим сыном уехала в Киев. Здесь она постриглась в Фроловском женском монастыре и приняла имя Нектарии. Ее меньший сын, Дмитрий, слабый и болезненный от природы, вследствие несостоявшегося брака впал в душевное расстройство, близкое к помешательству. Он предался мистицизму и поступил в один из киевских монастырей послушником, а перед смертью принял тайно пострижение; умер на руках у матери в 1769 году. Нектария приняла схиму и в 1771 году, пятидесяти восьми лет от роду, скончалась.

ЧИТАТЕЛЬ·«СМЕНА»·ЧИТАТЕЛЬ

┌ «Желаем журналу оставаться всегда умным, добрым, нужным многим людям!»

┌ Разрешите поздравить всех вас — от главного редактора и членов редколлегии до типографских работников с юбилеем.

Праздник касается и нас, ваших читателей, тем более давних подписчиков. Даже затрудняюсь сказать точно, сколько лет читаю «Смену». «Тонкие» номера журнала, издававшиеся прежде, храню на даче, с удовольствием перечитываю, сожалею, что не все сберегла. Ну а «толстые» целы все!

Сначала казалось, что новый вид «Смены» необычен, а теперь ее компактность радует — удобно очень. Но главное преимущество журнала — его содержание. Неравнодушные люди делают «Смену» и к тому же профессионалы!

Читаю журнал практически полностью. Очень люблю исторические очерки, статьи раздела «Культура, музыка, искусство». Друзья, не поддавайтесь всяким временным модам, держите высоко марку журнала, оставайтесь таким же высококультурным, интеллектуальным, добрым и искренним изданием. Ведь вас читают люди всех возрастов, а для молодых он, по-моему, просто бесценен, так как несет на себе печать нашего времени, является другом и помощником.

Мой сын (а ему 27 лет) вырос на этом журнале. И именно он посоветовал мне написать.

Дважды за свои 56 лет я была связана с журналом не только как читательница.

Когда сын учился классе в восьмом, в «Смене» часто писали о детских домах, о плохих библиотеках в них, просили помощи. И вот мы решили собрать книги и отвезти в редакцию. Весь класс сына принял в этом участие. И, что приятно, дети несли очень хорошие книги, то есть делали это от души, не формально. Книги сын с товарищами отвезли в редакцию. Их там очень благодарили.

А вторая история немного грустная. В одном из номеров журнала (еще «тонком») появилась статья к юбилею (уже не помню, какому) артиста В. Дворжецкого. Автор расписывал его — и актер-то замечательный, и роли его незабываемые (это верно, конечно, один Хлудов из «Бега» что значит!), и помним мы его все... ну и прочие слова. А я буквально накануне была на могиле Дворжецкого (то есть была я на могиле своего отца, на Новокузнецком кладбище, но случайно увидела, что там же похоронен и Дворжецкий), удивилась, какая она неухоженная, сиротливая. Обидно стало. Чем писать (как у Райкина, помните: «...о нем так тепло говорили... на похоронах»), лучше бы оказали посильную помощь родным в устано-

влении памятника, людей попросили бы помочь. Ну, я и написала впервые в жизни в редакцию «Смены». Сейчас у актера очень хороший памятник, на могиле почти всегда цветы! Конечно, не мое письмо тому причиной. Но уж очень хочется, чтобы журнал воспитывал в людях чувство уважения, памяти к ушедшим от нас актерам, спортсменам, писателям, да просто близким нам людям. Посмотрите на том же кладбище на могилы В. Харламова (я сама видела не раз молодых ребят с цветами), Ларисы Шепитько, ну и многих других. Приятно, когда помнят и чтят умерших. Правда, сегодня мы и живых-то не очень чтим... Грустно это, но журнал может поднять и эту тему и учить, да, учить людей благородству, чистоте и красоте взаимоотношений.

Еще раз с праздником вас, дорогие мои! Отдавайте журналу, любимому вашему детищу, все силы, и оплатит вам любовью и благодарностью вся читающая публика.

ВИКТОРИНА ИВАНОВНА КОТЛЯР,
Москва

Был когда-то в «Смене» замечательная рубрика «Экслибрис». Во многом благодаря ей — хотел быть в курсе литературных событий — я и стал выписывать журнал. Однажды «Смена» разделила со мною первую литературную радость, поместила в «Экслибрисе» (№ 23, 1976) рецензию на мою первую книжку. Такое не забывается. Дальше — больше. Я, взрослев, стал находить на страницах журнала пиццу, которую просила душа. Искусно обходя цензурные правила, любимое издание постоянно питало своих читателей целебной энергией родной культуры, истории, возбуждало в нас патриотические и другие прекрасные чувства.

Знайте: две рубрики, на первый взгляд совсем не кажущиеся важными, собирают «Смене» немалую толику тиража в провинции. Там очень ценят обратную связь, которую дают «Читатель — «Смена» — читатель» и «Конкурс одного стихотворения». Эти две Золушки очень хорошо работают. Не обижайте их! Они не уступают ни престижным «Мастерской» и «Музыкальной антенне», ни публицистическому разделу «Человек и общество». Лично я этому последнему весьма признателен. Публикация (№ 21, 1988) моей статьи, а также редакционного комментария поставила точку в затяжной борьбе крымчан против строительства в сейсмоактивной зоне Крыма атомной станции. Помнится, из-за этой публикации у «Смены» были неприятности. Но зато через несколько месяцев Н. Рыжков подписал постановление о прекращении опасного строительства. Этот шаг журналу резко повысил интерес к «Смене» в Крыму. Так что даже перемена формата издания не помешала ему при подписке.

Сегодня мы — крымчане — говорим: «Смена», здравствуй еще много-много лет! И прощай!» В Крыму прекращена подписка на «Смену».

ВАЛЕРИЙ МИТРОХИН,
Симферополь

Дорогой мой, верный друг «Смена»! Я давно собиралась написать тебе слова благодарности, признательности, но, во-первых, не каждому дано выразить свои чувства на бумаге, а во-вторых, не хочется лишней раз произносить банальные слова. Просто вот уже в течение 22 лет мы с мужем являемся вашими подписчиками.

Когда в сентябре 1971 года мы поженились, то первым журналом, который выписали, была

именно «Смена». Сейчас нам уже пятый десяток, повзрослели наши дети, но мы до сих пор читаем «Смену» целиком и до сих пор находим ответы на многие насущные вопросы.

Хочется написать о своей трудной жизни, жизни простых рабочих, о том, что я росла сиротой, без матери, с десяти лет, да и у мужа практически не было детства — очень сильно был его отец. Можете себе представить, какое «приданое» мы получили, поженившись. Но, несмотря на бедность, мы выписали «Смену». Потом, конечно, выписывали и другие издания. Но сейчас настали такие времена, когда во многом приходится себе отказывать. Вот уже до минимума сократили подписку, но изменить «Смене» мы не можем. Это все равно, что изменить близкому человеку. Желаем журналу оставаться всегда умным, добрым, нужным многим людям!

**ВАЛЕНТИНА И ВЛАДИМИР
ЧЕРНЫХ,
Екатеринбург**

Я ваш подписчик с 70-го года. «Смена» мне нравится, читаю все подряд с большим удовольствием, а жена и сыновья читают детективы и фантастику.

Вспоминая прожитые годы, с удивлением обнаружил факты причастности слова «смена» к своей жизни.

Самые первые воспоминания — о первой смене в школе, затем — о трех сменах безвыездного пребывания в пионерлагере, когда мать с отцом уехали в долгий отпуск из северного города Алдана.

С радостью вспоминаю клич: «Кончай драить плиты, смена идет!» — это когда я в конце войны 15-летним кочегаром 2-го класса шуровал уголек на сузогрузе «Ола».

А через десять лет, дослужившись до механика, решил,

что пришла пора смены профессии и семейного положения. Эта смена завершилась окончанием Дальрыбввуза и появлением в нашей семье двух сынков.

На дальнейшую смену должностей в проектном институте от инженера до заместителя директора по экономике никак не влияла смена генсеков в течение этого же времени. Только смена пути России — от утопического коммунизма к реальной рыночной экономике — заставила меня сменить место проживания: сейчас я живу не в городской квартире, а в доме, построенном вместе с сыном собственными руками на садово-огородном участке. Живу уже четвертый год, прибавляя к своей пенсии овощи с огорода, яйца от кур, мясо от кроликов, папоротники, ягоды, грибы из леса, рыбу из Амура. Весной и летом работы выше головы. Зимой работы меньше, и длинными вечерами пристраиваю журнал «Смена» между двумя керосиновыми лампами. Тогда и происходит смена настроения в предвкушении удовольствия от чтения и встреч с новыми интересными людьми, с Львом Гуровым, героями Жоржа Симеона и другими.

Младший сын работает в литейном цехе и мечтает, наработав «горячий стаж», прийти мне на смену. Все эти «смены» в моей жизни вряд ли тесно соприкасаются с названием журнала «Смена», но зато сам журнал стал мне необходим, и пусть он долго радуется меня.

**Н. УШАКОВ,
Хабаровск**

Посчитала, сколько лет я выписываю «Смену», и поняла, что у меня в этом году тоже «юбилей», правда, не такой солидный, как у вас, но все же...

Сорок лет назад, летом 1953 года, после окончания Щербак-ов-

ского (ныне Рыбинского) речного техникума, получив диплом техника-судостроителя и направление на работу, приехала в Великий Устюг Вологодской области молодой, веселая комсомолка-активистка. И если у вас в редакции есть работники моего поколения, они помнят, какие в те далекие времена проводились подписные кампании: если ты член партии — вот тебе «Правда» и политический журнал, каждому комсомольцу — «Комсомолка», а если ты еще и активист, то любой молодежный журнал «по списку». «Комсомолку» я выписала без звука, а вот список журналов привел меня в ужас и растерянность. Тогда я закрыла глаза и ткнула пальцем в этот список. Под пальцем оказалось слово «Смена». И с тех пор, где бы ни жила, никогда не забывала подписаться на «Смену». Меня не волнует, что жизнь изменила «лицо» журнала, все равно читаю «Смену» от корки до корки, пропускаю только шахматные материалы (грешна, я в них не разбираюсь), и очень редко пытаюсь отгадывать почти не отгадываемые с ходу кроссворды, оставляя их моим гостям-эрудитам, зная, что каждое слово, найденное в справочниках, словарях, атласах и БСЭ, приведет их в восторг.

Пыталась я даже сохранять все журналы, но при переездах многое затерялось, а вот с 1976 года храню все и частенько перечитываю. Так что я, дорогая редакция, поздравляя вас с юбилеем, до сих пор благодарю проведение за то, что забросила меня судьба в бывший медвежий угол России, а свой указательный палец — за моего постоянного друга, «Смену».

Держитесь так, ребята!

Л. Ф. ВОЛЫНКИНА,
Рыбинск

Вот и пришел день расставания с вами, дорогая редакция, хотя сорок лет я постоянно была со своей любимой «Сменой». Сорок лет, несмотря на лимитирование, переезды, была верна журналу.

В октябре прошлого года узнала, что нет на Украине разрешения на подписку не только на «Смену», но и на многие другие издания. 18 октября было получено разъяснение, что подписку можно оформить только за российские рубли. Где же их взять? В банке нет, а базарным жучкам с ошейниками-надписями «куплю русские рубли и доллары» надо много переплачивать. К сожалению, учитель и юрист (а наша семья из представителей этих, в настоящее время ненужных профессий и состоят) не могут позволить себе совершить жульнический обмен. Так что, вздохнув, всплакнув, прощаюсь с вами. Действительно, уничтожаются связи, уничтожается духовность.

Несколько слов о том, какое значение имела «Смена» в моей жизни.

В 1954 году я закончила Калачевскую среднюю школу Волгоградской области. Сразу же поступила работать в библиотеку, где впервые увидела «Смену» и зачиталась. Потом убедила отца (он грек по национальности, учился русскому языку только по книгам и журналам) и маму (а она была противницей всякого чтива, кроме сказочного, увлекательного), что в журнале много интересного, и с сентября 54-го года я — ваша постоянная подписчица.

Помню, когда заведующая библиотекой уехала в отпуск, а меня попросила выписать на 56-й год журналы и газеты для читального зала, начальник отделения «Союзпечати» безжалостно вычеркнул «Смену». Со слезами я выпросила журнал для себя, а потом отнесла его в би-

библиотеку, чтобы даже те, кто приходил вечером в читальный зал позреться, читали, интересовались добрым, умным словом. Закончила я заочно институт. И вот тогда-то «Смена» начала служить мне по-настоящему. Четверть века я собираю материалы для школьных кабинетов — о писателях, художниках, деятелях науки, искусства. Правда, жизнь заставила поездить по городам и весям, поэтому многое оставалось в тех местах, где я работала: в Ленинске Волгоградской области, Дубровке, Днепрпетровске.

С 1976 года живу в Кривом Роге. Могу с гордостью сказать, что в моем кабинете самый богатый материал из всех школ в городе, так как все годы выписывала я множество изданий и всегда обязательно «Смену».

Что привлекает меня, моих детей и мужа в журнале? Сына — фантастика, мужа — история, дочь — детективы, меня — мир искусства, статьи на морально-этические темы, искренние исповеди читателей. Во внеурочной работе со школьниками я использовала многие статьи.

До свидания! Не хочу говорить «Смене» — прощай!..

З. ИВАНИДИ,
Кривой Рог

Сердечно поздравляю журнал с 70-летним юбилеем!

Мне уже за восемьдесят, но я почти всю жизнь связан со «Сменой». Началось мое знакомство в 1928 году. Тогда я, пятнадцатилетний «шпингалет», вместе с родителями жил на так называемом Дальнем Вокзале, в рабочем поселке на окраине Читы, и был юным библиомагом. Книжных киосков в нашем поселке не было, и вот я каждую неделю пробегал три километра до читинского вокзала, чтобы купить «Смену» и «Вокруг света». Помню «Смену», как сей-

час, — жиденькое издание в серо-зеленой обложке из грубой бумаги. Долгое время подборка журналов хранилась у меня дома, но со временем они пропали. Жалею очень. Не расставался я с журналом всю жизнь, а в 80-е годы с редакцией активно сотрудничал. «Смена» тогда выходила дважды в месяц, я участвовал во всех конкурсах и получил от редакции три диплома. А особенно радовался памятным подаркам — книгам. Спасибо за них.

Подписался я на «Смену» и на 94-й год. Дорого, конечно, но цель оправдывает средства: духовная пища дороже, чем наши «деревянные» рубли.

Н. А. КАСЛОВ,
Чита

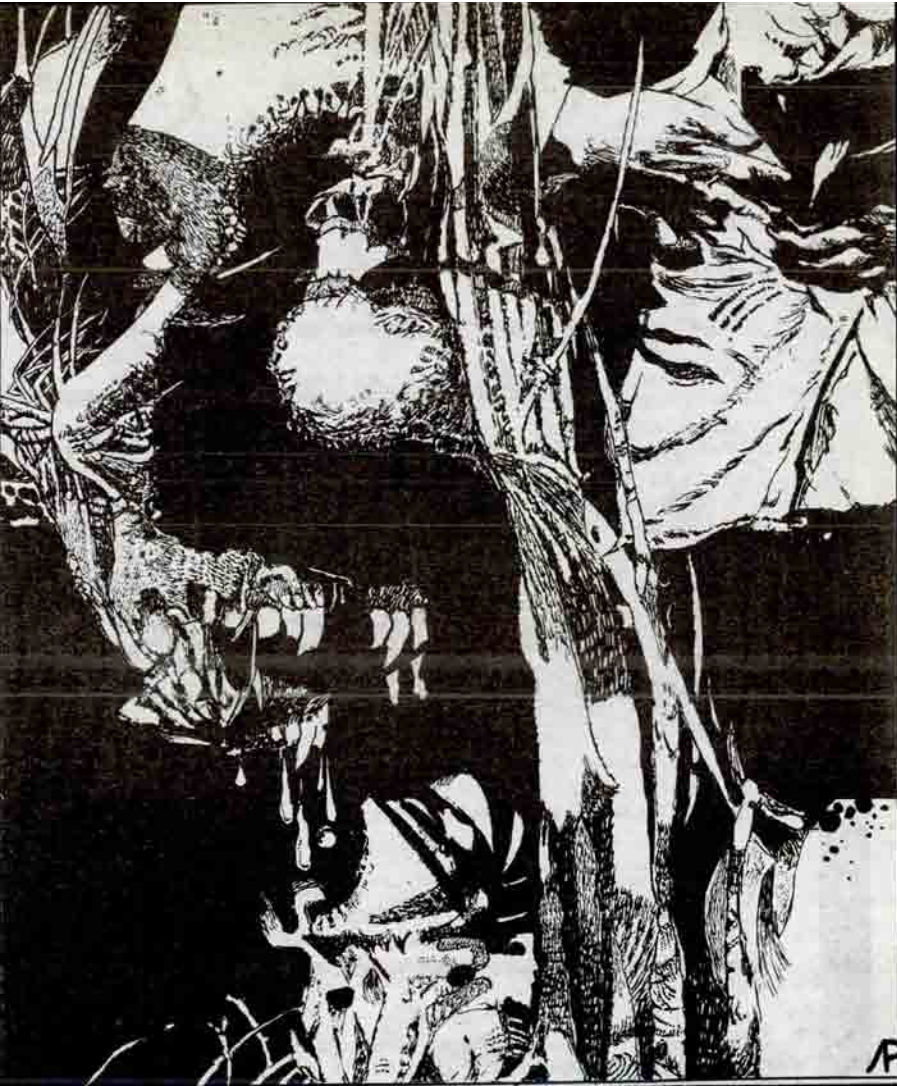
Дорогие друзья! Благодарим вас за добрые слова, за то, что вы идете по жизни вместе с нашим журналом. Конечно, невозможно опубликовать все ваши сердечные пожелания редакции. Но мы от души благодарим В. Н. Аконтьева из Мончегорска, Н. А. Басанскую из г. Ровно, О. С. Буслову из г. Видное, Л. Бухарова из Ташкента, Р. П. Важенину из Нижней Туры Свердловской области, Л. Г. Васильченко из Москвы, Л. А. Грачева из Москвы, Т. Гудкову из Н. Новгорода, Ю. А. Дука из Горловки, В. А. Иванова из Тарту (Эстония), И. А. Каролика из Калининграда Московской области, В. Н. Конделя из Полтавы, Н. В. Коруменко из Ростова-на-Дону, Р. М. Кочетову из Москвы, Н. К. Любименко из Подольска, Е. И. Пявтина из Чусового Нижегородской области, Н. Б. Саркисову из Краснодарского края, А. Г. Хомченко из Арзамаса, Л. С. Чавкину из г. Кстово Нижегородской области, Л. С. Щедрину из Хабаровска, поздравивших «Смену» с юбилеем.



ДЖЕФФРИ КОНВИЦ

СТР

Рисунки ЛЬВА РЯБИНИНА



AW-11

Ноябрь 1963 года

Доктор Мартин Абрамс не спеша набил тяжелую трубку ручной работы и, раскуривая ее, бросил взгляд на бумаги, отодвинутые на край письменного стола.

— Как вы себя чувствуете? — спросил он, хмурия густые черные брови.

— Чувствую... — безучастно откликнулся пациент, пребывающий в глубоком трансе.

Доктор заметил, что ответ был дан будто бы через силу.

— Вы спокойны, — ровным голосом произнес он.

— Да, — как-то неуверенно подтвердил пациент. — Спокоен.

— Все хорошо.

Наступила тишина. Выдержав паузу, Абрамс продолжил:

— Я хочу поговорить с вами о вашей матери.

Пациент зябко поежился.

— Я не помню ее.

— Помните. Вы помните абсолютно все. Расскажите мне про нее.

Запинаясь, пациент стал описывать женщину, а потом и свое отношение к ней.

Абрамс удовлетворенно кивнул.

— Хорошо, — сказал он, одновременно делая какие-то пометки в бумагах. — А теперь расскажите мне о том, как она умерла.

Лицо пациента преобразилось. Его охватил неподдельный ужас.

— Я... я не помню этого.

— Помните. Говорите же!

— Это было... очень давно.

— От чего она умерла?

— От рака.

— Это неправда. Расскажите мне, как она умерла. Подробно.

— Рак. Меланома. Я навещал ее в больнице. Она мучилась, страдала от сильной боли.

— И это все, что вы помните?

Пациент с трудом выдавил из себя еще несколько бессвязных фраз, а потом и вовсе умолк. По его лбу и щекам струился пот.

Абрамс разжег потухшую трубку и крепко сжал зубами мундштук.

— Как она умерла? — настоятельно требовал он продолжения рассказа. — Говорите!

Пациент дико озирался по сторонам, не понимая, где он находится.

— Говорите же!

— Потом ее привезли из больницы домой. К нам приходила сиделка, но один раз она заболела и не смогла прийти. А у мамы как раз начался сильный приступ... И она сказала, что если я действительно люблю ее, то должен помочь ей умереть... Я за-

плакал. А потом выдернул капельницу из ее вены и убежал в школу. А когда пришел домой после уроков, она уже умерла.

— И как вы себя чувствовали после этого?

— Как будто я виноват в чем-то...

— Вы пытались как-нибудь искупить эту вину?

— Не помню.

— Помните! Расскажите мне.

Пациент судорожно задергался в кресле. Он был в крайней степени смятения.

— Я понял, что не смогу больше так жить.

— И поэтому...— подсказал доктор.

— Я пытался покончить с собой!

Абрамс, явно довольный своими успехами, тут же начал спрашивать о подробностях, одновременно заполняя целые страницы ровным мелким почерком. Наконец он отложил ручку в сторону и не спеша вывел мужчину из-под гипноза. Через минуту тот был уже в полном сознании.

Абрамс вызвал ассистентку и попросил сварить кофе.

— А теперь я хотел бы задать вам несколько вопросов,— сказал он, когда перед ними поставили чашечки с дымящимся ароматным напитком.

Пациент кивнул, охотно давая свое согласие.

— От чего умерла ваша мать?

— От рака. Она долго болела...

— Разве ее не убили?

— Убили? — Мужчина нахмурился. — Вы что, с ума сошли?

— Я нет. И вы, кстати, тоже далеко не сумасшедший.

Пациент добродушно рассмеялся.

Доктор озабоченно покачал головой.

— И вот о чем я еще хотел бы узнать...

— Да, слушаю вас...

— Вы когда-нибудь пытались покончить жизнь самоубийством?

— Я? Да что вы! Конечно, нет.

— Вы уверены? — прищурился Абрамс.

— Абсолютно.

— Тогда у меня все. — Психиатр улыбнулся, давая понять, что прием окончен.

Мужчина с облегчением вздохнул, поднялся с кресла и, попрощавшись, быстро покинул кабинет.

Абрамс проводил его до двери, потом вернулся в свое кресло и, выбив пепел из трубки, крепко задумался. Он снова и снова перелистывал записи, размышляя о самом удивительном случае в своей практике.

Декабрь 1966 года

Артур Селигсон вышел из метро на пересечении улиц Бликер и Лафайет. Теперь уже он нисколько не сомневался, что правильно поступил, хлопнув дверью. К утру Сью забудет о размолвке, а он тем временем проведет ночь в городе и где-нибудь от души повеселится. Вообще-то их отношения уже стали для Арту-

ра настоящей обузой. Он смертельно устал от бесконечных придинок и постоянного ворчания своей подруги. А особенно сварливой она стала, узнав, что он — бисексуал и любит мальчиков ничуть не меньше ее. Впрочем, если она так и не сможет примириться с этим, то пусть убирается ко всем чертям. Уж он-то без нее как-нибудь обойдется.

Артур свернул на Хьюстон-стрит и направился по ней в сторону Ист-Вилледж, еще издали заметив яркий неоновый щит над ночным клубом «Суарэ». Хотя он и не заходил сюда раньше, это местечко было хорошо известно любому нью-йоркскому гомосексуалисту. У самого входа располагался бар, еще дальше — сцена, на которой сейчас демонстрировали свое мастерство четыре бледных, худых музыканта и два мускулистых танцора в женских платьях. Артур отметил, что оформлен клуб на удивление скромно, хотя на это, похоже, никто из присутствующих не обращал внимания. Но вообще же сквозь густую пелену табачного дыма было трудно что-либо как следует разглядеть.

Артур проверил карманы — не забыл ли он в пылу ссоры дома бумажник, и, убедившись, что тот на месте, поспешил к бару. Там он привстал на цыпочки, перегнулся через стойку и заказал чистое виски со льдом, стараясь перекричать оглушительный джаз. Потом подождал, пока бармен принесет напиток, и со стаканом в руке стал искать свободное место. Наконец, удобно устроившись в углу тесного зала, он принялся рассматривать посетителей, без стеснения заглядывая им прямо в лица. Артур знал, что в этом диковинном месте царят совсем иные нравы, нежели там, где ему приходилось бывать вместе с Сью. Здесь собиралось совершенно другое общество и было куда меньше церемоний. Артур чувствовал, что с каждой минутой клуб начинает нравиться ему все больше.

Сосед Артура внимательно оглядел его, и они тепло улыбнулись друг другу. Молодой человек оказался весьма приятной наружности: белокурый, на вид ровесник Артура и очень стройный.

— Как дела? — не переставая улыбаться, спросил парень, будто был старым знакомым Артура.

— Как всегда, прекрасно, — охотно отозвался тот.

— Меня зовут Джек. Джек Купер, — представился юноша.

— Артур Селигсон.

Джек улыбнулся, обнажая ослепительной белизны зубы, и отпил немного «бурбона».

— А я вас, по-моему, тут раньше не видел, — заметил он.

— Это и неудивительно, ведь я здесь впервые.

— Вы здешний? — спросил Джек, придвигаясь к нему поближе.

— Нет, — ответил Артур. — Я родился в Йонкерсе, и там же прошло мое детство. — Он улыбнулся. — Но школу я заканчивал уже в Буффало, а потом приехал в Колумбийский университет продолжить образование. И сейчас одновременно учусь и подрабатываю немного в универмаге.

— Вы живете один? — поинтересовался Джек.

— Нет.

— С приятелем?

— Нет, с девушкой.

— Так вы здесь... случайно? — В голосе Джека послышалось явное разочарование.

— Не совсем. Впрочем, я от нее ничего не скрываю, и она в курсе моих симпатий.

— Вам, наверное, нелегко живется, — посочувствовал Джек.

— Это точно. А чем вы занимаетесь?

— Я тоже учусь. Изучаю литературу, а подрабатываю в этом клубе.

— И кем же вы здесь... подрабатываете?

— Барменом, через день. Я живу в этом районе уже четыре года и знаю здесь все кабаки. Приехал из Цинциннати, думал стать актером, но ничего путного из меня не вышло. Сначала снялся пару раз в рекламе какого-то безалкогольного напитка, который сам так ни разу и не попробовал, потом меня использовали в качестве «голоса за кадром», но ни один из этих роликов почему-то не пошел... Затем я шесть недель колесил по стране с трупой «Фантастикс» в качестве подсобного рабочего, и на этом моя театральная карьера закончилась. Неплохо, да? Шесть недель с такими звездами — и мне не дали на сцене ни слова! Но к черту все это, неохота и вспоминать... Не вышло из меня звезды, хотя еще довольно долго я не мог в этом признаться даже самому себе.

Артур понимающе кивнул.

Джек достал сигарету и закурил.

— А какие у тебя планы после университета? — спросил он, выпустив дым.

Артур неопределенно пожал плечами.

— Понятия не имею! Но мне кажется, я становлюсь уже профессиональным «вечным» студентом. Конечно, все эти ученые степени звучат красиво, но на одних дипломах далеко не уедешь... А торговать безделушками в универмаге еще скучнее. Поэтому или буду учиться дальше, пока меня не выпшибут, или женюсь на дочке миллионера!

— Или на сыне? — уточнил Джек.

— Или на сыне, — подтвердил Артур и слегка усмехнулся.

Джек с обворожительной улыбкой нежно обнял Артура за плечи.

— У тебя светлая голова, и ты мне начинаешь нравиться, — сказал он, глядя ему прямо в глаза.

— Взаимно. — Артур отхлебнул еще виски.

Джек протянул пачку сигарет:

— Куришь?

— Нет. — Артур замотал головой и тут же икнул. «Господи, уже нажрался!» — мелькнуло у него в голове. — И никогда даже не пробовал.

Джек спрятал пачку в карман.

— А, ну, извини. Я не знал. А можно тебя кое о чем спросить?..

— Валяй.

— Ты когда начал?

— Еще в колледже, — без колебаний признался Артур, сразу сообразив, о чем речь. — На последнем курсе. Если точнее — во

время каникул. Мы с группой отправились покататься на горных лыжах в Стоув, это в Вермонте, и там я познакомился с парнишкой из Нью-Гемпширского университета. Лыжник он был отменный и взялся меня малость подучить. Всю неделю после тренировок мы с ним волочились за бабами, но ничего у нас толком не вышло. И под конец я стал оставаться у него почевать, и мы с горя напивались. Так вот, перед самым отъездом — уже в последнюю ночь — все и произошло...

— И ты потом чувствовал себя... неловко? — участливо спросил Джек.

— Ничуть не бывало! — Артур на секунду замолчал, а потом вдруг спросил: — А у тебя как было?

Джек рассмеялся.

— Ну, я в этом деле уже третий калач! Начал в пятнадцать лет с моряком из Лексингтона. Ты не представляешь, сколько шума было, когда мать однажды выследила нас и поймала в стог сена прямо «на месте преступления»! Хотя ее в это время не должно было быть дома. Ох, и отколотила же она меня тогда! Слава Богу еще, что отец не дожил до того дня, иначе не сносить бы мне головы. Ну, зато мать постаралась за двоих. А потом начала меня изводить бесконечными расспросами, что да как, да почему... Ну, я и брякнул, что, мол, если бы она была хорошеньким мальчиком и жила с такой мамашей-занудой, когда рядом больше никого, то сама бы кинулась на шею первому встречному мужику... Однако ей этот довод почему-то показался неубедительным, и она продолжала выколачивать из меня дурь до тех пор, пока мне все это не осточертело, и я сбежал от нее куда глаза глядят. Просто сел в первый попавшийся автобус на восток и... Автобус, как оказалось, шел в Филадельфию, а оттуда — напрямик в Нью-Йорк. И с тех пор я своей мамочки больше не видел. Говорят, она совсем спятила, узнав, что сын у нее педик, и это скорее всего уже неизлечимо. Хотя я лично не проверял: мне теперь на нее глубоко наплевать. Да и какая она мать, если не смогла как следует разобраться в чувствах собственного сына!

Потом они разговаривали о всяких пустяках, снова пили, и вдруг, взглянув на часы, Джек схватил Артура за руку.

— А ты сегодня вернешься к своей подруге? — печально спросил он.

— Надеюсь, что нет, — ответил тот и улыбнулся.

— Послушай, я живу тут неподалеку, в двух кварталах. Давай возьмем еще бутылочку и двинем ко мне! Там тихо. Разожжем камин, продолжим нашу беседу... Есть хорошая музыка. Ну, как, согласен?

— Звучит заманчиво, — не устоял Артур.

Они дружно поднялись с кресел и, глядя друг другу в глаза, вышли из клуба.

Ноябрь 1978 года

Колеса беспомощно буксовали в жидкой дорожной грязи. Энни Томпсон, съжившись на переднем сиденье, смотрела в боковое стекло, стараясь разглядеть хотя бы обочину дороги. Но, кроме

своего тусклого отражения, она не видела почти ничего, и от этого создавшееся положение казалось девушке еще более ужасным. Сама она тоже выглядела не лучшим образом: глаза покраснели, в лице ни кровинки.

Бобби Джо Мейсон крепко вцепился в руль «вольво» и еще раз нажал педаль газа, тут же схватив Энни за руку, чтобы она не стукнулась лбом о ветровое стекло.

— По такой круче забраться туда будет чертовски трудно, — сказал он, пытаясь как-то отвлечь Энни разговором.

Он посмотрел на дорогу, ведущую к вершине горы Адирондак, и повторил сквозь стиснутые зубы:

— Чертовски трудно!

— Да, мы ведь всегда выбираем подходящее время и место для отдыха, правда? — пробормотала Энни, удрученно качая головой и прислушиваясь к шуму дождя, барабанившего по крыше автомобиля.

— Ну что за черт! — ворчал Бобби с нарастающим раздражением.

Колеса машины продолжали крутиться на месте, разбрызгивая по сторонам липкую грязь.

Ливень начался час назад. Он пришел из Канады и застал их врасплох, хотя, судя по сводкам, всю неделю до самого Дня благодарения должна была стоять тихая сухая погода.

Вдруг Энни невольно дернулась на сиденье, ударившись коленями о приборную панель, — ее напугала ветка, внезапно хлестнувшая по забрызганному лобовому стеклу, через которое почти ничего уже не было видно. Бобби мрачно усмехнулся и полез на заднее сиденье за кожаной курткой.

— Садись-ка лучше за руль, — сказал он своей спутнице, — а я попробую толкнуть сзади. Когда я крикну «газ!» — выжимай педаль до упора и держи ее так.

— И ты думаешь, это поможет? — безнадежно хмыкнула девушка.

— Должно сработать. В противном случае нам придется спускаться задним ходом до самого шоссе.

На лице Энни смешались досада и отчаяние.

— Отлично. Только этого не хватало!

Бобби открыл дверь, выскочил из машины, подбежал к багажнику и, зябко обхватив себя руками за плечи, тряхнул головой, чтобы сбить с лица струйки холодной дождевой воды. Небо над ними стало совсем черным. Дорога впереди таяла в густом тумане, который медленно полз вниз по склону через заросли колючих кустов.

Бобби потерял ладони и заметил, что руки уже успели побелеть от сильного холода.

— Газ! — громко выкрикнул он.

Энни нажала педаль акселератора. Брызги грязи тут же ударили Бобби в лицо. Из-под колес машины вырвался пар, и она судорожно заерзала из стороны в сторону, все глубже зарываясь в раскисшую колею.

— Продолжай! — не унывал Бобби, раскачивая автомобиль снова и снова, пока наконец он не выехал на ровное место.

Мотор все еще бешено ревел. Бобби подбежал к передней дверце и прыгнул за руль, едва успев крикнуть Энни: «Подвинься!»

— Надо быстрее убираться отсюда, — нервно пробормотал он, стуча зубами от холода и едва переводя дыхание.

Энни вынула платок, наклонилась к нему и стала вытирать брызги грязи с его лица.

— Но все-таки мы победили! — торжествующе улыбнулась она.

Бобби, облегченно вздохнув, направил машину вверх по склону, преодолел перевал и свернул на извилистую дорожку, ведущую в самую чащу старого леса. Но вскоре деревья расступились, и дорога вывела их на небольшую стоянку перед двухэтажным домиком из сосновых бревен. Стоянку и домик амфитеатром окружал густой лес.

— Надо же! Все в точности, как в прошлый раз! — обрадовалась Энни, и лицо ее сразу же засветилось от счастья.

Бобби наклонился и нежно поцеловал ее в щеку.

— Правильно. А я что тебе говорил?

Девушка обняла его, прижавшись лицом к мокрому свитеру.

— Ну все, хватит, — улыбнулся Бобби, легонько отстраняя ее от себя. — Я возьму рюкзаки, а ты хватай сумки с продуктами, — распорядился он.

— Хорошо, — послушно отозвалась Энни.

Они вытащили из машины рюкзаки и разноцветные пакеты с провизией и направились по дорожке к крыльцу. Бобби достал из кармана целую связку ключей и, найдя нужный, открыл скрипучую дверь. Втащив вещи в дом, они зажгли в холле свет, потом заперлись на замок и сбросили промокшую верхнюю одежду на диван, стоявший в самом центре комнаты перед старинным камином, сложенным из грубых серых камней.

Внутри домик тоже оказался точно таким же, каким он запомнился им с прошлого года. Тяжелые балки под потолком, умело и со вкусом расставленная мебель. Кухня направо, а налево лестница, ведущая на второй этаж к спальням.

— Я пока разберу продукты, — сказала Энни и с видом заправской хозяйки принялась распаковывать сумки.

Бобби согласно кивнул и направился к дровяному сараю.

Энни зашла в кухню и стала методично обследовать шкафы и имевшееся там оборудование. Большинство полок пустовало. Она отыскала лишь банки с солью, сахаром и несколько маленьких коробочек с разными специями. Большая плита была исправна и чисто вымыта. Правда, из холодильника шел неприятный запах оттого, что он долго бездействовал. Энни решила проветрить его и, оставив дверцу открытой, принялась пока разбирать пакеты с продуктами.

— Слушай, а в сарае почему-то дров нет, — растерянно крикнул Бобби, но из-за сильного ветра его голос был едва слышен.

Энни повернула голову.

— Да ты все забыл! — прокричала она в ответ. — Помнишь, агент ведь нам говорил, что дрова лежат внизу, в подвале, в большом ящике.

— Пойду проверю, — отозвался Бобби.

Энни прислушалась. Вот скринула дверь подвала, потом шаги стали удаляться по лестнице вниз, затем послышалось какое-то шуршание, снова шаги — на этот раз приближающиеся. И вдруг полная тишина.

— Эй! — раздался неожиданный окрик сзади.

Энни вздрогнула и обернулась. Бобби улыбался. В руках у него была целая охапка дров.

— Ящик набит ими доверху, — с довольным видом сообщил он.

— Вот и хорошо, — оживилась девушка. — Тогда растопи камин и сними побыстрее этот мокрый свитер, а то заработаешь воспаление легких.

Бобби вышел из кухни, а она принялась хлопать себя ладонями по плечам и бедрам, пытаясь побыстрее согреться. Все ее тело ныло от нестерпимого холода, сырости и пронизывающего сквозняка. И тем не менее Энни была невероятно счастлива. Ведь они сейчас совершенно одни в этом домике, как и тогда, год назад, спустя две недели после их знакомства во время осеннего семестра в колледже. Тогда все казалось ей таким необычным и удивительным! Ведь она, в сущности, впервые жила вдвоем с мужчиной, вдали от родного дома, и знакомы они были всего-то... Но теперь... теперь уже все привычно. Теперь они живут вместе, вместе радуются и горюют и за этот год успели узнать друг друга.

Энни подошла к открытой двери в гостиную и стала наблюдать, как Бобби возится у камина со скомканными газетами и дровами, а потом незаметно подошла к нему сзади и опустилась на колени, обхватив за шею руками.

— Ну, как идут дела? — шепнула она ему в самое ухо.

— Уже почти все готово, — так же тихо ответил Бобби.

Он уложил в камин последнее полено, чиркнул спичкой и поднес ее к смятой газете.

Энни перегнулась через его плечо, схватила лежавшие на полу мехи для раздувки огня и подала их Бобби, не забыв при этом нежно поцеловать его в ухо.

Он коснулся ее руки.

— Я люблю тебя, — тихо произнес юноша.

Отсыревшая бумага нехотя занялась. Бобби раздувал пламя до тех пор, пока нижние поленья не разгорелись как следует. Энни еще сильнее прижалась к его плечу.

— А давай займемся любовью прямо сейчас, — вдруг предложила она.

Бобби виновато улыбнулся.

— Но здесь, по-моему, холоднее, чем на Северном полюсе...

— Ну и что? Зато мы сразу согреемся. Ведь мы займемся этим прямо здесь — перед камином. — Энни лукаво улыбнулась.

— А если кому-нибудь вздумается заглянуть в окно?

— Кому?

— Ну, я не знаю...

— Если кто-то и рискнет отправиться сюда в такую погоду, то он, безусловно, заслужит этим развлечение, которое мы сможем ему предложить.

Они засмеялись. Бобби толкнул Энни на ковер и нежно поцеловал. Резкий сквозняк у пола заставил его поежиться. Он внимательно осмотрел окна, желая еще раз убедиться, что за ними и в самом деле никто не подсматривает, а потом повернул девушку спиной к огню.

— Ты можешь мне кое-что пообещать, если я тебя попрошу? — неожиданно спросила Энни, пристально глядя на него своими огромными зелеными глазами, которые сверкали сейчас, словно изумруды при луне.

— Что же именно?

— Что ты никогда не бросишь меня. И не дашь мне уйти. И не перестанешь меня любить...

Бобби улыбнулся.

— Ну конечно! Я обещаю.

Она положила голову ему на плечо. Монотонный стук дождя по крыше и подоконникам немного успокоил ее. И нежное тепло его большого мягкого тела тоже действовало на нее умиротворяюще. Шум дождя, казалось, начал уходить вдруг куда-то вдаль, затихать, словно грохот барабанов отступающей армии.

И через несколько мгновений Энни уже спала.

Когда она открыла глаза, в камине догорали последние угольки, превращаясь в невесомую белую золу. Девушка зевнула и потянулась. В комнате заметно похолодало, и, если не считать шума дождя, стало как-то неестественно тихо. Она протянула руку, чтобы нащупать в темноте Бобби, но пальцы ткнулись лишь в ворсистую поверхность ковра, на котором они заснули. Энни приподнялась и оглядела комнату. Света нигде не было, и сейчас она находилась здесь совершенно одна. Дрожа от холода, девушка встала и надела юбку и блузку. Застегнув пуговицы на рукавах, Энни пошевелила кочергой остатки углей в камине, но они почти уже не давали тепла. Она проспала, должно быть, не меньше пяти часов. А поскольку они, как помнила Энни, легли где-то в десять, значит, сейчас уже примерно часа три ночи. И крошечная тьма за окнами подтверждала ее предположение.

Энни начала злиться. Выходит, этот негодяй отправился наверх, чтобы поудобней устроиться там в кровати, а ее оставил лежать здесь совсем одну — в холоде, на сквозняке, совершенно голую на полу гостиной!

Девушка встала и щелкнула выключателем настольной лампы. Однако лампа не загорелась. Тогда она попробовала включить верхний свет, но тоже безрезультатно. Может быть, перегорели пробки?

В темноте Энни медленно двинулась к лестнице и, нащупав поручень, стала осторожно подниматься по ней на второй этаж. Деревянные ступеньки отчаянно скрипели под ее ногами. Добравшись до верхней площадки, она щелкнула выключателем в коридоре. Но и там света не было. Тогда она на ощупь отыскала дверь большой спальни и толкнула ее. Никого. И вторая спальня, которая была чуть поменьше, тоже пустовала. Равно как и обе ваннные комнаты.

Произошло что-то страшное. Какое-то несчастье. Она интуитивно почувствовала это. Желудок словно стянуло тугим узлом. На теле выступил холодный пот.

Девушка сбегала по лестнице вниз и, кинувшись к входной двери, схватилась рукой за крючок, на котором Бобби оставил ключи от домика и машины. Крючок был пуст.

— Бобби! — крикнула она, уже чуть не плача.

Ответа не последовало. Только дождь противно барабанил по крыше и окнам. А еще почти осязаемым стало чувство нарастающего ужаса.

Энни распахнула входную дверь, и в лицо ей сразу ударил тугой порыв холодного ветра. Но она все же вышла на крыльцо и с опаской огляделась по сторонам. Туман уже затянул всю поляну и почти растворил силуэт темнеющей на стоянке машины. Но другого выбора не было: девушка шагнула прямо в грязь, медленно добрела до автомобиля и открыла дверцу водителя. Ключей в замке не оказалось. Но что самое страшное: нигде не было видно Бобби! Тогда Энни открыла «бардачок», достала оттуда ручной фонарик, зажгла его и навела тусклый луч на капот мотора. И тут же у нее перехватило дыхание. Капот был приоткрыт, и из-под него на крыло свисали оборванные провода зажигания.

Ужаснувшись при мысли, что нигде поблизости нет телефона, а отправиться вниз пешком при такой буре она физически неспособна, Энни бросилась назад в дом, захлопнула и заперла за собой дверь и стала обшаривать лучом фонаря всю гостиную. Потом еще раз обследовала самые дальние ее углы, надеясь обнаружить хоть какие-то признаки жизни. Но, кроме ее собственной тени, все в комнате оставалось неподвижным. В доме стоял уже нестерпимый холод, а она успела насквозь промокнуть, пока бегала за фонарем. Теперь надо было как можно скорее снова развести в камине огонь.

Энни подбежала к двери в подвал, распахнула ее и бросила опасливый взгляд на шаткую лесенку, ведущую вниз. Потом начала осторожно спускаться, предварительно освещая каждую следующую ступеньку. Она еще раз позвала Бобби, но, как и предполагала, никто не ответил на ее зов.

Подвал служил самым настоящим складом. У дальней стены были кучей свалены сломанные диваны и садовые скамейки. По углам возвышались штабели картонных коробок, в которых хранилась старая кухонная утварь и всевозможная мелкая рухлядь. Огромный ящик для дров стоял под лестницей у самой стены.

Положив фонарь на пол, Энни ухватилась за металлическую скобу на крыше ящика, но та не поддавалась. Тогда девушка нашла какую-то железяку и, используя ее в качестве рычага, поддела тяжелую крышку, налегая на инструмент со всей силой, на которую только была способна. Наконец петли скрипнули и крышка отвалилась к стене. Энни сунула руку внутрь, надеясь сразу же нащупать дрова, но ящик, казалось, был совсем пуст. А ведь Бобби говорил, что он забит дровами до самого верха!

Девушка подняла фонарик и, недоумевая, направила луч внутрь ящика. Там лежал Бобби. Он неестественно скрючился

в самом углу, причем один его глаз был открыт, горло перерезано, а все тело жестоко изрублено.

Содрогаясь от крика и ничего не видя перед собой, Энни бросилась по лестнице вверх, судорожно хватаясь за перила и стены, и луч фонаря запрыгал по бревенчатым стенам домика. На верхней ступеньке она споткнулась, выронила спасительный фонарик, налетела на ручку кресла и беспомощно распласталась на полу. Кое-как поднявшись на ноги, Энни подбежала к входной двери, распахнула ее настежь.

И тут же застыла на пороге как вкопанная, испугавшись до такой степени, что крик, готовый вырваться из ее груди, так и не прозвучал, а вместо этого воздух наполнил болезненный хрип, напоминающий последний вздох смертельно раненного животного.

На крыльце стоял мужчина, и рукава его рубашки были до самых локтей пропитаны кровью. Он был старый и худой. Его запавшие черные глаза источали не оставляющий надежд холод, а длинные грязные волосы в беспорядке спадали на плечи и лицо, покрытое многодневной густой щетиной.

Мужчина смело шагнул внутрь дома и разразился жутким каркающим хохотом.

Энни в ужасе отступила назад.

— Заткнись! — рявкнул он, зверски оскалившись.

Энни тут же схватила настольную лампу и без колебаний швырнула ее в прищельца. Когда шнур лампы стегнул его по лицу, глаза старика налились кровью от ярости.

Отпрыгнув назад, Энни бросилась по лестнице на второй этаж, но снова споткнулась и упала лицом на ступеньки. Лежа, она взглянула наверх и увидела там двух подростков, неторопливо приближающихся к ней с верхней площадки. Они тоже дико скалились в беззвучном злорадном смехе. Каждый держал в руке по огромному ножу.

— Господи! — в отчаянии закричала Энни. — Помогите мне!

Парни подходили все ближе. Энни попятилась, оступилась и скатилась с лестницы на пол гостиной.

Старик резко вздернул ее за волосы, а парни сразу же сорвали с нее юбку и блузку. Энни успела ударить одного из них в пах ногой, но в этот момент старик схватил ее за правую грудь и приставил нож к горлу. А потом несколько раз с силой стукнул кулаком в лицо.

— Проси пощады! — потребовал он.

— Пожалуйста, — взмолилась Энни. — Насилуйте меня, давайте, что хотите, только не убивайте!

Все трое разразились диким, леденящим кровь хохотом. Девушка неожиданно присела и из-под ног старика кинулась к закрытой входной двери. Но дверь оказалась предусмотрительно запертой. На мгновение Энни обернулась и увидела, что все трое медленно подходят к ней с разных сторон. Не раздумывая, она отскочила к окну и выпрыгнула на улицу, тяжело упав лицом на мокрую землю. Вся ее кожа была в глубоких порезах, а некоторые осколки стекла так и застряли в теле угрожающими блестящими занозами. Но она уже не замечала этого. Девушка тут же

вскочила на ноги и понеслась через поляну к опушке леса, с трудом продираясь сквозь молодую поросль.

Энни бежала к главной дороге, на которой они застряли вчера. Она чувствовала, что начинает слабеть от потери крови и почти ничего уже не видит перед собой... Ничего, кроме мягкого света впереди, который возник совершенно неожиданно, как только она взобралась на невысокую каменную стену, внезапно вставшую на ее пути, а потом прыгнула с нее с другой стороны. С каждой секундой свет становился все ярче и, казалось, исходил откуда-то из-за деревьев по ту сторону дороги.

Шаги преследователей вывели ее из временного оцепенения. Энни мельком глянула через плечо. Трое мужчин уже стояли на каменной стене и смотрели вниз, не обращая никакого внимания на проливной дождь. И Энни снова побежала вперед, отчаянно продираясь сквозь густые ветви деревьев. Она бежала к этому яркому свету. Хотя, может быть, он был просто игрой ее воображения... Может, там и нет никакого света, а лишь дьявольский трюк природы, мираж, вызванный ее отчаянием?.. Энни застонала, услышав, как старик окликнул ее по имени. Откуда он мог знать, как ее зовут?

Девушка спустилась в небольшую лощину и снова бросила взгляд в сторону странного молочно-белого зарева. Да, теперь она видела его совершенно ясно. Откинув в сторону несколько тяжелых ветвей, Энни очутилась на небольшой лужайке. Прямо перед собой она увидела сутулую женскую фигуру в одежде монахини. Это от нее исходило удивительное сияние, так манившее девушку. Распухшие глаза старухи были затянuty пеленой катаракты, а кожа пожелтела и сморщилась, как глина на солнце. Тонкие синюшные губы ее беззубого рта были плотно сжаты, а неподвижное восковое лицо обрамляли высохшие седые волосы. Женщина медленно и тяжело дышала, сжимая в руках золотое распятие.

Энни приблизилась к монахине и упала к ее ногам.

Следом на лужайку выбежали трое мужчин, но тут же остановились. Увидев монахиню, подростки немедленно отступили и скрылись в тени деревьев. Однако старик остался. Правда, он выронил нож и, подойдя чуть поближе, начал сильно трястись.

— Я проклинаю тебя, сестра Тереза! — скрипучим голосом выкрикивал он. — И я еще припомню тебе этот день!.. Так и знай: твоя служба скоро закончится. — Он сделал еще шаг вперед. — И тогда мои слуги переступят эти границы. Я, Чарльз Чейзен, говорю тебе, что этот миг уже близок!

Энни прижалась головой к ногам монахини, и вдруг земля рядом разверзлась и задрожала, а глаза девушки заломило от ослепительного яркого света. Все ее тело нестерпимо ныло, в ушах стоял звон, голова раскалывалась. И тут все завертелось у нее перед глазами. Энни пронзительно закричала и закрыла лицо руками.

Но вдруг наступила полная тишина. Девушка медленно подняла голову. Капли дождя падали ей на лицо. Монахиня исчезла. Исчез и старик, назвавшийся Чарльзом Чейзенем. У ее ног лежал только его нож.

Она подняла его и направилась к краю дужайки, бессмысленно глядя перед собой.

Март 1979 года

Стрелки часов на Банко ди Рома приближались к полуночи, когда большой черный «мерседес» выехал из темного переулка на залитую светом Виа дель Тритоне, свернул налево и покатил к Ватикану, пристроившись в среднем ряду за полицейским автобусом.

На заднем сиденье «мерседеса» темнела фигура одинокого пассажира — пожилого монсеньора Гульельмо Франкино. На его лице лежала холодная печать отрешенной замкнутости — результат долгих лет, проведенных в одиночестве, пока он изучал священную историю и богословие под руководством кардинала Луиджи Реджани, возглавлявшего Управление Делами Ватикана и Духовную академию.

Машина проехала мимо церкви Тринита-ден-Монти, затем через площадь Пьяцца-дель-Пополо, пересекла Тибр, въехала на площадь Святого Петра и, наконец, остановилась перед папской резиденцией. Через несколько минут к «мерседесу» подрулила вторая машина. Послышались приглушенные шаги, и вот за стеклом, приветливо улыбаясь, показался сам кардинал Реджани.

Франкино вышел из «мерседеса», и они сердечно обнялись.

— Я боялся, что вы не получите моего послания, — начал Реджани, направляясь к зданию.

— Я получил его сразу же, как только вернулся с озера Комо.

Реджани откаплялся и положил себе в рот маленькую капсулу какого-то лекарства.

— Документы у вас с собой? — осведомился он.

— Да. — Франкино показал ему папки, которые держал в руках.

— А как чувствует себя сестра Анжелина? — продолжал спрашивать кардинал.

— Я постараюсь навестить ее завтра, — ответил его спутник.

Наконец они дошли до массивной двери в самом конце длинного коридора. Реджани нажал кнопку звонка. Через несколько секунд дверь отворилась, и секретарь Папы пригласил их в приемную.

Папа, невзрачный мужчина невысокого роста с правильными римскими чертами лица, сидел за старинным письменным столом неаполитанской работы. Когда секретарь закрыл дверь кабинета, Папа сразу же встал. Франкино и Реджани поприветствовали его, на мгновение преклонив колени, и отступили немного назад, дожидаясь, пока тот усядется в свое массивное кресло.

— Я буду молиться за вас, сын мой, — произнес Папа, пристально глядя на монсеньора Франкино.

— Ваше святейшество... — почтительно ответил Франкино и вежливо поклонился, всем своим видом демонстрируя уважение.

Наступила тишина. Погруженный в свои мысли, Папа подождал жестом Франкино и указал рукой на его папки.

Франкино подал ему первую.

— Здесь сведения о сестре Терезе — Элисон Паркер, — пояснил он почти шепотом.

Папа быстро просмотрел материалы и вернул папку.

— А здесь информация о приемнике, — сказал Франкино, передавая ему вторую папку.

Эти бумаги Папа читал уже более внимательно и наконец выразил свое удовлетворение, коротко кивнув. Затем положил папку на стол и в ожидании откинулся на спинку кресла.

Секретарь открыл шкаф в углу кабинета и достал из него тяжелый фолиант в кожаном переплете, украшенном старинной флорентийской гравюрой. Он не спеша раскрыл книгу, положил ее на стол рядом с папкой и степенно вышел из комнаты, плотно закрыв за собой дверь. Папа надел пенсне и начал читать:

«О Гавриил, внемли Господней воле:

Судьбою предначертано тебе

Блаженный край сей неустанно охранять

От Зла вторженья или приближенья».

«Но горькой вестью полнится мой слух,

И вижу я, что дух из чуждых Небу —

Один из тех, кто проклят и низвергнут, —

Готов подняться вновь из преисподней;

Твоя забота — отыскать его...»

В воображении Франкино заплясали образы, запечатленные на древних гравюрах. Он будто услышал голос самого Гавриила, приказывающего серафимам лететь в Эдем, где они должны найти Сатану, шепчущего на ухо Еве свои гнусные советы.

Украдкой взглянув в маленькое окно кабинета, монсеньор увидел за ним первые признаки зарождающегося утра. А Папа продолжал читать о водворении Сатаны назад, в ад, где тот призвал своих сторонников следовать за ним в новый мир:

«И я, сюда вернувшись, заявляю,

Что вас с успехом поведу вперед

Из этой грязной ямы, ямы ада;

Из проклятого дома, где лишь горе;

Из той темницы, что нам дал тиран...»

К полудню Папа закончил чтение основной части текста. Франкино и Реджани простояли перед ним двенадцать часов. Наконец Папа поднял книгу со стола и зачитал им обращение Всевышнего к своим чадам. Суть его сводилась к тому, что, поскольку человек согрешил в раю, на него возлагается задача впредь самостоятельно защищать сотворенный мир от происков Сатаны. Такую же задачу поставил в свое время архангел Уриил перед архангелом Гавриилом. Но из людей подобные стражи будут выбираться не произвольно, а за совершенный конкретный смертный грех — за попытку самоубийства. Таким образом, эти избранники будут не только охранять царство Господа, но и нести тем самым искупительное наказание за свои личные грехи.

Папа положил книгу на стол и молча указал на входную дверь. Франкино открыл дверь. Вошел секретарь и убрал книгу в шкаф.

Франкино и Реджани поцеловали перстень на руке Папы и, не говоря ни слова, вышли из кабинета. Их шаги гулко отдавались под высокими сводами коридора.

Машина монсеньора Франкино съехала с автострады и направилась по неосвещенной двухрядной дороге к лесистым подножиям Апеннинских гор.

— Синьор,— вдруг произнес водитель, впервые нарушив двухчасовое молчание. Он притормозил и кивнул на дорожный указатель справа. На нем значилось: «Понте-Норте».

Франкино устало оглядел развилку и указал рукой вправо. Шофер послушно свернул и повел машину по крутому горному серпантину.

— Дорога впереди очень узкая,— предупредил священник.— Будьте, пожалуйста, осторожны.

— Синьор! — громко позвал водитель, указывая вперед.

Франкино надел очки, чтобы лучше разглядеть угрюмые очертания аббатства Монтересса, построенного на крошечном плато на вершине горы.

— Подъезжайте к восточному входу,— ответил он и застегнул ясу на все пуговицы.

Машина остановилась перед воротами аббатства.

Франкино взял папки с документами, открыл дверцу лимузина и вышел. Посмотрев вверх, он заметил, что все окна аббатства темны, за исключением одного — на втором этаже.

— Я ненадолго,— предупредил он шофера.

Миновав ворота аббатства, священник перешел двор и поднялся по лестнице на верхнюю галерею. В темноте коридора на втором этаже его ожидала женщина.

— Сестра Анжелина! — воскликнул он и остановился.

— Монсеньор? — Женщина выглядела гораздо старше своих лет. Морщинистая кожа, потрескавшиеся губы... Из-под головного убора выбивались пряди седых волос. Руки были сплошь покрыты желтоватыми склеротическими бляшками. Но с лица не исчезло выражение торжества, и Франкино мог только позавидовать ей. Эта стойкая женщина с честью прошла через все испытания и невзгоды.

— Ты слышала, как подъехала машина? — спросил Франкино.

— Я увидела вас, еще когда вы свернули у Понте-Норте.

— Ты, как всегда, очень наблюдательна, сестра,— улыбнулся священник.

— И вы тоже, святой отец... Пойдемте. Я приготовила чай в своей комнате. Там горит камин и очень уютно...

— Спасибо за гостеприимство.

Старуха провела Франкино в сумрачную келью и, налив две чашки чая, поставила их на незастеленный дощатый стол, расположенный в центре ее убогого жилища. Потом подбросила дров в камин и, отметив, что Франкино неплохо выглядит, сама села рядом.

— Прошло уже так много времени!.. — произнесла Анжелина, отхлебывая чай из фаянсовой чашки.

— Да, очень много, — согласился священник. — Ты хорошо себя чувствуешь?

— Спасибо, неплохо. Правда, меня иногда мучает подагра — случаются обострения... Но я все равно счастлива. Здесь я обрела покой. А ни к чему другому моя душа и не стремится.

— Очень рад слышать это, сестра.

— А вы как, святой отец? Где вы были? И что вам принесли эти годы?

— Большую часть времени я провел в Риме. И в Ватикане, конечно. — Тут его лицо помрачнело. — А остальное время мне пришлось прожить в Нью-Йорке.

— Как чувствует себя сестра Тереза? — поинтересовалась Анжелина.

Франкино вздрогнул и машинально бросил взгляд на папки.

— Достаточно хорошо.

— Да пощадит ее Господь! — вздохнула монахиня.

— И защитит... — неожиданно добавил Франкино.

Анжелина пристально посмотрела на своего гостя.

— Вы ведь проделали немалый путь, чтобы приехать ко мне. И хотя между нами существует давняя дружеская привязанность, мне все же кажется, что такое посещение связано не только со старыми добрыми отношениями...

Франкино вздрогнул.

— Кардинал Реджани передает тебе свое благословение. Старуха кивнула.

— Что же он хочет от меня?

— Только твоей преданности. Искренней любви... и помощи.

— А вы?

— И я прошу о том же.

Она встала, подошла к окну и устремила взгляд в темноту ночи.

— Здесь очень спокойно. И мое место здесь.

Священник озабоченно прикусил нижнюю губу.

— Страж уже отбыл положенное наказание. И Господь Бог коснулся ее своей рукой. Ее служба скоро будет завершена...

— Чейзен не будет ждать. Он принесет смерть, — напомнила Анжелина.

— Но смерть всегда существовала и всегда будет существовать, — вздохнул Франкино.

— Да, я знаю... Но я приехала сюда, чтобы навсегда распрощаться с прошлым. И я считала — как мы и договорились, — что моим единственным вкладом в эту борьбу станет пребывание здесь...

— Разумеется. Я никоим образом не смогу упрекнуть тебя, если ты откажешься. Что ж... Просить человека столкнуться с ним даже один раз — этого уже больше, чем достаточно. Но ведь без тебя мы не сможем устроить суд над ним. И Элисон Паркер без твоей помощи никогда бы не смогла сохранить свою душу и стать благословенной сестрой Терезой... Но если ты вдруг откажешься, то вся цепь преемственности будет нарушена... Ты

ведь всегда искала, как укрепить свою душу. И теперь ты можешь сделать это еще раз...

Анжелина закрыла лицо руками и стала молиться, а затем обратила взор к небу и прислонилась к стене.

— На этот раз... я не смогу, — раздался ее взволнованный голос.

Франкино встал, взял свои папки с бумагами и подал ей.

— Ты должна! — с отчаянием в голосе крикнул он и резко отвернулся, остановив взгляд на мерцающей над столом керосиновой лампе.

Женщина подождала немного, а затем стала медленно листать страницы. Франкино заметил, как сомнение в ее глазах сменяется выражением ужаса, и понял, что смысл этих документов дошел до нее и возымел такое действие, что теперь скорее всего он сможет рассчитывать на ее помощь.

Наконец Анжелина подошла к столу, положила на него папки и открыто посмотрела в глаза священнику.

— Можно мне отказаться? — тихо спросила она.

Франкино в отчаянии сжал кулаки, вздохнул и ответил:

— Конечно.

— И что вы обо мне подумаете?

— Может быть, мне покажется, что твоя вера и преданность Иисусу Христу несколько ослабели. И все же я смогу понять тебя и поэтому прощу.

— А если я скажу «да»?

— Я подумаю, что ты безумна. Но все равно благословлю тебя.

— Хорошо, я приду, — твердо произнесла Анжелина. — Что я должна делать?

— Тебе придется поехать в Нью-Йорк, остановиться в Управлении епархии и ждать, пока я не прибуду туда же.

— Как я могла забыть, что вы прекрасно владеете даром убеждения, монсеньор!

— Нет, Анжелина, это не я смог тебя убедить. Ты сама убедила себя. Ведь я не открыл в твоём сердце ничего нового. Я лишь простой смертный, а не Господь Бог.

— Верно... вы простой смертный, — согласилась Анжелина. — Но зато какой сильный! Я должна вернуться в Рим вместе с вами?

— Нет. Я вернусь один. А во вторник за тобой приедет машина.

Кивнув в знак согласия, сестра расправила складки на одежде и с тоскливой задумчивостью произнесла:

— Вот уже пятнадцать лет я не покидала этих мест. И думала прожить здесь до самой смерти, целиком посвятив себя служению Богу. Я надеялась, что в конце концов смогу заслужить Его прощение. Он отпустит мне все грехи... И все же я чувствовала, что в один прекрасный день вы появитесь и заберете меня отсюда.

Франкино как бы ненароком взглянул на часы.

— Прости, мне уже пора ехать. Не надо меня провожать.

— Но мне очень хочется проводить вас.

Он помог ей подняться и пошел следом по длинному коридору.

Они вышли за ворота аббатства и приблизились к автомобилю. Услышав шаги, шофер открыл дверцу машины и сразу же сел за руль.

Франкино окинул прощальным взглядом аббатство, а потом посмотрел на сестру Анжелину.

— Увидимся в Риме, — через силу улыбнулся он.

— Если так будет угодно Господу Богу, — тихо ответила старая женщина.

Анжелина повернула назад в аббатство, моля Бога лишь о том, чтобы Он дал ей силы и указал верный путь. Все эти годы она надеялась, что ей не придется больше покидать это святое место и вспоминать о том, что случилось тогда в Нью-Йорке... Об Элисон Паркер... Но сейчас ей почему-то особенно ярко вспомнилось, как она впервые увидела эту девушку. В тот день Элисон вошла в контору по аренде жилья и обратилась к ней, ссылаясь на газетное объявление. Для Анжелины это оказалось весьма мучительным. Ведь ей пришлось выдавать себя за агента по недвижимости Джоан Логан. Анжелина вспомнила долгие часы слезки за Элисон и все прочее, что пришлось предпринять, лишь бы это юное создание не поддавалось сатанинской воле Чарльза Чейзена. Теперь все должно повториться. И участвовать в этой страшной цепи событий опять предстоит именно ей.

Она вошла в свою келью и села у окна, чтобы собраться с мыслями и окончательно обдумать свое решение.

Внезапно тишину разорвал пронзительный писк.

Женщина вздрогнула и обернулась. В комнате что-то двигалось. Похолодев от испуга, она схватила лампу и стала освещать ею погруженные в тень углы кельи, пытаясь определить, кто таится в этой уже пугающей темноте. И вдруг она вскрикнула и отскочила к дальней стене. Рядом со столом восседала огромная крыса. Таких Анжелине видеть еще не приходилось. Ее глаза светились яростью, как раскаленные угли. Крыса поднялась и вышла в полосу света. Анжелина протянула руку к камину за увесистым медным чайником. Но крыса медленно приближалась, будто не замечала никакой угрозы со стороны женщины.

И тут послышался новый писк. А потом еще и еще. На подоконник вспрыгнула вторая крыса, за ней третья. А самая большая уже сидела в углу кровати. Вдруг, как по команде, все четыре твари двинулись на женщину, хищно лязгая челюстями. Анжелина швырнула чайник в самую крупную, но промахнулась. Охваченная ужасом, она бросила лампу и кинулась к двери. Одна из крыс тут же вцепилась зубами ей в ногу и вырвала большой кусок мяса. Женщина вскрикнула, распахнула дверь и замерла на пороге.

В коридоре притаилось еще несколько крыс, а на площадке лестницы и выступах стен их было и того больше.

Снизу и сзади женщина слышала, как скребут по каменному полу их маленькие острые коготки. А выглянув из окна коридора во двор, увидела, что к подножию лестницы приближается целая армия хвостатых чудовищ.

— Боже милостивый! — закричала Анжелина, чувствуя, как набухают вены у нее на висках.

Крысы стали прыгать на нее одна за другой. В отчаянии Анжелина даже не пыталась отбиться от них, а медленно шла по коридору к лестнице, стремясь пробраться во двор к часовне. Минуту спустя она уже скользила рукой по перилам, чтобы второпях не споткнуться и не полететь кубарем вниз по крутым ступеням. Но когда в конце лестницы она обернулась, одна крыса изловчилась и прыгнула ей прямо в лицо, успев при этом впиться когтями в щеки. Женщина схватила зверька и, рванув прочь от лица, с рыданием упала на влажную землю. Тут же вторая крыса вонзила ей зубы в бедро.

С большим трудом Анжелине удалось встать на ноги, но вскоре она снова упала и теперь уже на коленях поползла к часовне, оставляя за собой страшный кровавый след. От заливающей глаза крови она почти ничего не видела, но все же, напрягая зрение, сумела заметить дверь часовни футах в двенадцати впереди. Возле самой часовни Анжелине удалось еще раз подняться на ноги. И тогда сотни тварей с остервенением набросились на нее. Задышавшись, из последних сил она стала открывать тугой тяжелый засов, навалившись на него всем своим весом. Наконец, засов поддался, и дверь с громким скрипом нехотя отворилась. В тот же миг Анжелина без чувств свалилась на каменный пол часовни.

Лунный свет заиграл на белом мраморном распятии над головой старой женщины, а крысы с адским визгом забились в страшных конвульсиях.

Монсеньор Франкино уже бежал по двору, позабыв закрыть за собой входную калитку. Весь двор аббатства был буквально завален тысячами крысиных телец, бившихся в предсмертной агонии. Франкино нашел на земле толстую палку и принялся с остервенением добывать ею проклятых тварей. Те из них, кто еще оставался в живых, огрызаясь, набрасывались на священника, сбиваясь в грязные кучи у его ног.

Продолжая размахивать своей палкой, он направился вверх по лестнице, громко зовя сестру Анжелину. Но ответа не было. С трудом пробиваясь через полчища серых тварей, он добрался, наконец, до верхней площадки. Весь коридор был покрыт трупами мерзких животных. Некоторые еще хрипло дышали. Франкино двинулся назад, к открытой кем-то двери часовни, и с опаской заглянул внутрь.

Распластанная в луже крови на полу под распятием сестра Анжелина застонала и слегка повернула голову. На ее теле лежала четкая тень от креста, висевшего над входом в часовню. Жизнь едва теплилась в старой женщине. Она попыталась что-то сказать, но изо рта лишь вытекла струйка жидкой слюны. Франкино прочел над ней прощальную молитву и приподнял голову бедной женщины.

— Я виноват, — с трудом сдерживая слезы, проговорил он. — Я знал, что тебе грозит опасность, и не должен был уходить.

Он почувствовал, как по телу монахини пробежала предсмертная судорога, опустил ее голову и расстегнул воротник сутаны. На шее сестры Анжелины не было нательного креста.

«Прости меня», — мысленно произнес старый священник

и нежно коснулся пальцами ее холодеющего лба. После чего вышел из комнаты, спустился по лестнице и, на секунду остановившись во дворе, ударом каблука прикончил одну из оставшихся в живых крыс. Взглянув в ее остекленевшие глаза, он посебезнел. Лицо его выражало решимость.

— Итак, начинается? — произнес Франкино с вызовом в голосе. — Начинается.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

— Ну, как тебе? — спросил Бен Бэрдет, повернувшись перед зеркалом в просторной каюте.

Фэй Бэрдет поднялась с дивана.

— Застегни пиджак, — ответила она, окинув мужа критическим взглядом.

Он застегнул смокинг на среднюю пуговицу и встал прямо, опустив руки по швам.

Фэй пригладила его атласные лацканы, проверила, нет ли складок на рубашке, и поправила галстук, который чуть-чуть сбился вправо.

— Вот теперь, милый, ты выглядишь просто на миллион долларов! — прошептала она.

Фэй поцеловала мужа и присела к туалетному столику, чтобы закончить свой макияж и проверить, нет ли каких изъянов в одежде. На ней были черно-серый брючный ансамбль и черная шелковая блузка. Стоя за спиной жены, Бен снова оглядел себя в зеркале и одобрительно кивнул. Потом повернулся и склонился над кроватью их восьмимесячного сына, продолжая расправлять складки на своей нарядной рубашке.

— Ну, а что ты скажешь, Джон? — спросил Бен сынишку.

Джон с благодушной улыбкой посмотрел на отца и зашлепал ручонками по матрасу. Бен ласково поцеловал его и сел на диван, ожидая, пока жена наконец закончит свой туалет.

Наконец Фэй отвернулась от зеркала и весело улыбнулась, отчего ямочки на ее щеках проступили еще сильнее.

— Который час? — спросила она.

Бен приподнял рукав рубашки и нажал кнопку цифровых наручных часов.

— Без десяти восемь, — сообщил он.

Фэй бросила нетерпеливый взгляд на дверь каюты.

— Мисс Иверсон может появиться в любую секунду, — заволновалась она.

— Не надо быть такой нетерпеливой, — нравоучительно произнес Бен.

Через двадцать минут пришла няня — симпатичная тридцатипятилетняя женщина, которая в дневное время работала в музыкальном салоне теплохода. Из-за путаницы с поясным временем она опоздала на целых полчаса. И теперь, по ее милости, супруги Бэрдеты, конечно же, опоздают к началу и пропустят самые вкусные закуски и пару коктейлей.

Когда они вышли из кормовой двери коридора «Б» на главную палубу, теплоход делал плавный вираж. Супруги направились

к главному ресторану. Сейчас на палубе было прохладней, чем в прежние вечера. Оно и понятно, ведь они уже покинули тропики. Через открытую дверь главного ресторана было видно, как гости поспешно усаживаются за банкетные столы. Ресторан был шикарно украшен, будто в канун Рождества. С потолка свисали вьющиеся ленты яркого серпантина и гирлянды разноцветных шаров. На эстраде играл оркестр из десяти музыкантов.

— Эй, — окликнул супругу Бен, торопясь к буфетной стойке. Фэй повернулась к нему с набитым икрой ртом.

— Кажется, мы еще успеем поесть. Пошли-ка!

— Хорошо-хорошо. — Фэй облизала пальцы и глотнула шампанского из бокала, который успела где-то подхватить и теперь держала в руке.

Банкет закончился в половине двенадцатого. И хотя большинство пассажиров осталось в ресторанном зале, Фэй и Бен решили сменить обстановку и отправились в кают-компанию — небольшое помещение на носу теплохода, — чтобы выпить по бокалу вина.

Отец Джеймс Макгвайр поджидал их там, стоя у бара и потягивая через соломинку легкий коктейль.

— Святой отец! — радостно воскликнул Бен, подойдя к стойке.

Священник отставил бокал и тепло обнял обоих Бэрдетов по очереди.

— Если бы вы знали, как нам не хватало вас на банкете! — вздохнула Фэй, откидывая со лба непослушную прядь волос и обворожительно улыбаясь. Ей нравилось в отце Макгвайре буквально все: и очертания подбородка, и добрые голубые глаза, и классические ирландские черты лица.

— Я должен извиниться перед вами, — застенчиво произнес священник и повел их к ближайшему свободному столику, не забыв прихватить свой недопитый бокал. — Конечно, мне очень не хотелось пропускать такое захватывающее мероприятие, но, трезво все взвесив, я понял, что если уж решил закончить здесь свой богословский трактат, то должен все-таки остаться в каюте и как следует поработать. — И он снова улыбнулся.

— Что вы, не нужно никаких извинений! — поспешно остановил его Бен. — Мы же понимаем...

— Конечно, — согласилась с мужем Фэй и нежно коснулась руки отца Макгвайра. — Все равно мы рады, что смогли встретиться с вами в этом уютном салоне за бокалом легкого вина.

Вскоре кают-компания начала понемногу заполняться и другими пассажирами. Бен направился к стойке бара и вскоре вернулся с двумя бокалами.

— Ну, а теперь рассказывайте, как прошел банкет, — улыбнулся Макгвайр, поудобнее усаживаясь на своем стуле.

— Превосходно! — отозвался Бен и начал подробно описывать все, что подавали на стол. При этом он не забыл добавить, что отсутствие священника на приеме сделало его не таким интересным, как рассчитывали Бэрдеты.

С самого начала круиза получилось так, что у Бена и Фэй не оказалось общих интересов с соседями по столику в ресторане. Поэтому Бен был несказанно счастлив, когда на второй же день

за их стол посадили вместо молчаливой и угрюмой четы из Биллингса отца Макгвайра. Этот священник, как вскоре выяснилось, преподавал в Нью-Йоркской католической духовной семинарии и оказался умнейшим человеком и прекрасным собеседником. Отец Макгвайр посвящал свободное время сочинению пространных теологических трактатов, а Бен пока что приступил к своей первой книге — это был довольно занятый политический роман, как считали сам Бен и его супруга. Что касается Фэй, то она работала в рекламном агентстве и по роду деятельности могла помочь им обоим.

— Ну, а пока вы развлекались в ресторане, я оставался в своей каюте и могу уверить, что обслуживание сегодня было не очень навязчивым, — шутливо заметил отец Макгвайр, как только Бен закончил свой длиннющий монолог о диковинных яствах. — А впрочем, это, наверное, и к лучшему. Ведь вместо того, чтобы терять попусту время, улаживая свою плоть, я посвятил себя работе и теперь могу с уверенностью сказать, что сегодня остался собою доволен.

— А я вот что хочу сказать вам, святой отец, — начал Бен, обнимая Фэй. — Вы заставляете меня испытывать чувство вины. Священник удивленно вскинул брови.

— Вот у меня, например, почему-то за целых две недели не нашлось времени, чтобы написать хоть одно предложение для своего романа, а вы успели закончить целый трактат!

— Бен, не забывайте, что вы пишете художественную прозу... Вы создаете литературные образы, выдумываете новые идеи... А все это очень сложно.

— Что касается той книги, над которой работаю я, то, по сути дела, это обычная макулатура!

Фэй склонилась к Бену и нежно поцеловала его в щеку, поспешив успокоить мужа:

— Милый, я думаю, что твоя книга тоже многим понравится. Отец Макгвайр согласно кивнул.

— Я уже говорил вам, Бен, и готов повторить еще раз: если хотя бы половина писателей занялась тем же, что пишу я, то мир литературы сразу стал бы скучным и бедным. Развлекать книгами не менее важно, чем поучать ими и просвещать. Верно?

— Вы оба так добры ко мне, — растрогался Бен, потягивая ликер и робко глядя на священника и Фэй. Затем наклонился вперед и зашептал на ухо священнику: — Мы с Фэй хотим, чтобы вы знали, насколько нам дороги ваша дружба и внимание, святой отец. И говорю я это вовсе не потому, что наше путешествие подходит к концу, а при прощании люди просто привыкли делать друг другу комплименты... Нет, это идет от чистого сердца.

Слушая его, Макгвайр вдруг почувствовал, что воротничок сутаны неожиданно начал сдавливать ему шею. Он был вынужден ослабить его рукой.

— Тогда позвольте и мне вас заверить, что эти чувства взаимны, — ответил священник. — Оглядываясь на проведенные вместе дни, мы можем только поблагодарить супругов из штата Монтана, что они попросили пересадить их за другой стол. Ведь именно этот случай и свел нас вместе.

— А я и не знала, что они сами попросились за другой столик! — удивилась Фэй, прикуривая сигарету.

— Я вообще-то не до конца в этом уверен, — быстро поправился священник. — Но мне помнится, кто-то говорил, что это было именно так.

— Странно. — Бен задумался, а потом добавил: — Может быть, их не устраивало расположение стола или просто захотелось сменить обстановку?.. «Пожалуй, не стоит продолжать эту тему», — подумал Бен, все еще сомневаясь и размышляя над словами священника. Но внезапно его охватило сильное любопытство. Официант, обслуживающий их столик, говорил, что священник сам попросился к ним в соседи и велел ему узнать, не согласится ли кто-нибудь пересесть так, чтобы освободить место именно за семнадцатым столиком. Странно... Но если официант не жлет, почему Макгвайр так уверенно и обстоятельно утверждает обратное?.. Зачем ему все это? Непонятно...

Его размышления были прерваны веселым смехом и шутками Фэй. Она что-то рассказывала священнику, и оба они от души хохотали. Наконец Фэй направилась к бару, чтобы заказать себе еще ликера. В общей сложности к часу ночи она выпила уже целых четыре порции, и Бен, к своему неудовольствию, отметил, что жена стала выглядеть немного подавленной.

— Милая, как ты себя чувствуешь? Может быть, тебе стало плохо? — поинтересовался он и многозначительно подмигнул отцу Макгвайру.

— Нет-нет, все в порядке. — Фэй постаралась выпрямиться и улыбнулась.

Бен посмотрел на часы.

— Может быть, нам всем лучше выйти сейчас на палубу? — предложил он.

— Ну, разумеется! — поддержал Макгвайр, поднимаясь из-за стола. Вместе с Беном они с обеих сторон подхватили Фэй под руки и помогли ей выбраться на палубу.

Теплоход мерно покачивался, и они втроем двинулись в обход палубы, на всякий случай придерживаясь за поручни.

— Ну что ж, — улыбнулся Макгвайр, остановившись у коридора «Б». — Встретимся утром на палубе перед бассейном. Идет?

— В восемь? — уточнил Бен.

— Да. — Макгвайр наклонился и довольно бесцеремонно, как показалось Бену, обнял Фэй. — А теперь желаю вам доброй ночи. И поцелуйте за меня Джои.

— Непременно, — улыбнулась Фэй. — И вам спокойной ночи, святой отец.

— Всего хорошего, Фэй. — Он кивнул и пожал руку Бена. — Ну, до утра.

Отец Макгвайр повернулся и уверенной походкой зашагал по палубе.

— А теперь, дорогая, тебе пора спать, — сказал Бен и многозначительно посмотрел на супругу.

Фэй громко икнула и, пошатываясь, вошла в каюту.

Бену снился какой-то волнующий сон, отчего он даже метался в постели, но, проснувшись, так и не смог вспомнить, что ему

привиделось в эту ночь. Посмотрев на часы, он удивился: была всего лишь половина пятого. Тогда он повернулся на другой бок и немного поерзал на мягком матрасе в надежде устроиться поудобней, чтобы снова заснуть. Рядом спала Фэй. Голова ее буквально утопала в подушках, а одеяло сбилось в ногах. Бен приподнялся, вытащил одеяло из-под ног жены и натянул часть его на себя. Что-то мешало ему и не давало успокоиться. В тот самый сладкий момент, когда Бен начал проваливаться в забытие, он вдруг отчетливо услышал, как медленно поворачивается ручка во входной двери их каюты. Кто-то явно пытался проникнуть внутрь.

В тот же миг Бен вскочил на ноги, накинул халат и, резко распахнув дверь, вылетел в коридор.

Но там никого уже не было.

Тогда он решил прогуляться по палубе и направился на бак корабля, надеясь встретить там заплывавшего незнакомца. Затем обогнул бассейн на носу судна, зашагал назад вдоль другого борта и вдруг заметил вдали чью-то фигуру, тут же скрывающуюся в двери за музыкальным салоном.

Бен кинулся вперед вдоль правого борта к тому месту, где только что исчезла подозрительная фигура. Но очень скоро, устав от быстрого бега, прислонился к перилам наружного ограждения, жадно хватая ртом свежий океанский воздух. Он стоял так в оцепенении несколько минут, лихорадочно соображая, кто это мог быть и куда он, черт возьми, делся. Руки его заметно дрожали. Наконец Бен выругался про себя и решил, что после неудачной погони самое время вернуться в каюту и заснуть.

Проходя через верхнюю палубу, он вдруг заметил возле шлюпок мужчину. Подойдя немного поближе, он с удивлением обнаружил, что это отец Макгвайр, задумчиво созерцающий пурпурное рассветное небо.

Вздрагнув от неожиданности, Бен приблизился к своему приятелю.

— Отец Макгвайр!

— Бен! Неужели это вы? Что вы тут делаете в такую рань?

— Я мог бы задать вам точно такой же вопрос.

— Видите ли, я никак не мог заснуть, — спокойно объяснил Макгвайр. — А воздух здесь такой свежий! Вот я и решил подышать напоследок, прогуляться по палубе, подумать о жизни...

— Понятно, — с подозрением в голосе констатировал Бен.

Макгвайр как ни в чем не бывало тронул его за плечо.

— Мой друг, мне кажется, вы чем-то расстроены. И дышите как-то тяжело... Что-нибудь случилось?

— Да, мне пришлось сейчас совершить небольшую пробежку.

— Я не совсем понимаю, — насторожился священник. — Расскажите толком, в чем дело.

Бен кивнул и сразу же посерьезнел.

— Только что, буквально несколько минут назад, кто-то пытался проникнуть в нашу каюту.

Казалось, Макгвайр был поражен не меньше самого Бена.

— Я проснулся и сперва услышал шаги, — продолжал тот. — А потом ручка в двери начала медленно поворачиваться, словно кто-то хотел незаметно пробраться внутрь. Я моментально выскочил в коридор, и — поверите? — там никого не было!.. Тогда я прошелся по палубе и вскоре заметил убегающего мужчину. Но едва я бросился вслед за этим незванным гостем, он как будто сквозь землю провалился. А когда, отчаявшись, я решил возвратиться, то заметил здесь вас...

— Н: деюсь, вы не думаете, что этим ночным грабителем был я? — н: смурился Макгвайр.

— Ну что вы! Конечно, нет. Ни в коем случае.

Макгвайр улыбнулся и с облегчением вздохнул.

— Хотя у меня на всякий случай есть алиби: как вы видите, я совсем не запыхался и поэтому не подхожу на роль вашего таинственного беглеца. Ведь ему, наверное, тоже пришлось изрядно поработать ногами...

Бен устало прислонился к перилам и не мигая уставился на корабельные трубы, из которых в небо поднимался легкий дымок.

— Черт побери! — пробормотал он, все еще с волнением думая об этом странном случае. — Но ведь кто-то же пытался открыть мою дверь!.. Во всяком случае, чего бы ни хотел добиться этот негодяй, ему это не удалось. Так что, по большому счету, все в порядке, верно? — Он тронул священника за руку. — Еще раз прошу прощения, что побеспокоил вас, святой отец.

— Ничего страшного, Бен, — примирительно ответил Макгвайр. — Все уже позади.

Бен спустился на нижнюю палубу и по коридору «Б» направился к своей каюте. Еще издали он заметил, что на ручке двери каюты что-то висит. Подойдя ближе, он от изумления раскрыл рот. Это было распятие.

Бен осторожно снял его и взял в руки. Крест оказался довольно большим, высотой около двенадцати дюймов, и очень тяжелым, так как был сделан из какого-то темного блестящего металла.

Войдя в каюту, Бен скинул халат и бросил распятие на диван, потом проверил, крепко ли спит сынишка, и улегся в кровать. Фэй спала и, очевидно, за все это время ни разу не проснулась.

Бен намотал цепочку от креста на ладонь и в задумчивости поднял его перед собой, тут же почувствовав, как по спине пробежал неприятный холодок. Его томило какое-то необъяснимое предчувствие. Вроде бы ничего особенного не произошло... Но в то же время теперь что-то терзало его и не давало окончательно успокоиться.

Наконец Бен положил распятие под подушку и, повернувшись на бок, решил забыть о нем хотя бы на пару часов.

Отец Макгвайр внимательно осмотрел распятие, засмеялся и вернул его вконец растерявшемуся Бену.

— Вы знаете, я тоже не могу представить, кто и зачем мог оставить его на вашей двери, — признался он. — Но мне почему-то кажется, что не стоит особенно мучиться из-за этого, теряться в догадках или тем более строить всякие невероятные теории.

Забудьте об этом. Просто по воле случая вы стали обладателем чудесного распятия. Так пусть же Господь Бог отныне всегда улыбается вам. — Он дружески похлопал Бена по спине.

Бен подозрительно посмотрел на священника и, покачав головой, сунул распятие в сумку с детским питанием. Как раз в это время к ним подошел носильщик и сообщил, что багаж отца Макгвайра благополучно прошел таможенный досмотр и его уже можно получать.

— Скажите, а вы сообщили о своей находке жене? — поинтересовался Макгвайр.

— О распятии? Разумеется! — сразу же оживился Бен, оглянулся и помахал Фэй рукой. Она стояла немного поодаль и с улыбкой подошла к мужу, держа на руках ребенка.

— У нас все готово, — радостно сообщила она. — Носильщики уже сносят багаж на берег.

Бен удовлетворенно кивнул и взял сынишку на руки.

— Ну, что скажете, святой отец? — спросил он и поднес мальчика почти к самому своему лицу. — Мы с ним похожи как две капли воды, а?

Макгвайр внимательно посмотрел на Бена, потом на Фэй и, наконец, на малыша.

— Только глаза, — безапелляционно заявил он. — А в остальном — вылитая Фэй. Кстати, я вам уже говорил об этом. У вашего сына поразительное сходство с матерью. Может быть, подвести вас до дома? — предложил священник, когда они подошли к выходу с пирса. — Из семинарии за мной послали машину.

— Нет, спасибо, святой отец, — поблагодарил его Бен. — За нами обещал заехать один из друзей.

Они вышли на улицу к тротуару.

Фэй еще раз спросила священника, что он думает по поводу таинственного распятия, но тот лишь весело рассмеялся. А потом вполне серьезно пояснил, что само по себе оно никакого значения не имеет и лучше всего не думать о нем слишком много. Это не более чем сувенир.

— Но оно почему-то внушает мне страх, — пожаловалась Фэй. — Может быть, лучше его выбросить?

Макгвайр задумался, медленно кивая головой.

— Я могу познать ваши чувства, — протянул он.

Фэй с тревогой посмотрела на Бена, но он лишь улыбнулся ей в ответ и пожал плечами.

— Ну ладно, дорогая. Раз тебе не по душе держать его дома, я его сегодня же выкину. А еще лучше — подарю какой-нибудь больнице при католической церкви, где ему, по-моему, самое место.

К тротуару подъехал лимузин за священником. Из машины тут же выскочил шофер, уложил в багажник чемоданы и открыл для Макгвайра заднюю дверь. Сам Макгвайр в это время обсуждал с Бэрдетами планы будущей встречи, а потом обнял маленького Джозефа и ласково улыбнулся ему.

— Я буду скучать без вас, — с искренней грустью сказал он, — и с нетерпением ждать вашего звонка, как условились.

— Я уверен, что долго ждать вам не придется, — заверил его Бен.

Священник сел в лимузин и на прощание помахал им рукой из заднего окошка.

Бэрдеты, улыбнувшись, замахали ему в ответ, а когда машина отъехала, вернулись к своим чемоданам.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Машину Сорренсона не узнать было невозможно, и Бэрдеты заметили ее еще издали. К ним приближался «де-сото» 1956 года выпуска. Этот невероятный «дредноут» обогнул угол и направился к ним, изрыгая клубы черного дыма и грохота, как железный сейф, набитый столовым серебром. Но самым замечательным было то, что остатки правого крыла свободно трепыхались по ветру, издавая оглушительный ритмичный лязг. За рулем подпрыгивала седовласая голова самого владельца этой диковинной колымаги — Джона Сорренсона. Руками он отчаянно сжимал руль, а сам пристально следил за дорогой. Это зрелище развеселило Бэрдетов, однако смех их был вполне дружелюбным. Теперь, когда цены на ремонт автомобилей безбожно подскочили и положение все больше усугублялось инфляцией, Джон Сорренсон, первая виолончель Нью-Йоркской филармонии, каким-то чудом все же ухитрился содержать такой антиквариат, выкраивая на это деньги из своего скромного бюджета. Наконец машина со скрежетом остановилась, и из нее буквально вывалился радостный Сорренсон.

— Чертова калоша! — сердито пробормотал он, шутя замахнувшись на автомобиль. — Сломалась как раз в самом подходящем месте — на 48-й улице.

— Правда? — расстроилась Фэй, подходя ближе с малышом на руках.

Бен начал грузить чемоданы в багажник.

Погрузка не заняла много времени, и уже через пару минут они ехали по 12-й улице.

— Ну, а теперь вы должны мне подробно все рассказать. Как вам понравилось путешествие, что вы видели интересного, где побывали? — потребовал Сорренсон.

Бен повернулся к жене и взял у нее малыша.

— Мне очень жаль, что все это время вас не было с нами, — начала Фэй и оборвала себя на полуслове, услышав сзади выстрел из выхлопной трубы. — Поездка оказалась на редкость увлекательной. Это просто фантастика!

— А я вам что говорил! Я и не сомневался, что вам понравится! — радостно воскликнул Сорренсон, оглядев супругов с отеческой гордостью.

— Да, вы оказались правы, — поддержал его Бен, неожиданно вспомнив, что именно Сорренсон посоветовал им совершить океанский круиз, когда они обсуждали проблему отдыха. — Вы знаете, мы с Фэй тут подумали и решили на будущий год снова отправиться на теплоходе по тому же маршруту, — добавил Бен и загадочно улыбнулся.

— Да-да, именно так, — подхватила Фэй, заметив его улыбку и решив тоже сделать старику приятное.

— Вы серьезно? Ну это просто великолепно! — Сорренсон был очень польщен, что сумел выбрать для супругов такой замечательный способ отдыха.

— Все было идеально, — продолжала Фэй. — Особенно погода и солнце.

— Я уж вижу, как вы «поджарились», — улыбнулся Сорренсон. — Оба просто чудесно выглядите. А ты, Бен, вообще исключительно! Я прямо слов не нахожу.

Фэй, улыбнувшись, незаметно толкнула мужа локтем в бок.

Сорренсон откашлялся и обрушил на них целый поток вопросов. В ответ супруги, возбужденно перебивая друг друга, начали с восхищением рассказывать о своем отдыхе. Наконец, улучив момент, когда старик замешкался с очередным «а дальше?», Фэй опередила его и сама поинтересовалась, чем он сам занимался в их отсутствие в течение целых двух недель.

— У меня все по-прежнему, — вздохнул Сорренсон, сворачивая на Бродвей и задев при этом край тротуара 74-й улицы. — Сначала несколько концертов Баха подряд, потом постоянные репетиции с квартетом — мы уже готовимся к летнему сезону... А еще успели записать пластинку. Я надеюсь, что вы сегодня будете в числе первых ее слушателей, потому что в честь вашего возвращения решил организовать вечеринку. Будут наши общие друзья. Как вы на это смотрите?

От неожиданности Бен чуть не поперхнулся. Ведь он рассчитывал сегодня пораньше лечь спать. Но, так как именно Сорренсон посоветовал им ехать в этот круиз, а теперь еще встретил и успел уже пригласить всех друзей, ни о каком отказе не могло быть и речи.

— Ну и как они поживают? — спросил Бен, уже заметив их дом номер 69 по 89-й улице.

— Слава Богу, все живы-здоровы, — ответил Сорренсон, не сводя глаз с дороги. — А вчера Макс и Грейс Вудбриджи даже давали обед по случаю того, что Макс наконец-то начал собственное дело. Поставки сантехники или что-то в этом роде — я и сам толком не разобрался.

— А как Ральф Дженкинс? Уже вернулся из Европы? — подавала голос Фэй.

Сорренсон кивнул.

— Да, несколько дней назад. Я, кстати, случайно встретил его в холле и сообщил, что вы сегодня возвращаетесь из круиза, а я в вашу честь устраиваю вечеринку. И пригласил его. А вы же знаете, каков он, этот самый Ральф Дженкинс?..

— Не совсем, — уклончиво ответил Бен, не понимая, на что именно намекает старик. Дело в том, что Дженкинс перебрался на их этаж всего лишь три месяца назад, и соседям пока не представлялось случая узнать друг друга поближе. К тому же Ральф был членом правления Международного Общества античного искусства, и по делам службы ему частенько приходилось ездить в Европу.

— О, это такой парень! — воскликнул Сорренсон. — Вы только

намекайте ему, что устраивается вечеринка, обед или просто будут давать коктейли, — и вы обязательно встретите его там.

Еще несколько минут Сорренсон медленно катил по улице, а потом свернул в боковой проезд и поставил машину под навес у десятиэтажного дома, в котором прожил уже целых двенадцать лет.

С помощью привратника Бен перетащил чемоданы в лифт. Следом в кабину вошли Сорренсон и Фэй с ребенком, и все вместе поехали на десятый этаж.

Квартира Сорренсона находилась сразу слева от лифта, а Бэрдеты жили напротив, по другую сторону холла. Всего в южном крыле здания на их этаже располагалось восемь квартир: кроме Бэрдетов и Сорренсона, здесь жили Лу Петросевич, Ральф Дженкинс, Дэниэл Батилль, мистер и миссис Вудбридж, еще в одной квартире обитали сразу две секретарши, а последнюю занимала пожилая монахиня, которую, правда, никто ни разу не видел, потому что она никогда не выходила из комнаты даже в коридор.

Войдя в комнату Бэрдетов, все тут же направились в прямоугольную гостиную, которая плавно переходила в столовую и заканчивалась просторной кухней. Бен не забыл дать привратнику чаевые, а потом перетащил весь багаж по коридору в спальню. Фэй зажгла верхний свет.

— Неужели за две недели может накопиться столько пыли? — изумилась она, проведя ладонью по мебели.

— А ты как думала? — усмехнулся вернувшийся из спальни Бен. — Хорошо, что не больше. Здесь еще сравнительно чисто!..

Сорренсон согласно кивнул и напомнил, что если бы ему дали ключи и разрешили время от времени приходить сюда протирать пыль, то сейчас квартира была бы в идеальном порядке.

— Я понимаю вас, Джон, — улыбнулась Фэй. — Но если бы мы разрешили вам делать для нас все, что вы предлагали, то у вас наверняка не осталось бы времени для репетиций в оркестре.

— Ну, в моем возрасте тратить время уже особенно не на что, — важно объявил Сорренсон и сел рядом с Беном.

Бен дружески похлопал его по руке.

— Я ни за что не проболтаюсь об этом остальным членам вашего квартета, — доверительно сказал он.

— Да говорите им все, что заблагорассудится, Бен. Я разрешаю.

Бен и Сорренсон закурили сигары, а Фэй в это время уложила ребенка, потом быстро приготовила кофе и вернулась в гостиную с подносом. Сорренсон предупредил ее, что ровно в час он должен ехать на очередную репетицию.

— Тогда у вас остается ровно полчаса на то, чтобы посмотреть наши фотографии, — сообщила Фэй.

— Как? Вы уже успели проявить пленки?

— Нет. У нас был с собой «поляроид».

Пока они рассматривали снимки и восхищались чудными видами южных стран, стрелка часов приблизилась к половине второго. Заметив это, Сорренсон вскочил с дивана, но на прощание не забыл дать указания относительно предстоящего вечера:

— Не вздумайте надевать никаких вечерних нарядов. У нас все будет по-домашнему. Кое-какая закуска, выпивка и, разумеется, музыка. Ровно в девять часов. И попрошу не опаздывать! А то получится очень неудобно, если почетные гости появятся в тот момент, когда остальные уже все съедят.

Бен и Фэй проводили его до двери.

— Джон, неужели мы хоть раз к вам опаздывали? — укоризненно покачала головой Фэй.

— Нет... Но это с каждым может случиться.

Фэй поцеловала Сорренсона в морщинистую щеку и поправила его свитер, чтобы он сидел на плечах поровнее.

— Как же я все-таки рад, что вы вернулись, — признался старик.

— Возвращаться всегда приятно, — улыбнулся ему Бен. — Особенно когда знаешь, что тебя ждут верные друзья.

Сорренсон залился краской и поспешил к лифту.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Ральф Дженкинс рассказывал гостям о всяких забавных случаях из своей европейской поездки, когда Джон Сорренсон открыл дверь и сообщил, что наконец-то явились виновники торжества — Бен и Фэй.

— Вы опоздали на целых полчаса! — с упреком произнес он и осуждающе покачал головой.

— Простите нас, — виновато опустила глаза Фэй. — Но мы с Беном прилегли буквально на минутку и тут же заснули... Да так, что не услышали даже будильника.

Сорренсон ничего не смог возразить против такого чистосердечного признания.

— Что же тут удивительного? — примирительно улыбнулся Дженкинс, поправляя очки с толстыми бифокальными стеклами. — Люди только что вернулись из утомительного двухнедельного путешествия, и вы хотите, чтобы они в первый же вечер, не отдохнув как следует, резвились и прыгали, переполненные энергией?

— И правда, Джон, — заступился за Бэрдетов Макс Вудбридж. — А потом, если бы им и в самом деле захотелось опоздать немного, так ведь это же их исконное право...

— Но вы ведь знаете... — начал Сорренсон.

— Ничего я не знаю и не желаю знать, — перебила старика Грейс Вудбридж.

Сорренсон только покачал головой, поправил галстук и засмеялся, признавая свое полное поражение.

— Не хотите ли вина? — предложил Бену и Фэй Дэниэл Батилль, высоко подняв вверх обе руки, в которых держал по бутылке.

— Мне белого, — сказала Фэй. — А тебе тоже? — Бен согласно кивнул. — Тогда два бокала белого.

Батилль учился на юридическом факультете, а по вечерам подрабатывал барменом и сейчас с профессиональной ловкостью наполнил супругам бокалы.

— Вино и музыка! — объявил Сорренсон, направляясь к проигрывателю.

— Поставьте что-нибудь мелодичное, — попросила одна из соседок-секретарш.

— Есть как раз такая пластинка. — Сорренсон отыскал ее среди груды других на диване и поставил на диск проигрывателя, переключив скорость вращения на сорок пять оборотов в минуту. — Это ранний Синатра! — с гордостью сообщил он.

— А кто такой Синатра? — тут же спросила вторая секретарша с выражением искреннего недоумения на лице.

Все засмеялись и начали наперебой предлагать тосты, а потом разбрелись по гостиной, уставленной разномастной мебелью, множеством безделушек и разным старьем, купленным, разумеется, на распродажах. Смех постепенно становился все громче.

— Вы, кажется, недавно побывали в Европе? — обратился Бен к Ральфу Дженкинсу.

— Да. Это была деловая поездка... — Дженкинсу стукнуло уже шестьдесят, но он до сих пор не смог отделаться ни от официальной манеры разговаривать, ни от легкого акцента, который, правда, Бен никак не мог определить. Сам Дженкинс утверждал, что он родом из Баварии, но его акцент почему-то не походил на немецкий.

— Мои коллеги и я, — продолжал Дженкинс, — начали работу в Англии, а заканчивать поиски пришлось в Стамбуле. Мы пытались обнаружить какие-либо предметы старины, относящиеся к периоду правления династии Бурбонов, но, увы, не нашли ничего интересного. Однако нам удалось собрать кое-какую информацию о том, в каком направлении следует продолжать наши поиски, и уж в следующем месяце, когда мне снова придется ехать в Европу, я уверен, что сразу выйду на нужный след. Нет сомнений.

— Выходит, эта поездка все-таки не принесла вам стопроцентного разочарования?

— Что вы! Конечно, нет. К тому же я рад любому случаю побывать в Европе просто потому, что это чудесная возможность посмотреть мир, приобрести себе новых друзей...

Бен улыбнулся.

— Что ж, Ральф, такие путешествия, как я вижу, идут вам на пользу: вы прекрасно выглядите.

— И вы тоже, — не замедлил ответить Дженкинс. — Но, знаете, дома все равно лучше. Кроме того, мне сейчас предстоит масса работы: надо написать статью для журнала «Лейдиз хоум джорнел» и начать наконец книгу об искусстве золотого века. А как подвигается ваш собственный роман?

— Ужасно.

— Вот как?

— Да. Представляете, во время круиза я не написал ни единой строчки!

Тут из кухни появился Сорренсон, неся в руках огромное блюдо со всевозможными бутербродами, которые тут же начал предлагать всем подряд, и гости охотно разобрали их за считанные секунды. Бен и Дженкинс подошли к окну. Дженкинс задумчиво посмотрел на улицу и надолго замолчал.

— Ну и что вы думаете по поводу этой стройки? — наконец спросил он после затянувшейся паузы.

Бен тоже выглянул в окно. Прямо напротив их дома был вырыт глубокий прямоугольный котлован, обнесенный деревянным забором. Он видел его и раньше, но не интересовался стройкой, считая, что здесь скорее всего вырастет очередной многоэтажный жилой дом.

— А что здесь будет? — насторожился Бен.

— Как? Вы разве не знаете?

— Нет. Откуда мне знать?

— А, по-моему, я как раз перед вашим отъездом говорил об этом.

— Ни слова, смею вас уверить.

Дженкинс понимающе кивнул.

— Ну, тогда слушайте. Управление нью-йоркской епархии решило выстроить здесь новый кафедральный собор.

В эту минуту к ним присоединились Дэниэл Батилья и Джон Сорренсон.

— Мы говорим о соборе святого Симона, — пояснил Дженкинс. — Кстати, очень многие, живущие по соседству, не выражают радости по этому поводу.

— Да. И я — один из них, — со всей прямотой заявил Сорренсон. — Я не желаю, чтобы шпиль собора загораживал вид из моего окна.

— А может быть, стоит что-нибудь предпринять, чтобы помешать строительству? — без особой уверенности предложил Бен.

Но Дженкинс только грустно покачал головой.

— Видите ли, незадолго до того, как отправиться по делам в Европу, я уже пытался кое-что выяснить. Для этого я связался с канцелярией архиепископа, но все оказалось пустой тратой времени. Потом я справился об этом строительстве у городских властей, и мне любезно ответили, что епархия действует в соответствии с существующим законодательством. Тогда я стал наводить всевозможные справки в Налоговом Управлении и только там сумел выяснить, что эта земля была передана Церкви еще пятьдесят лет назад. Причем не только тот участок, где возводится сейчас этот собор, но и весь прилегающий квартал, включая землю, на которой стоит наш с вами дом. — Он замолчал и оглядел окружающих, ожидая их реакции. Все молчали. Тогда Дженкинс продолжил: — Кроме всего прочего, я обнаружил также, что корпорация «Эквити», которой мы платим ренту, принадлежит... Кому бы вы думали? Правильно. Католической церкви. Причем на все сто процентов.

— Как? Наш с вами дом принадлежит Церкви? — изумился Сорренсон.

— Да, — простодушно улыбнулся Дженкинс.

— Мне это совсем не по душе, — признался старик.

— Интересно, что же вы теперь собираетесь делать? — усмехнулся Бен. — Немедленно съезжать отсюда?

— Пока не знаю, — вздохнул Сорренсон. — Но только все это начинает мне серьезно не нравиться.

— Джон! — вступил в разговор Макс Вудбридж. — Вы не

понимаете своего счастья. Ведь может статься, что это и есть единственный путь к спасению. Предположим, мы останемся здесь. А когда наступит наш черед покидать этот мир, мы просто войдем в лифт и отправимся на нем прямо в рай!

— Не вижу здесь ничего смешного! — вспыхнул Сорренсон.

— А может быть, этот факт и объясняет, почему на нашем этаже в квартире 10-С живет эта таинственная подруга? — предположил Батилья.

— Не исключено, — кивнул Дженкинс, подхватывая эту тему.

Конечно, должна быть какая-то связь между Церковью и монахиней, которую Церковь содержит. Тут все вполне логично.

— Мне рассказывали, — начала Грейс Вудбридж, — что эта монахиня была схвачена коммунистами во время венгерских событий в 1956 году. Тогда она служила в Будапештской епархии, но большую часть своего времени посвящала организации антикоммунистических выступлений. И, как только в Венгрию ввели советские войска, она была арестована КГБ и подвергнута жестоким пыткам. Тогда Ватикан начал переговоры о ее освобождении, и вскоре монахиня оказалась здесь. На родине ее до сих пор помнят как мученицу. — Грейс выдержала паузу и покачала головой. — Но КГБ окончательно подорвал ее здоровье. И теперь она полностью парализована, ничего не слышит, не видит и не говорит. Она навечно прикована к своему стулу у окна комнаты.

— Неужели все это правда? — ужаснулся Бен.

Грейс неопределенно пожала плечами.

— Я не могу гарантировать на сто процентов, но именно так мне рассказывали.

— Интересно, кто же? — осведомился Дженкинс.

— Иммигрант из Венгрии, Ян Надь. Он жил здесь на пятом этаже, помните? Так вот он сказал, что поддерживал связь с этой монахиней, когда пытался выехать в Америку.

— Занятная история, — подытожил Сорренсон. — Правда, я не стал бы особенно верить подобным рассказам.

— Отчего же? — удивился Ральф Дженкинс.

— Да оттого, что Ян Надь был душевнобольным. Или, попросту говоря, психом. Он страдал шизофренией и мог напелсти черт-те что.

Дженкинс загадочно улыбнулся.

— Старая монахиня. Парализованная, слепая, глухая, немая. Сидит у окна в своей комнате. Не двигается, никогда не выходит за пределы квартиры. И никто ее не навещает. Я уверен, что и в менее просвещенном обществе, чем наше, такая личность породила бы самые невероятные слухи или даже легенды. Еще один граф Дракула. Вернее на этот раз уже графиня. Звучит вполне интригующе.

Фэй забю обхватила плечи руками. Ее начала бить мелкая дрожь.

— Ральф... От ваших слов у меня просто мурашки по всему телу.

— Да что вы, Фэй! Успокойтесь. Я ведь просто фантазирую.

А на самом деле уверен, что она всего-навсего симпатичная пожилая дама.

— Симпатичная дама? — Сорренсон скептически покачал головой. — Что-то я в этом сильно сомневаюсь... И еще мне почему-то кажется, что нам надо постараться выяснить поточнее, кто она такая и что из себя представляет.

Фэй бросила на него встревоженный взгляд.

— Джон, я думаю, всем будет лучше, если мы как можно скорее забудем о ней.

— А почему, собственно? — с вызовом хмыкнул Бен.

— Не знаю. Просто у меня такое предчувствие... С тех пор, как мы сюда переехали, я изо всех сил стараюсь забыть, что по соседству с нами живет монахиня и наша спальня находится как раз за стеной ее комнаты. Меня это всегда нервировало. И вот еще что, Бен, когда мы вернулись сегодня утром, я ощутила на себе ее взгляд. Я никогда не чувствовала этого раньше и не знаю, что сегодня произошло, но я явно ощущала на себе ее взгляд!

Дженкинс включил в гостиной еще одну лампу, чтобы стало повеселее, и бодро произнес:

— Знаете что, друзья? Я думаю, нам давно пора сменить тему разговора.

— Неплохая мысль, — поддержал его Бен. — Надеюсь, присутствующих еще не успела до конца захватить идея начать охоту на ведьм. Но ведь старая монахиня жила в доме уже очень долго, и за это время ничего плохого в здании не случилось. Поэтому никому и в голову не приходило, что с ней может быть связано что-то зловещее.

Сорренсон подошел к проигрывателю и поставил новый диск с записью его струнного квартета. И квартира, в которой воцарилась было напряженная тишина, вновь наполнилась звуками жизни.

Бен подошел к Дженкинсу, который по-прежнему с отрешенным видом стоял у окна.

— О чем замечались? — окликнул его Бен. И тут же заметил, что из другого конца комнаты за ними с любопытством наблюдает Фэй.

Дженкинс неожиданно чихнул и, как бы возвращаясь в реальный мир, потер переносицу пальцем.

— Да так... Я просто думал... — нехотя отозвался он.

— О чем же?

— Об этой монахине. И еще о словах вашей жены. Действительно, может быть, для всех будет лучше забыть о ней и оставить ее в покое.

— Фэй просто напугана этой старой бабой, как маленькая!

Дженкинс через силу улыбнулся.

— Да, я с вами согласен. Она напугана. И все же права.

Бен прижался лбом к холодному оконному стеклу. Фэй. Батиль. Сорренсон. Грейс Вудбридж. А теперь еще Дженкинс... И все эти милые образованные люди верят в какую-то чертовщину. Непостижимо!..

— Мне кажется, я начинаю сходить с ума,— неожиданно заявила Фэй, складывая приготовленное для стирки белье в проволочную тележку.

— Что-нибудь случилось? Ты нездорова? — заволновался Бен.

— Да нет. Может быть, я и не совсем еще спятила,— поспешила успокоить его жена.— Но тем не менее... Не кажется ли тебе, что все происходящее вокруг нас носит какой-то таинственный характер? — Фэй опустила на диван рядом с мужем.— Неужели ты думаешь, что все это так — совпадение, простая случайность? Я имею в виду, что католическая церковь вдруг начала дышать нам прямо в затылок, а?

— Что-то я перестаю улавливать ход твоих мыслей,— нахмурился Бен.

— Ну, послушай. Сначала мы встречаемся на теплоходе с отцом Макгвайром. Далее. Среди ночи ты просыпаешься и находишь на двери нашей каюты оставленное кем-то расписание... Ладно, тут еще можно допустить, что все это случайность. Но вот мы возвращаемся домой и вдруг обнаруживаем, что именно католическая епархия не только владеет всей землей вокруг нашего дома, но ей принадлежит даже наш дом! И, разумеется, в нем живет таинственная монахиня... Послушай, Бен, уж не слишком ли много совпадений?.. Тебе это не приходило в голову?

Бен скривился, застонал и тяжело поднялся с дивана.

— Что ни говори, дорогая, а все это действительно совпадения. И ничего больше. Я, конечно, не прочь поболтать с соседями, пофантазировать, послушать о чудесах, творящихся прямо у тебя за окном... Но давай не будем ввязываться во всю эту чушь, договорились?

— Ну, Бен, пожалуйста!.. — взмолилась Фэй.

— Родная моя, мы только что вернулись домой после длительной поездки. И если честно, то сегодня нам вообще не надо было ходить ни на какие вечеринки. А сейчас я уже настолько вымотался, что мечтаю побыстрее растянуться на кровати и «вырубиться» часов на десять.

Он пристально посмотрел на жену, и та обиженно прикусила губу. Бен же, взглянув на часы, вдруг забеспокоился.

— Эй, дорогая! Уже почти двенадцать. Если ты собираешься стирать сегодня, я бы посоветовал тебе немного поторопиться.

— Хорошо-хорошо, я уже лечу,— кротко кивнула Фэй.

— Может, ты хочешь, чтобы я помог тебе? — спросил Бен усталым голосом. Фэй сразу же поняла, что ему ужасно не хочется куда-либо идти.

— Нет, не надо. Я сама управлюсь.— Фэй схватила тележку с бельем, выкатила ее в холл и, вызвав лифт, стала нетерпеливо поглядывать на световое табло над дверью. Ей казалось, что цифры на нем меняются слишком медленно.

«Черт бы побрал этого Бена! — с раздражением думала она.— Он стал просто невыносим в последнее время. Особенно когда узнал обо всех этих совпадениях».

Наконец кабина поднялась на этаж, и створки дверей с мерзким гулом разбегались в стороны. Фэй вкатила тележку внутрь и нажала крайнюю кнопку. Лифт послушно двинулся вниз.

Слышались лишь унылое гудение мотора и шум воздуха в узкой бетонной шахте. Потом кабина замедлила движение и плавно остановилась. Дверцы открылись, и Фэй очутилась в коридоре подвального этажа здания, облицованного темными плитками из прессованного шлака.

Комната, где находилась прачечная-автомат, как назло, была в самом конце коридора, за темным поворотом возле лестницы в холл. Впереди Фэй отчетливо слышала рев большого газового котла, снабжающего дом горячей водой. Сзади захлопнулись створки лифта, и кабина начала подниматься — видно, кто-то уже успел вызвать лифт с верхнего этажа.

Фэй медленно двинулась по подвальному коридору к прачечной, всеми силами заставляя себя не волноваться. Это место она по-настоящему ненавидела. Но что поделать — стиркой надо было заняться немедленно. Ведь если ждать до утра, то все стиральные машины будут заняты «ранними пташками», которых в доме было великое множество.

И тут до ушей женщины донесся какой-то необычный звук. Словно кто-то двигался там, впереди. Или это ее воображение играет с ней злые шутки?.. Нет. Вот еще. Ну, значит, это еще одна домохозяйка, спешащая постирать на ночь глядя. Фэй остановилась, прислушалась и опасно огляделась вокруг.

Никого.

— Эй, там! — крикнула она, проходя мимо закрытой каморки дворника.

Но ей ответило лишь гулкое эхо. Других голосов не последовало.

— Есть тут кто-нибудь? — переспросила Фэй, стараясь, чтобы голос звучал твердо. Но в ответ услышала лишь собственное тяжелое дыхание.

Вроде все тихо. Причин для волнения никаких. Она приблизилась к повороту. Теперь перед ней находилась комната с электрическим компактором для прессовки мусора, а дальше — прачечная, над дверью которой всегда горела красная лампочка.

Черт побери!.. Внезапно тележка с бельем показалась Фэй такой тяжелой, словно ее нагроулили кирпичами. Ноги стали ватными и потеряли всякую чувствительность, как при параличе. Она сделала еще несколько нетвердых шагов по коридору и в тревожном замешательстве остановилась. Перед самой комнаткой с прессом для мусора на полу коридора темнело какое-то странное пятно. От ужаса Фэй померещилось, что пятно растет на глазах. Но все же она пересилила себя, подошла ближе и наклонилась над ним. Это была кровь, густая струйка которой вытекала из-под дверцы компактора.

Ей захотелось сию же секунду бросить все и сломя голову бежать к лифту. Но как она могла это сделать? Ведь там наверняка кто-то ранен. И скорее всего довольно серьезно. Возможно, он по нелепой случайности попал под пресс и теперь не может сам выбраться. Фэй потянула за ручку дверцы и открыла ее. Внутри было темно.

— Здесь есть кто-нибудь? — дрожащим голосом спросила она.

Ответа не последовало. Фэй нащупала на стене выключатель

и повернула пластмассовую рукоятку. Над серым железным бункером зажглась лампочка, и Фэй, осторожно заглянув внутрь, издала пронзительный вопль. Но крик сразу же оборвался: горячий воздух обжег ей легкие, а кожа на теле начала морщиться и чернеть от нестерпимого жара.

— Какого черта? — недовольно пробурчал Бен, с трудом разлепив веки и окинув взглядом темную спальню.

Кто-то бешено колотил в дверь их квартиры и срывающимся криком звал его по имени.

— Иду. Уже иду, — вздохнул Бен. «Этот чертов идвот, кто бы он ни был, чего доброго, еще разбудит и ребенка, и Фэй. Она ведь должна уже вернуться... А если нет?..» — Эй, там, полегче! Погодите немного.

Он наспех накинул рубашку и вышел в прихожую.

— Ну, что там еще стряслось? — недовольно спросил он, отодвигая щеколду, чтобы выпустить странного ночного посетителя. И тут же вытаращил глаза от испуга. — Джо! Что случилось?! Да не молчите же вы!

В квартиру нетвердой походкой вошел привратник Джо Бирок, держа на руках обмякшее тело Фэй. Она была без сознания. В лице ни кровинки, губы синие.

— Мистер Бэрдет! Боже мой!..

Бен тут же перехватил жену и уложил на диван.

— Фэй... — Он похлопал ее по щекам. — Фэй, милая!

В ответ женщина пробормотала что-то невнятное. Бирок открыл в гостиной оба окна, чтобы дать приток свежего ночного воздуха.

— Так что там произошло? — выкрикнул Бен, а сам уже рванулся в кухню, схватил полотенце, намочил его холодной водой и, прибежав назад, тут же положил его на лоб жене.

— Ох, мистер Бэрдет... — дрожащим голосом еле слышно говорил Джо. — Я и сам еще точно не знаю, но только там, в подвале, случилось что-то ужасное... — Он замолчал, а потом неожиданно разрыдался.

Бен грубо схватил его за воротник и хорошенько потряс, желая быстрее закончить эту истерику.

— Да возьмите же себя в руки, черт побери! — Все это уже начинало надоедать Бену, и, тряхнув старика для профилактики еще раз, он толкнул его на диван.

— Сейчас же выкладывайте все, что вам известно! Что там, в подвале?

Бирок схватился обеими руками за голову, пытаясь побыстрее успокоиться и сосредоточиться, и несколько раз глубоко вздохнул.

— Понимаете, я дежурил у входной двери... И вдруг открывается лифт, а оттуда буквально вылетает миссис Бэрдет и пронзительно кричит. Потом она еще что-то бормотала, но довольно бессвязно. Я так ничего и не смог разобрать... Но по обрывкам ее фраз я понял, что в подвале дома находится труп. Тогда я оста-

вил ее у двери, на первом этаже, с мистером Специо — он из квартиры 3-Н, — а сам взял фонарь, прихватил из шкафа дубинку и отправился вниз.

— Ну и что же там оказалось? — Бен и сам уже начинал терять хладнокровие.

— Тело, мистер Бэрдет. И кровь. Много крови!.. В компакторе. О Боже мой! Боже мой...

— Вы уже звонили в полицию?

— Нет.

Бен взял ладонь Фэй в свою, продолжая другой рукой аккуратно прижимать полотенце к ее лбу.

— А «скорую помощь» вызвали?

Старик лишь отрицательно и беспомощно замотал головой.

Руки у Бена сильно тряслись, и телефонный диск несколько раз срывался, так что приходилось набирать заново. Наконец он услышал голос оператора на том конце провода и попросил связать его с полицией. Повторив в трубку все, что минуту назад услышал от Бирока, Бен вернулся назад к Фэй.

Она лежала на диване, раскинув руки, и сильно дрожала.

Бен сел рядом с ней, тихонько поглаживая ее руку, и стал ждать.

В квартире 10-С почти не было мебели. Лишь у окна в гостиной стоял один стул. Дверь квартиры была заперта на три замка. Свет не горел. На стуле сидела монахиня, сестра Тереза. В руках она сжимала золотое распятие. В обычное время старуха была совершенно неподвижна, но сейчас ее корчило, и все тело сводили судороги. Черты лица были искажены до неузнаваемости, а волнение все росло и росло с каждой минутой.

Потому что в этот момент совсем рядом был Чарльз Чейзен.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Старший инспектор Джейк Бурштейн из Манхэттенского отдела по расследованию убийств чувствовал, что его желудок стягивается в тугую комок. По роду службы он повидал немало трупов, но то, что сейчас предстало его взору, было поистине отвратительным. Все тело сожжено, а затем спрессовано в компакторе, как мешок с мусором. Каким-то чудом осталась нетронутой только правая рука. Она нелепо торчала из-под пресса и была обуглена до костей. Череп был сильно помят, хотя и не раздроблен полностью. Торс трупа представлял собой чудовищный обрубок горелого мяса. Ноги обожжены до черноты, кости раздроблены.

Бурштейн, только что прибывший на место происшествия, расстегнул мокрый от дождя плащ и внимательно осмотрел тесную каморку. Она была совсем крошечной — не больше десяти футов на семь, стены покрывала облицовка из шлакоцементной плитки. На полу он сразу же заметил свежую кровь. Струйка липкой багровой жидкости все еще вытекала из-под двери стального бункера.

— Кто обнаружил тело? — спросил он у своего помощника, прибывшего на десять минут раньше с бригадой экспертов.

— Женщина с десятого этажа, — ответил сержант Уосо.

— Кто такая?

— Некая Фэй Бэрдет. — Уосо на всякий случай заглянул в блокнот, с которым никогда не расставался. — Нам позвонил ее муж. А еще тело видел привратник по фамилии Бирок.

Бурштейн аккуратно обошел криминалиста из полицейского Управления Нью-Йорка, который тщательно осматривал пол в поисках каких-либо следов, а потом подошел к группе людей, изучающих бункер компактора при свете единственной лампочки, подвешенной к потолку.

— Кто здесь старший? — первым делом осведомился он.

Мужчина, стоявший ближе всех к агрегату, кивнул и представился.

— Есть какие-нибудь следы, отпечатки пальцев? — поинтересовался инспектор.

— Пока никаких.

Бурштейн достал из кармана зубочистку и принялся задумчиво ковырять ею в зубах.

— Когда произошло убийство? — процедил он через пару минут.

— Точно мы еще не можем сказать, но, разумеется, не очень давно. Мы не обнаружили признаков разложения. Думаю, он встретил свою смерть этим вечером.

— Он? — удивился Уосо.

— Да. Судбно-медицинский эксперт заявил, что, судя по останкам половых органов, в этом можно не сомневаться.

Бурштейн кивнул и тяжело вздохнул. Приторный запах горелой плоти чувствовался везде и усугублялся отсутствием вентиляции в комнате. Инспектор вытер рукавом лоб и устало прислонился к стене. Он был высок, строен и лыс, отчего его гладко выбритое лицо казалось каким-то слишком уж мягким.

— Так сколько же времени понадобится, чтобы опознать тело? — поинтересовался он.

— Трудно сказать. Но скорее всего мы вообще никогда не сможем его опознать, — ответил хмурый криминалист.

— Как прикажете вас понимать? — изумился Бурштейн. — Снимите отпечатки пальцев, проверьте по зубам, наконец!

В комнату вошел медэксперт с сигаретой в зубах и как бы нехотя поднял руку трупа, показывая ее инспектору. Кончики пальцев на обгорелой руке были срезаны.

— Тут не с чего снимать отпечатки пальцев, понимаете? И все зубы тоже предусмотрительно удалены.

Бурштейн некоторое время смотрел на страшную скрюченную руку, а потом отвел эксперта в сторонку.

— Мы сейчас прочедем весь подвал в поисках недостающих частей трупа. Я имею в виду кончики пальцев и зубы. Но, может быть, вам удастся еще как-нибудь опознать тело? Вдруг имеются какие-то шрамы, татуировки, ну, и так далее. Поработайте над этим, я вас очень прошу.

— Послушайте, инспектор, не обманывайте себя. Если на теле

бедолаги и были при жизни какие-то шрамы, родинки или другие особые приметы, то теперь уж ничего не осталось, можете не сомневаться.

Расстроенный Бурштейн повернулся к Уосо.

— Где сейчас привратник и женщина?

— Наверху, в ее квартире, — ответил помощник.

В сопровождении Уосо Бурштейн вышел в мрачный коридор подвала. Сейчас тут сновало множество полицейских и сотрудников экспертных бюро.

Управляющий домом, пуэрториканец по фамилии Васкес, сидел на табуретке возле закрытой дворничкой. Бурштейн представился и тут же осыпал его градом вопросов. Васкес четко перечислил ему всех служащих дома, подробно объяснил обязанности каждого, а потом рассказал, как собирается и прессуется мусор. Большая часть работы выполняется утром. В это время мусор, который за ночь накапливается в шахте мусоропровода, прессуется в компакторе дворником, упаковывается в полиэтиленовую пленку и добавляется к тем мешкам, что были собраны за предыдущий день, а потом выносится наружу, чтобы его забрали мусоросборщики. В течение дня дворник еще несколько раз заходит в эту комнатку, однако после шести вечера здесь не бывает никто.

— Ну, и какие у тебя имеются соображения? — спросил Бурштейн Уосо, направляясь с ним к лифту.

Сержант уныло покачал головой.

— Ума не приложу, с чего тут можно начать.

— Да уж, действительно. Утешительная новость, — усмехнулся инспектор.

— Меня зовут Джейк Бурштейн. Я старший инспектор манхэттенского отдела по расследованию убийств, — официально представился он, оглядев мрачные лица собравшихся в комнате.

— Бен Бэрдет, — назвал себя Бен, а потом представил Джо Бирока, Ральфа Дженкинса и Джона Сорренсона.

— Это вы сообщили об убийстве? — спросил инспектор.

— Да.

Бурштейн не спеша прошелся по комнате, с видимым равнодушием оглядывая обстановку. Уосо остался возле двери. Сорренсон присел на диван и расстегнул воротничок рубашки. Дженкинс последовал его примеру.

— Где ваша жена? — наконец обратился инспектор к Бену.

— Сейчас она в спальне. Мне пришлось дать ей три таблетки валиума — это сильное успокоительное, его прописал врач. Понимаете, она была в шоковом состоянии... Я позвонил доктору, и он предупредил, что ее пока нельзя будить, тем более о чем-либо расспрашивать.

Бурштейн понимающе кивнул.

— А доктор не сказал вам, когда она сможет со мной побеседовать?

— Нет, — коротко ответил Бен.

— Понятно. — Инспектор подошел к дивану, на котором расположились Дженкинс и Сорренсон.

— Скажите, был ли кто-нибудь из вас здесь в тот момент, когда мистер Бирок принес в квартиру миссис Бэрдет?

Оба отрицательно покачали головами.

— Мы пришли сюда позже, чтобы помочь, если понадобится, — пояснил Сорренсон.

Бурштейн сел рядом с Бироком.

— Как вы себя чувствуете? — спросил он.

— Хорошо, сэр. То есть довольно сносно.

— Послушайте, а нельзя ли отложить все это до утра? — начиная раздражаться, спросил Бен, подойдя к сидящим.

— Прощу прощения, — усмехнулся инспектор, — но если бы убийца имел хоть каплю уважения к нашему с вами спокойному сну, то он, несомненно, подождал бы до утра со своей расправой. Однако он, как видите, ждать не стал. Поэтому, к моему глубочайшему сожалению, я тоже не могу ждать. Итак, мистер Бирок, я хочу, чтобы вы рассказали мне все, что здесь произошло. И по возможности поподробнее.

Бирок описал по порядку все события этой страшной ночи. Бурштейн внимательно слушал, а Уосо делал заметки в своем блокноте. Когда Бирок умолк, Бурштейн поправил носовой платок, аккуратно вложенный в нагрудный карман его спортивного пиджака, и начал бесцельно прохаживаться перед диваном, бросая взгляды то на Бена, то на Бирока, то на Дженкинса с Сорренсоном и вызывая у них тем самым вполне естественное раздражение.

Подумав о чем-то пару минут, инспектор снова заговорил:

— Итак, мистер Бирок, вы сообщили мне, что компактор выключается ровно в шесть часов вечера.

— Да, сэр.

— И кто же его выключает?

— Я, сэр. Вчера вечером я тоже выключил его в шесть. Вернее в четверть седьмого.

Бурштейн сел на ручку дивана.

— А в это время в подвале был еще кто-нибудь, вы не заметили?

— Нет, сэр.

— А не могли бы вы сказать, после вас кто-нибудь еще заходил в подвал?

— Я не знаю. Но в прачечной, конечно, было несколько женщин. А потом, там ведь есть еще черный ход — через него обычно выносят велосипеды. Так что днем внизу всегда находят люди, господин инспектор.

Бурштейн повернулся к Бену, который все это время не сводил с него глаз.

— Так почему же ваша жена так поздно оказалась в коридоре подвала?

— Она хотела заложить белье в стиральную машину, чтобы вернуться за ним утром. Впрочем, она часто так поступает. Как и многие другие жильцы нашего дома. В этом нет ничего странного, уверяю вас.

Бурштейн недоуменно вскинул брови.

— А разве я сказал, что это странно? Мистер Бэрдет, я не считаю, что ваша жена имеет непосредственное отношение к убийству. Мне бы такое даже в голову не пришло.

Бен понимающе кивнул.

Бурштейн улыбнулся и снова обратил свое внимание на при-
вратника.

— Мистер Бирок, имеются ли в этом доме жильцы, вызываю-
щие у вас подозрение? Ну, может быть, некоторые иногда совер-
шают нечто такое, что выходит за рамки нормального поведе-
ния...

Бирок глубоко задумался и вздохнул.

— Нет. Я не могу назвать никого, кто вызывал бы желание
сразу показать на него пальцем. Хотя, знаете, в любом большом
здании вроде нашего всегда есть сумасшедшие... Например,
мистер Крэм с четвертого этажа имеет привычку часами разго-
варивать со своим английским бульдогом. А у миссис Шварц
с седьмого просто отвратительный характер...

Но его тут же прервал Сорренсон:

— Я живу в этом доме с тех пор, как его выстроили, и знаю
все обо всех, кто здесь жил и живет сейчас. Могу с уверенностью
сказать, что искать тут убийцу не имеет смысла. Бен, вы со мной
не согласны?

Тот утвердительно кивнул головой.

— Кто бы это ни сделал, он — человек со стороны, — добавил
Бен.

— Позвольте мне самому делать выводы, мистер Бэрдет, —
довольно резко заметил Бурштейн.

— Послушайте, инспектор, мне не нравится ваш тон, — вне-
запно заявил Дженкинс. — Я полагаю, никто из нас не имеет
отношения к этому делу. А вы ведете себя так, будто мы и есть
ваши главные подозреваемые...

— Прошу прощения, но я с вами не согласен, — учтиво улыб-
нулся ему Бурштейн. — Видите ли, в силу специфики моей
работы с этого самого момента каждый из вас, к сожалению,
находится под подозрением. Это, я надеюсь, понятно?

Ему никто не ответил.

— Есть тут одна вещь... — вдруг неуверенно произнес Бен.

— Какая же? — мгновенно отреагировал полицейский.

— Ну... Я, правда, не знаю, как это может вам помочь... И все
же...

— Ну, говорите же! — не отставал от него инспектор.

Бен шагнул вперед.

— Дело вот в чем... В нашем доме живет одна монахиня —
здесь, в соседней квартире. Правда, ничего особенного в ней нет,
как, впрочем, и во всех остальных жильцах дома. Но есть одно
странное обстоятельство. Вчера вечером мы с друзьями собира-
лись в квартире мистера Сорренсона, и внезапно эта старуха
стала главной темой нашего разговора. Хотя лично с ней никто
из нас не знаком, а просто каждый слышал какие-то сплетни,
слухи... Но я еще раз хочу повторить, что не знаю, каким
образом она может быть замешана в этом деле... Мне говорили,
что она полностью парализована, глуха, нема и слепа.

Лицо Бурштейна по-прежнему оставалось непроницаемым, но Бен сразу почувствовал, что его монолог задел полицейского, и теперь тот о чем-то напряженно думает.

— А как зовут эту монахиню? — как бы между прочим осведомился инспектор.

— Не знаю, — пожал плечами Бен. — Хотя этого, наверное, не знает никто...

Бурштейн медленно зашагал по комнате, потом подошел к окну. На город опускался туман. «Неужели это простое совпадение?» — в который раз спрашивал себя он, напрягая память и пытаясь восстановить в ней события, со времени которых прошло уже столько лет. Там вроде была замешана какая-то девушка... и старый слепой священник. Вспомнилась запутанная цепь убийств. Но тогда осталось множество вопросов, на которые так и не удалось найти ответа. И все это чуть не привело его предшественника и тогдашнего начальника Томаса Гатца в психиатрическую больницу. Постепенно он начал припоминать все более подробно. Надо выяснить адрес того дома, где все случилось. Где-то в районе 80-х улиц в Западной части города, совсем недалеко от того места, где он находится сейчас... Инспектора все сильнее разбирало любопытство. Решено: утром он первым делом затребует все архивные материалы о том следствии и проверит адрес. И тогда все встанет на свои места. Может быть.

Бурштейн отвернулся от окна и заметил, что все присутствующие пристально смотрят на него.

— Вы не знаете, кто владелец этого дома? — поинтересовался он.

— Управление нью-йоркской епархии римско-католической церкви, — отчеканил Дженкинс.

Инспектор обратился к Бену:

— Скажите, а сейчас монахиня там? — Он указал пальцем на стену, за которой находилась квартира 10-С.

— Да, — кивнул Бен. — Впрочем, она всегда там. Когда вы выйдете на улицу, не забудьте посмотреть на ее окно. Правда, сейчас ночь, и вы мало что разглядите, но очертания ее фигуры легко различимы даже в темноте. Если нет, попробуйте зайти завтра.

— Утром мне хотелось бы переговорить с врачом вашей жены, — после долгой паузы сообщил инспектор. — Надо выяснить, когда я смогу допросить ее. И еще одно: никто из вас, господа, впредь не должен покидать города, не уведомив предварительно меня или сержанта Уосо. Понятно?

Все согласно кивнули.

— Тогда у меня все, — с мрачным видом произнес Бурштейн.

Вместе с Уосо они вышли в коридор и остановились перед соседней дверью с латунной табличкой «10-С». Инспектор прислушался. Тишина. Он легонько постучал в дверь. Ответа не последовало.

— Я думаю, вы не отнеслись слишком серьезно ко всей этой белиберде? — устало усмехнулся сержант.

Бурштейн подошел к лифту и нажал кнопку вызова.

— Вот что, Уосо. Я хочу, чтобы завтра ты нашел для меня в архиве одно дело пятнадцатилетней давности. Речь идет о серии убийств. Дело расследовал инспектор Гатц. Поищи его в алфавитном каталоге по именам: Элисон Паркер, Майкл Фармер, Джозеф Бреннер. Скорее всего материал зарегистрирован на одну из этих фамилий. Когда найдешь — ознакомься с ним сам. А потом уже скажешь мне, что думаешь о старой парализованной монахини. Договорились?

Подъехал лифт.

— Хорошо, — коротко кивнул Уосо, заходя в кабину.

— А еще постарайся придумать какой-нибудь веский предлог для ордера.

— Для какого ордера? — не понял Уосо.

Все еще стоя в коридоре, Бурштейн оглянулся и обвел взглядом холл десятого этажа.

— Мне необходимо побывать в квартире монахини.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Инспектор Бурштейн появился у себя в отделе в одиннадцать утра.

— Вам удалось хоть немного вздремнуть? — завидев своего шефа, первым делом спросил детектив Уосо.

Бурштейн отрицательно покачал головой и подавил зевок, стараясь не обращать внимания на головную боль.

Они вошли в кабинет инспектора. Бурштейн повесил шляпу и плащ на вешалку и сел за письменный стол, заваленный всевозможными бумагами. Налив себе чашку кофе из термоса, который он предусмотрительно захватил из дома, Бурштейн мельком взглянул на рабочее расписание сотрудников отдела, потом посмотрел в потолок и снова зевнул.

— Ну, как у нас обстоят дела на 89-й улице? — спросил он, расстегивая ворот рубашки и ослабляя галстук.

Уосо откашлялся и поправил на переносице очки.

— Я тут побеседовал с криминалистами, — доложил он. — Они обшарили весь подвал в поисках недостающих частей трупа, но, как я и предполагал, ничего не нашли. Так что нет никаких отпечатков. Их отчет будет у нас к полудню.

— Жильцов в доме проверили?

— Да, осталось разыскать лишь троих. Но двое из них — женщины.

— А кто мужчина?

Уосо раскрыл блокнот.

— Его зовут Луис Петросевич. Он тоже, кстати, живет на десятом этаже. Как раз напротив Бэрдетов, через холл.

Бурштейн потянулся, потом схватил карандаш и начал что-то быстро писать в своем рабочем журнале.

— Когда его видели последний раз?

— Вчера на работе. Он занимается продажей копировальной техники. Мы позвонили к нему в контору и поговорили с секретаршей. Она сообщила, что вчера в пять вечера Петросевич ушел на встречу с клиентом. А после этого собирался ехать

прямо домой. Но, насколько нам известно, в квартире он с тех пор так и не появился.

Карандаш сломался. Бурштейн отбросил его в сторону и потер лоб руками.

— Так, хорошо...— задумчиво произнес он и отпил большой глоток кофе.— Вполне возможно, что как раз он и есть жертва.

— На всякий случай я собрал о нем кое-какие сведения...

— Правильно, Уосо. Ну, а как насчет дела, о котором я говорил тебе вчера?

— Его нет,— смущенно пробормотал помощник.

— Что?!

— Я проверил везде, где только возможно,— пытался оправдаться сержант.— По каждому имени, которые вы мне дали. Но такого дела нигде нет.

— И что, о нем нет даже упоминаний в каталоге?

— Как раз в каталоге оно есть. Название занесено в компьютер. Но самого дела нет. Или его по ошибке переложили куда-то, или оно просто украдено. Я на всякий случай проверил, не осталось ли копий каких-нибудь материалов... Но здесь тоже тупик.

— Черт побери! — Бурштейн с досадой стукнул кулаком по столу.— Только этого еще не хватало! Проверь еще раз все, что можно.— Он нервно зашагал по кабинету.— А что слышно с ордером на обыск?

Уосо торопливо положил в рот пластинку жевательной резинки.

— Я говорил с прокурором округа. Но для того, чтобы получить такой ордер, надо представить что-то более убедительное, чем догадки...

— Ясное дело!..— Бурштейн тоскливо посмотрел на улицу через зарешеченное окно. Вид из окна был на редкость унылый. Край замусоренного двора и стена соседнего дома мышинного цвета. Он снова повернулся к сержанту.

— Мне надо еще раз тщательно все обдумать.

— Хорошо, я буду рядом,— ответил Уосо и вышел из кабинета.

Бурштейн достал новый карандаш, сделал какие-то записи, потом резко схватил телефонную трубку и стал медленно набирать номер. Сперва слышались громкие помехи на линии, а потом раздались длинные гудки.

— Для меня, конечно, твой звонок был приятной неожиданностью,— говорил бывший старший инспектор Томас Гатц знакомым гнусавым голосом, который слегка раздражал Бурштейна.— Так сколько же мы с тобой не виделись? — Внимание Гатца было целиком сосредоточено на бесстрастном лице его собеседника.

— Год,— тут же ответил Бурштейн, не обращая внимания на шум в переполненной закуской, куда они зашли побеседовать.— А может, и больше.

— Год — это слишком много для таких старых друзей, как мы,— саркастически хмыкнул Гатц.— Значит, у тебя, сукин

сын, опять возникла проблема, которая тебе не по зубам, раз ты удосужился вспомнить обо мне. Я угадал?

— Можно сказать и так, — обезоруживающе улыбнулся Бурштейн.

— Как? После всего, чему я тебя научил, у тебя еще бывают проблемы? — удивленно поднял брови отставной детектив.

— Конечно, вы научили меня многому, и я вам за это весьма признателен... Но в нашей практике бывали случаи, которые даже вас ставили в тупик, помните?

— Ну, таких было совсем немного! — хвастливо отмахнулся Гатц.

Бурштейн внимательно изучал лицо Гатца. Казалось, оно не выражало никаких чувств.

— Я бы хотел поговорить с вами кое о чем, — наконец начал инспектор. — Как вы выразились, «о проблеме», ради которой я, собственно, и попросил вас прийти сюда... Я хочу поговорить об Элисон Паркер!

— А что с ней? — тут же холодно спросил Гатц. Теперь в его голосе слышалась глубоко запрятанная горечь.

— Произошло убийство.

— Ну и что?

И тогда Бурштейн подробно рассказал ему все, что случилось в доме номер 69 по 89-й улице. Он еще никогда не видел, чтобы Гатц проявлял такое внимание к его рассказу. А заканчивая повествование, инспектор многозначительно добавил:

— Дело из полицейского архива каким-то таинственным образом исчезло.

Гатц молча уставился на него.

— Ну? И что вы об этом думаете? — спросил его Бурштейн.

— А что я, по-твоему, должен думать?

— Мне кажется, я уже кое о чем начинаю догадываться...

— Ну, не знаю... Сперва мне надо увидеть эту монахиню, поговорить с людьми... И, конечно, получить твое разрешение на все эти действия, — с долей горькой иронии усмехнулся отставной детектив.

— Пожалуйста! Но только при условии, что вы не станете вмешиваться в расследование, которое веду я.

— Нет-нет, Боже упаси! Но я очень благодарен тебе за то, что ты обратился именно ко мне. Даже не представляешь, как это для меня важно... Ну, ладно, как только что-нибудь прояснится, я тут же дам тебе знать.

— Да уж, пожалуйста.

Разговор закончился, и так же внезапно прервался и их обед. Гатц встал и полез в карман за мелочью, чтобы оплатить свой бульон. Но Бурштейн успел перехватить его руку и укоризненно покачал головой.

Гатц понимающе кивнул.

— Ты хороший парень, Джейк, — сказал он, повернулся и молча вышел из кафе на улицу.

Бурштейн потер гладко выбритый подбородок и, рассеянно глядя в сторону длинного ряда столиков, еще раз пришел к выводу, что поступил сейчас правильно. Ведь он не мог допустить,

чтобы в его работу вмешивались посторонние. Пусть даже Гатц. Но, с другой стороны, если бы он не ввел в курс дела своего бывшего шефа, он не простил бы себе этого до конца дней. Ведь Гатц ждал этого момента целую вечность. И теперь он просто не мог отказать ему. Он лишь надеялся, что тот не зайдет слишком далеко и не попадет в беду, увлекшись своим расследованием.

Через несколько часов после разговора с Бурштейном Гатц уже сидел с банкой пива за письменным столом в своей крошечной квартире на окраине Бронкса.

Два тома следственного дела, которые он тайно изъясил из полицейского архива несколько лет назад, лежали сейчас перед ним. До этого они долго пылились на нижней полке его книжного шкафа. Так что не было ничего удивительного в том, что он успел уже подзабыть некоторые подробности того крайне необычного дела. Правда, это стало ясно только к двум часам дня, когда он прочел все документы по первому разу. К своему удивлению, Гатц весьма болезненно отреагировал на этот факт и поспешил пересмотреть все материалы еще два раза подряд. Однако, не удовлетворенный и этим, он твердо вознамерился прочитать некоторые бумаги снова и снова, чтобы к полуночи уже наизусть помнить факты и обстоятельства давно минувших событий, столь круто изменивших всю его жизнь. Он прекрасно понимал, что, если ему предстоит появиться в доме номер 69 по 89-й улице, он должен быть соответственно подготовлен, а значит, придется, не мешкая, тренировать память.

Гатц поправил настольную лампу, надел очки, отпил глоток пива прямо из банки и начал заново перечитывать материал.

Джо Бирок прикусил мундштук своей любимой трубки и глубоко затянулся, наслаждаясь нежным ароматом голландского табака. Ночь выдалась холодной, и он порядком продрог. Пришлось даже поднять воротник пальто и все время переминаться с ноги на ногу, чтобы хоть как-то сохранить остаток тепла. Бирок нервно посмотрел на часы. Десять вечера. Он стоял здесь уже целых четыре часа, укрывшись в глубине темной аллеи за сетью спутанных веревок для сушки белья. Присев за термосом с кофе, Джо зевнул и прислонился к стене гаража, рядом с которым так «удобно» устроился. Потом посмотрел вверх на окно третьего этажа. Бывший детектив Томас Гатц все еще сидел у себя в гостиной за письменным столом. Снизу его было хорошо видно. Гатц сидел неподвижно уже второй час.

Бирок налил в колпачок термоса кофе и поднес его к губам. Кофе еще не успел остыть и был по-прежнему ароматным и приятным на вкус. Бирок улыбнулся и поставил термос на землю.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Высокий, пронзительный рев реактивных двигателей разрывал холодный ночной воздух над международным аэропортом Кеннеди. Самолет компании «Алиталия», прибывший рейсом

номер 7 из Рима, совершил посадку и теперь подруливал к месту высадки пассажиров.

Наверху, на обзорной площадке, неподвижно стоял отец Макгвайр, крепко вцепившись в поручни ограждения. Он ждал прибытия этого самолета уже более часа. Пронизывающий ледяной ветер с бухты Джамейка бил ему прямо в лицо, но Макгвайр ощущал в крови мощный приток адреналина. Так с ним случалось всегда в минуты тревожного ожидания важных событий. А прибытие Франкино в Нью-Йорк как раз и означало наступление последней фазы этих событий, в чем бы они ни заключались. Со времени их первой встречи в юле священник полностью следовал всем инструкциям монсеньора и не задавал никаких лишних вопросов. Он понимал, что, если ему уготована какая-то неведомая роль в этом секретном процессе, разработанном в Ватикане, у него все равно нет другого выхода, кроме как безропотно подчиниться. Но теперь эта напряженная неопределенность должна наконец закончиться. В телеграмме от Франкино на то был явный намек...

Внизу, один за другим, пассажиры начали выходить на трап. Франкино оказался четвертым. Отец Макгвайр не видел его целых шесть месяцев.

Макгвайр вернулся в здание аэропорта и на эскалаторе спустился в зал ожидания, чтобы там в тепле подождать, пока Франкино получит свой багаж и пройдет паспортный и таможенный контроль.

Франкино появился в зале уже через пятнадцать минут.

— Монсеньор! — громко позвал его Макгвайр, когда тот вышел из дверей зоны досмотра.

Они сердечно обнялись, искренне радуясь долгожданной встрече.

— Ваш самолет прибыл точно по расписанию, — с улыбкой заметил отец Макгвайр.

— И мы должны быть благодарны за это Господу, — смиренно ответил монсеньор Франкино. — Ведь в Италии теперь мало что делается как надо. — Оба сдержанно улыбнулись.

Макгвайр указал рукой на стеклянные двери выхода в город.

— Пойдемте, машина уже ждет вас.

Франкино кивнул, и они направились к выходу.

Пока они выходили из здания аэропорта и усаживались на заднее сиденье роскошного черного лимузина, с лица Франкино не сходила приятная, мягкая улыбка. Наконец Макгвайр постучал пальцами по стеклянной перегородке за спиной водителя и дал тому знак трогаться. И только тогда Франкино положил на сиденье между собой и священником черный атташе-кейс, с которым до этого ни на секунду не расставался.

— Надеюсь, монсеньор, ваш полет был спокойным и прошел без всяких неожиданностей? — вежливо поинтересовался Макгвайр.

— Да. Слава Богу, он уже кончился. Честно говоря, мне больше нравятся обратные перелеты — из Нью-Йорка в Рим. Потому что я обычно сажусь на ночной рейс и сплю всю дорогу до самой посадки. Но лететь из Рима сюда — для меня всегда

большая проблема. А вы ведь еще не бывали в Европе, если не ошибаюсь?

— Нет, не приходилось, — ответил Макгвайр с ноткой сожаления в голосе.

— Ну, ничего, мы исправим эту оплошность, как только закончим наши дела в Нью-Йорке. Я могу взять вас с собой в Ватикан. Будете работать со мной. А возможно, мне удастся устроить вас и в аппарат кардинала Реджани.

— Монсеньор! Вы, должно быть, переоцениваете мои возможности. Я не уверен, смогу ли оправдать ваше доверие и достоин ли вообще столь высокой чести...

Франкино внимательно посмотрел Макгвайру в глаза.

— Я ценю вашу скромность, святой отец. Но уверен, что за ней кроются не менее замечательные достоинства... Ведь вас выбрали, чтобы оказать мне помощь в одном очень специфическом деле. Вы — один из самых образованных и опытных священников во всей здешней епархии. И вас ждет блестящее будущее.

Лицо Макгвайра залилось краской. Такая головокружительная карьера ему даже не снилась.

Они ехали молча до тех пор, пока машина не оказалась на Лонг-Айлендском скоростном шоссе.

— Монсеньор, у нас возникла одна проблема... — осторожно начал Макгвайр.

— Проблема? — встрепенулся Франкино.

— Ну, в общем, произошло нечто незапланированное... Совершенно неожиданное.

234

Франкино не нравились всякие неожиданности. И он ясно дал это понять еще в самый первый день их знакомства.

— Так что случилось? — взволнованно спросил он.

— Вчера ночью в этом доме произошло убийство.

Франкино чуть не застонал от досады и неподвижно уставился перед собой, с горечью осознавая услышанное.

— Да-а... — только и смог выговорить он.

Макгвайр сообщил ему все подробности происшедшего, а потом откинулся на сиденье, ожидая, как Франкино отреагирует на эту новость. Сам он не был уверен, что убийство имеет какое-то отношение к их сугубо церковному делу.

— Конечно, — начал Франкино ровным, лишенным всяких эмоций голосом, — это не кто иной, как заклятый хитрец Чарльз Чейзен. Таков его способ заявлять о своем появлении.

— А кто такой Чарльз Чейзен, монсеньор? — осторожно поинтересовался Макгвайр. Ему вдруг показалось, что Франкино начал молиться про себя.

Но тот как-то странно улыбнулся и тут же ответил:

— Чарльз Чейзен — это Сатана!

Макгвайр почувствовал, как по спине его пробежал холодок.

— Сатана? — переспросил он.

— Да. Это пугает вас?

— Конечно... Но я не уверен, что вы имели в виду...

— Я имел в виду именно то, что сказал, — перебил Франкино. — Человек по имени Чарльз Чейзен и есть Сатана в своем земном воплощении.

Макгвайра сковало оцепенение.

— Но в этом доме нет жилья с таким именем...

— Боюсь, что теперь уже есть, — горько усмехнулся Франкино. — Я бы очень удивился, если б это убийство оказалось случайным.

— Я не понимаю... Ничего не понимаю, — сокрушенно вздохнул Макгвайр, устремив взор вперед, на небоскребы Манхэттена, до которых было уже рукой подать.

— А вам и не следует понимать все! Пока от вас требуется лишь внимательно слушать и выполнять то, что вам говорят. Но самое главное — вы должны хранить тайну и ни в коем случае никому не рассказывать о том, что вы узнаете, увидите или сделаете.

— Монсеньор, вам не стоило напоминать мне об этом!.. Ведь именно так мы и договорились с самого начала. И я дал вам клятву... Но, может быть, у вас возникли сомнения по поводу моей преданности, или вы не уверены в силе моего характера?

— Нет, друг мой. Я не сомневаюсь ни в том, ни в другом. Но хочу предупредить вас, что на самом деле и преданность, и сила воли — все равно что пыль на ветру перед могуществом Сатаны. И вы должны всегда помнить об этом. До сих пор вы не знали, с чем вам предстоит иметь дело. И даже сейчас я, к сожалению, не могу рассказать вам многого. Но вы по крайней мере знаете самое главное. Мы столкнулись с Сатаной во всем его зверином неистовстве!

Отца Макгвайра буквально передернуло от этих слов. Он почувствовал озноб и какую-то внутреннюю пустоту, словно его заперли одного в огромном темном холодильнике. Неужели все это правда?.. Ну, разумеется... Ведь Франкино не большой любитель шутить, особенно таким образом. И все же...

— Монсеньор, а я когда-нибудь узнаю об этом больше? — наконец спросил он.

— Да, со временем. Но не теперь.

— И я смогу все это понять?

— У нас нет никаких сомнений относительно ваших способностей адаптироваться и быстро реагировать на обстановку. Однако лишь время покажет, сумеете ли вы понять все до конца, сын мой. Но вы должны верить в Иисуса Христа, и он укажет вам истинный путь.

Макгвайр достал из кармана носовой платок и вытер вспотевший лоб.

— Пока что вы вернетесь к своим обязанностям в семинарии, — ровным голосом продолжал Франкино, — а я буду держать с вами постоянную связь. Но имейте в виду, что вам придется проявить терпение, достойное святого...

— Я буду молить об этом Господа Бога, — смиренно ответил Макгвайр.

Пока лимузин ехал по тоннелю в Манхэттен, Франкино сидел молча и неподвижно. Но когда впереди замаячил свет уличных фонарей, он озабоченно покачал головой и сказал:

— Если Чейзен убил этого человека, значит, у него были на то причины. И я склонен думать, что он успел уже занять место

жертвы. Вот почему он так тщательно уничтожил все признаки, по которым можно было опознать труп.— Франкино замолчал, погрузившись в раздумье.— В доме очень много людей. Но мы должны найти его!

— Я сделаю это,— твердо заверил его Макгвайр.

— Кстати, как чувствует себя Фэй Бэрдет?

— Пока не очень хорошо,— вздохнул священник.

Лимузин сделал поворот и направился к жилым кварталам.

— Вот что, Макгвайр,— как бы между прочим заметил Франкино,— моя работа опасна... И со мной в любой момент может случиться непоправимое... Так знайте: если я погибну, вы должны будете стать моим преемником!

От неожиданности Макгвайр рывком развернулся на своем кресле.

— Но я ведь даже не знаю...— начал он, но Франкино тут же прервал его:

— Если меня не станет, то выполнять мои обязанности будете именно вы. На этот счет вас проинструктируют. Вам станет известно все, что знаю сейчас я. И вы сможете делать то же, что делаю я. Единственная разница между нами заключается в том, что мне уже приходилось сталкиваться с Чейзенем и я примерно представляю себе его возможности. Но все это не столь важно. У вас тоже будет немалая сила...

— И все-таки мне хочется верить, что с вами, монсеньор, ничего такого не произойдет,— ответил Макгвайр.

— Если будет угодно Господу Богу...

Автомобиль свернул на 89-ю улицу и остановился перед старым особняком, расположенным в пятидесяти футах от строительной площадки собора святого Симона. Когда Франкино выходил из машины, он почувствовал легкое головокружение. Это случалось с ним всякий раз, когда он возвращался сюда. Каждый раз, когда он находился в поле зрения сестры Терезы.

Макгвайр вышел из лимузина вслед за ним. Франкино поднял голову и посмотрел на окна десятого этажа дома номер 69 по 89-й улице. Но место для наблюдения было неподходящим, и он так ничего и не увидел. Однако сестра Тереза была там. И хотя за ней никто не следил, она бдительно выполняла свой долг. Франкино чувствовал ее присутствие. И связь между ними была вполне очевидной, ведь силы и способности сестры Терезы были несопоставимы с возможностями обычного человека. Она могла незримо проникнуть в любое место и понять мысли и состояние кого угодно.

Он взглянул на Макгвайра. Тот тоже внимательно смотрел на дом.

— Вы заметили ее?

— Да. Но... кто она?

— Ее зовут сестра Тереза.

— И она тоже будет участвовать в нашем деле?

— Возможно.— В голосе Франкино зазвучали нотки отчаяния, и это не ускользнуло от отца Макгвайра.

Они спустились в полуподвальный этаж особняка, который



тускло освещался единственной лампочкой. В коридоре был свален всевозможный хлам, в затхлом воздухе пахло плесенью и мышами.

Дверь в конце коридора оказалась закрытой. Макгвайр тихоно постучал. С другой стороны двери тут же послышались быстрые шаги. Дверь открылась. Стоящий в почти полной темноте мужчина наконец включил верхний свет. Макгвайр и Франкино вошли в комнату и сели на старый, продавленный велюровый диван. Они молчали. Молчал и открывший им дверь. Потом он медленно опустился на колени и поцеловал правую руку Франкино.

— Монсеньор... — произнес Бирок дрожащим от волнения голосом. — Я ваш верный слуга.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

— Меня зовут Гатц. Детектив Гатц. Гэ-А-Тэ-Це. — И он улыбнулся, обнажив полный рот зубов, отчего сразу стал похож на крокодила.

— Входите, пожалуйста, — сказал Бен, обезоруженный такой улыбкой.

Гатц решительной походкой вошел в квартиру. На лице его было написано, что он, по роду своей профессии, подозревает всю жизнь всех и каждого.

— Я все-таки не понимаю причин вашего визита, — недовольно пробормотал Бен.

Гатц растегнул пальто и поискал глазами место, куда можно присесть. Бен молча указал ему на диван. Гатц нервно пожевал кончик сигары, которую уже полчаса держал во рту, и грузно опустился на подушки дивана.

— Видите ли, мистер Бэрдет, я не имею привычки обсуждать подробности по телефону, — как бы в продолжение разговора пояснил бывший инспектор. — Вы знаете, телефоны ведь часто прослушиваются...

— А по-моему, мистер Гатц, все это вздор и откровенная чушь! — не выдержал Бен.

Гатц окинул квартиру внимательным взглядом.

— Поверьте, мне самому не раз приходилось устанавливать подобные устройства. Так что это, увь, совсем не плод моего воображения.

Бен молча кивнул. Вероятно, детектив Гатц в свое время действительно был «крутым» полицейским.

— Позвольте, я еще раз повторю вам то, что уже сообщил по телефону, — продолжал Гатц. — Итак, я был начальником крупного полицейского подразделения. А именно — манхэттенского отдела по расследованию убийств. Инспектор Бурштейн тогда работал у меня. А сейчас, в связи с убийством в вашем подвале, он попросил меня посмотреть, что тут у вас делается. Вот я и смотрю.

— И что же вы ищете?

— Пока я и сам точно не знаю, — признался Гатц, откусил край сигары, скатал его в шарик и бросил в пепельницу.

— Но я уже, кажется, сообщил полиции все, что мне было известно. — недоуменно пожал плечами Бен.

— В этом я нисколько не сомневаюсь. — устало ответил Гатц, закидывая ногу за ногу. — Здание, в котором вы живете, существует около четырнадцати лет. А раньше на этом месте стояло несколько старых особняков. И, в частности, был тут один особнячок... В общем, с виду он ничем не выделялся среди соседних. Обычный домишко... Но незадолго до того, как его снесли, там произошло несколько убийств. И я был как раз тем следователем, который вел это дело. Официально эти убийства так и остались нераскрытыми. Расследование зашло в тупик.

— Это, конечно, очень интересная история, мистер Гатц, но с тех пор прошло, как вы говорите, целых четырнадцать, вернее даже пятнадцать лет!.. Не можете же вы серьезно предполагать, что убийство в подвале нашего дома имеет какое-то отношение к тем давним событиям...

— Я пока еще ничего не предполагаю.

— А тогда почему, черт возьми, именно мы с Фэй стали центром вашего внимания? — Бен начинал всерьез раздражаться. — Только потому, что именно она обнаружила этот труп?

— Отчасти, мистер Бэрдет. Только отчасти!

— Хорошо, тогда сообщите мне остальные причины.

Гатц встал, подошел к стене и прислушался.

— Остальные?... Мои причины — монахиня! — неожиданно выпалил он.

— А теперь послушайте меня! — взорвался Бен. Он подбежал к детективу вплотную и уставился на него горящими от гнева глазами. — С меня хватит! Я уже сыт этой чушью по горло! Старая монахиня живет здесь дольше всех, и за все это время она никого ни разу не побеспокоила. Если же она не нравится полиции или хозяевам дома, они могут спокойно выселить ее. Лично мне на это глубоко наплевать. Вам понятно? Она нас не трогает, и мы ее не трогаем. И нам нет до нее никакого дела, а ей соответственно — до нас.

— Думаю, как раз в этом вы ошибаетесь, мистер Бэрдет, — скептически заметил Гатц.

— Нет, не ошибаюсь! — закричал Бен.

— Мистер Бэрдет, — уже несколько тише произнес детектив, стараясь не волновать собеседника и смягчая выражение лица. — Я ведь пришел сюда вовсе не для того, чтобы спорить с вами. Я хочу вам помочь... Кое-кто в этом доме находится сейчас в серьезной опасности. Но пока я не могу сказать точно, кто именно... Хотя не исключено, что это может быть даже ваша собственная жена. Понимаете?

Бен весь напрягся и подался вперед.

— Послушайте же меня... — продолжал Гатц. — Тот особняк, о котором я говорил, только внешне был обычным старым домом. Там было нечто такое, что отличало его от других домов по соседству.

— И что же именно? — с надменной холодностью спросил Бен.

— В одном из окон пятого этажа, в самом центре здания, всегда можно было увидеть силуэт человека. Священника. Это

был старый, слепой и парализованный священник, который неподвижно сидел на стуле и никогда не покидал своего места. Это вам о чем-нибудь говорит?

— Простое совпадение! — отрезал Бен.

— Да? Вы действительно так считаете, мистер Бэрдет?

Бен внимательно смотрел на сыщика.

— А, кстати, где сейчас ваш сын? — поинтересовался Гатц.

— Внизу. Гуляет в парке с соседом.

— А ваша жена?

— Она в спальне.

— Я хотел бы с ней побеседовать.

Бен отрицательно покачал головой.

— Она еще не совсем здорова, и врач запретил ей любые нервные перегрузки.

— Но ведь прошло уже целых два дня, мистер Бэрдет! Все-таки не она же подверглась нападению. Она лишь обнаружила тело несчастного... Я, конечно, понимаю, что для нее это было большим потрясением, но все же...

Бен нахмурился. Ему самому казалось несколько странным, что Фэй так долго остается в шоковом состоянии.

— Если она спит, — добавил Гатц, — я только одним глазком взгляну на нее и не стану тревожить. Но мне сейчас очень важно хотя бы просто увидеть ее.

Они вошли в спальню. Жалюзи на окнах были опущены, и только слабый луч света пробивался в помещение.

Фэй дышала спокойно, и мужчины подошли ближе. Бен осторожно взял ее за руку. Она открыла глаза — красные и воспаленные, с полопавшимися сосудами.

— Ну, как ты себя чувствуешь? — Бен попытался улыбнуться.

Фэй облизала пересохшие губы и слегка пошевелила пальцами.

— Устала. Очень устала. И сильно кружится голова.

Бен присел на краешек кровати и погладил ее спутанные волосы. Фэй еще что-то пробормотала, и Бен пододвинулся к ней ближе, пытаясь разобрать слабый шепот.

— Мистер Гатц — наш друг, — успокоил он жену, так и не поняв ее слов.

Гатц внимательно смотрел на ее руки и лицо.

— Это мой друг, — поправился Бен. — Он просто зашел навесить меня, узнать, как ты, и пожелать тебе скорого выздоровления...

Гатц одобрительно кивнул.

— Бен рассказал мне, что с вами случилось, миссис Бэрдет... Я выражаю вам свое глубочайшее сочувствие.

Фэй лежала неподвижно. Глаза ее устало закрылись. Она приняла слишком много снотворного, и потому ей тяжело было как-то реагировать на обращенные к ней слова.

После долгой паузы Бен наконец поднялся.

— Ну, мистер Гатц, вы видели ее. Этого достаточно?

— Вполне.

Они вернулись в гостиную.

— Вы думаете, она все еще в шоке? — неожиданно спросил

Гатц и, беспцеремонно положив ногу на кофейный столик, раскурил потухшую сигару.

— Разумеется.

— Знаете, Бэрдет, мне хотелось бы серьезно побеседовать с вами... Но не здесь, а в каком-нибудь другом месте, чтобы не беспокоить вашу жену.

Бен посмотрел на дверь спальни.

— Ну, хорошо. Только недолго.

— К сожалению, мистер Бэрдет, это будет длинный разговор.

Они вышли из квартиры и спустились на лифте в просторный холл. Потом, перейдя на другую сторону улицы, остановились, и Гатц указал рукой на окно монахини. За стеклом застыл четкий силуэт старухи в черной сутане.

Бен заметил, как напряглись, перекачиваясь, мышцы на лице бывшего инспектора. Казалось, Гатц до предела сосредоточил свое внимание на этом окне.

— Она сидит там все время. Я вижу ее с того самого дня, как мы только переехали в этот дом,— заметил Бен.

Он ждал, что Гатц как-нибудь отреагирует на его слова. Но тот ничего не ответил. Он сосредоточенно всматривался в окно на десятом этаже.

Пивной бар О'Рейли на углу авеню Колумба был идеальным местом для приватной беседы.

Они сразу же заняли столик в углу бара, заказали по кружке пива и стали ждать, когда его подадут.

Наконец официант принес пиво. Гатц откашлялся и наклонился через столик к Бену.

— Я знаю, что вы относитесь ко мне с предубеждением,— начал он.— И после всего, что я вам сейчас расскажу, вы можете послать меня куда подальше и заявить, что вам на все это наплевать. Но я не уверен, что вы поступите именно так, потому что человек вы неглупый, и мне кажется, что я смогу вас кое в чем убедить. Причем сделать это будет гораздо легче, чем вы думаете.

Бен скрестил руки на груди и откинулся на спинку стула.

— Я пока еще ничего не думаю, мистер Гатц. Ровным счетом ничего. И готов выслушать вас. Начинайте.

Гатц отхлебнул большой глоток пива и отогнал муху, усевшуюся ему прямо на кончик носа.

— Итак, все началось лет пятнадцать тому назад,— заговорил он после короткой паузы.— Помощником окружного прокурора был некий Майкл Фармер. И вдруг он начал стремительно богатеть. Он брал взятки при всяких судебных разбирательствах, и многие в полиции знали об этом, но к нему никак нельзя было подступиться, потому что не было прямых доказательств. Очень скоро Фармер и я стали заклятыми врагами. Впрочем, мне он и раньше не нравился. Уже с первой нашей встречи я понял, что он — первостатейный сукин сын с непомерно большими амбициями. Он был женат на особе с девичьей фамилией Бирмингем. Карен Бирмингем. Она не слыха красавицей и не могла даже похвастаться большим состоянием. И Фармер женился на ней

исключительно для того, чтобы добиться положения в обществе, поскольку ее отец, партнер в одной из юридических фирм на Уолл-стрит, был важной шишкой в республиканской партии. Но, к сожалению, Фармер воспылил страстью к молодой манекеннице Элисон Паркер, которая тоже по уши влюбилась в него, еще не зная, что он женат. Когда же мисс Паркер выяснила это, она устроила грандиозный скандал и поставила Фармера перед выбором: либо он разводится с женой, либо Элисон бросает его. Фармер попросил у жены развод. Но Карен закапризничала и ответила отказом. А через неделю ее нашли мертвой у подъезда дома, где супруги снимали квартиру. Мне поручили вести это дело. С виду все выглядело, как самоубийство, но я-то знал, что это Фармер убил свою жену. Вероятно, она пригрозилла мужу, что сообщит его шефу, окружному прокурору, о взятках, и он решил попросту избавиться от нее. Но, к сожалению, я и этого не смог доказать. Медицинский эксперт дал заключение, что смерть явилась результатом самоубийства. И никаких обвинений против Фармера выдвинуто не было. А меня тут же сняли с этого дела, хотя я мог бы уже распутать его и доказать, что это самое настоящее убийство. Впрочем, вам надо знать только, что жена Фармера умерла, и я был уверен, что ее убили. А два месяца спустя подруга Фармера, замученная угрызениями совести из-за смерти его жены, попыталась покончить с собой, перерезав вены. Мне снова пришлось расследовать это, и опять я оказался в тупике.

В течение двух последующих лет ничего интересного не произошло, — продолжал детектив. — Но вот однажды ночью меня вызвали по очень странному поводу. По городу — а было это в четыре часа утра — бегала девушка в одной ночной сорочке и истерически кричала, что она убила собственного отца. Я отправился в больницу, куда ее отвезли, и кого бы, вы думали, я там нашел?.. Правильно — Элисон Паркер! Из того, что она говорила, нам удалось понять следующее: после того, как мисс Паркер оправилась от неудачной попытки самоубийства, она переехала к Майклу Фармеру и занялась у него домашним хозяйством. Все шло нормально в течение двух лет, пока ей не позвонила мать и не сообщила, что отец Элисон умирает от рака. Девушка отправилась домой в Индиану, чтобы побыть там с семьей в трудные дни, и на это время запретила Фармеру навещать ее. Старик Паркер протянул еще пару месяцев. Но пребывание дома для Элисон было тягостным, поскольку она давно уже ненавидела своего отца, считая его откровенным мерзавцем. Отец умер, и Элисон возвратилась назад в Нью-Йорк, теперь уже полностью убежденная в том, что ей надо уйти от Фармера и найти себе какую-нибудь квартиру. Она стала просматривать газеты и наткнулась на объявление о сдаче жилья агентом по недвижимости Джоан Логан. Встретившись в ней, мисс Паркер осмотрела предложенную квартиру на третьем этаже особняка по адресу 89-я улица, дом 69. Осматривая здание, мисс Паркер обратила внимание на священника, сидевшего у окна своей комнаты на пятом этаже. Но женщина-агент успокоила ее и посоветовала не обращать на него внимания,

поскольку священник из квартиры 5-А, некий Мэтью Галлиран, — безобидный старый, слепой и парализованный человек.

Мисс Паркер сняла предложенную квартиру. Но вскоре после переезда туда у нее начались внезапные обмороки. Затем в течение нескольких недель она познакомилась со своими новыми соседями. Сначала со стариком, назвавшимся Чарльзом Чейзенем, который пришел навестить ее вместе со своей кошкой и волнистым попугайчиком. Старик занимал квартиру 5-В, через холл от священника. Потом появились две лесбиянки из квартиры 2-А, но они вели себя настолько распущенно, что Элисон решила больше с ними не встречаться. И наконец, ее пригласили на день рождения кошки Чейзена, где она познакомилась с его друзьями — Эммой и Лилиан Клоткин, Анной Кларк и супругами Стинетами, родственниками мадам Клоткин. Всю ночь Элисон не давали заснуть топот и шум из верхней квартиры — веселье продолжалось и после того, как она покинула шумную компанию. Тогда мисс Паркер решила пожаловаться на беспокойных соседей агенту Джоан Логан, но та заявила, что, кроме самой Элисон и старого священника, в доме никто больше не живет уже много лет. Однако Элисон все же уговорила мисс Логан показать ей весь дом, и они вдвоем совершили полный обход квартир, обнаружив, что все они необитаемы и находятся в запустении. По понятным причинам не ходили они только в квартиру священника.

Когда мисс Логан ушла, Элисон Паркер безуспешно пыталась связаться с Фармером и со своей лучшей подругой Дженнифер Лирсон, которая работала вместе с ней манекенщицей. Но поскольку это не удалось, ей не оставалось ничего другого, как продолжать пока жить в новой квартире. В ту ночь около четырех утра Элисон проснулась, потому что ей снова послышались шаги из верхней квартиры. Она взяла нож, фонарь и смело отправилась наверх. Девушка зашла в квартиру 4-А и в темной спальне тут же наткнулась на человека, которого приняла по ошибке за своего покойного отца. В ужасе она нанесла ему несколько ударов ножом и выбежала из дома. И снова я взялся за это крайне странное дело. Мы тщательно исследовали весь особняк, но никаких следов насилия или пятен крови не обнаружили. Равно как и соседей, которых тоже, по всей видимости, в реальности не существовало. Тогда мы попытались выйти на мисс Логан, но она словно сквозь землю провалилась. Наконец я добился разрешения на эксгумацию тела покойного отца Элисон и убедился, что труп спокойно гниет в своем гробу. Тогда мы взяли на исследование кровь, которой были перепачканы руки мисс Паркер, и она оказалась идентичной крови самой Элисон, а следовательно, могла вытечь из ее собственных ран. Ведь не исключено, что девушка сама порезалась, когда била «отца» ножом. Итак, исходя из всех этих фактов, мы могли сделать только два заключения: первое — что у девушки начались галлюцинации или ей просто приснился кошмар, и второе — что она действительно встретила кого-то наверху и убила его. Если брать во внимание второй вариант, то тут скорее всего не обошлось без участия Майкла Фармера. К сожалению, не имея трупа, я не мог

ничего доказать. Однако не прошло и недели, как этот труп мы все-таки обнаружили. Им оказался частный детектив Джозеф Бреннер — мелкая сошка, специалист по копанию в грязном белье за соответствующую плату. Работал он нелегально, но умел держать язык за зубами. Его труп нашли в багажнике автомобиля неподалеку от 89-й улицы. Он умер от многочисленных колото-резаных ран. И его группа крови совпадала с той, что была обнаружена на руках Элисон. Я сразу догадался, что Майкл Фармер специально подослал Бреннера в дом Элисон, заставив его загримироваться под отца мисс Паркер, и она убила его, приняв за покойника. Я также не сомневался, что Бреннер имел какое-то отношение и к убийству жены Фармера — Карен. Но довольно долго никак не мог доказать сам факт связи Бреннера с Фармером. И вот наступила та роковая ночь, когда произошло самое страшное. Мои помощники при обыске квартиры Бреннера нашли записи, подтверждающие его прямую связь с Майклом, а также то, что именно он сначала нанял его для убийства жены, а потом для того, чтобы проникнуть в дом Элисон, предварительно загримировавшись под мертвеца. Ордер на арест Фармера был у меня на руках, и я отправился к нему на квартиру. Но в это время нам позвонила Дженнифер Лирсон и сообщила, что Элисон, которая до этого была у нее, сбежала в свой особняк, куда чуть раньше отправился и сам Майкл. Дело касалось какого-то жуткого религиозного заговора, связанного с католической церковью. Мы сразу же поехали в особняк и обнаружили там труп Майкла Фармера с раздробленным черепом. Отец Галлиран тоже оказался мертв по причине сердечного приступа. А Элисон Паркер исчезла. Естественно, мы получили ордер и на ее арест.

Гатц замолчал и перевел дыхание.

— И это все? — разочарованно спросил Бен.

— Нет, — хладнокровно ответил Гатц. — Несколько дней мы упорно допрашивали Дженнифер Лирсон, и она помогла нам заполнить кое-какие пробелы. В частности, она показала, что после выписки из больницы Элисон и Фармер долго спорили по поводу того, что же в действительности произошло в ту ночь, когда она якобы убила отца. Мисс Паркер решила еще раз встретиться с Джоан Логан, но та пропала, а ее контора оказалась закрытой. Причем мисс Логан пропала как раз в тот день, или ночь, когда произошло «убийство отца». Это вполне совпадало и с нашими данными, поскольку именно с того дня мы тоже начали поиски этого неуловимого агента, которые так ни к чему и не привели. Однажды вечером Фармер и Элисон пошли пообедать в ресторан, а затем, проходя мимо небольшой экспозиции восковых фигур в галерее Рипли возле Бродвея, от нечего делать решили туда заглянуть. И там мисс Паркер увидела восковое изваяние Анны Кларк — известной преступницы, казненной много лет назад в тюрьме «Синг-Синг», той самой Кларк, которая присутствовала на дне рождения кошки Чейзена. Элисон в ужасе бросилась бежать из музея. А Фармер, снова оставшись в одиночестве, решил сам раскрыть эту тайну и пошел в редакцию газеты «Таймс», чтобы выяснить, кто давал объявление

о сдаче квартиры в особняке номер 69 по 89-й улице, на что удивленный редактор ответил ему, что такого объявления никто не давал и оно никогда не появлялось на страницах газеты. Сильно озадаченный этим обстоятельством, Фармер вернулся домой.

В тот вечер мисс Паркер приехала к Дженнифер довольно поздно, объяснив, что по дороге заходила в церковь. А вскоре Фармер признался мисс Лирсон, что он нанял детектива Бреннера, поручив ему выяснить, существуют ли реально те соседи, о которых так подробно рассказывала Элисон.

В конце концов и ему начало казаться, что в особняке творится что-то неладное. Тогда вдвоем с Элисон они еще раз обыскали весь дом, кроме квартиры священника, но никаких следов убийства или присутствия посторонних не обнаружили. Зато нашли одну занятую книгу. Когда в нее смотрел Фармер, он видел обычный английский текст. А для Элисон книга была будто бы написана по латыни. Тогда Фармер попросил Элисон переписать от руки то, что ей видится, и отправился с этой записью в Колумбийский университет. Там профессор Рудзински перевел написанное. И вот что у него получилось:

*«Судьбою предначертано тебе
Сей край блаженный
Неустанно охранять
От зла вторженья или приближенья».*

После этого мы безуспешно пытались разыскать самого Рудзински, а через год его тело было найдено близ Медвежьей горы... Но вернемся немного назад. Фармер с переводом отправился в Управление нью-йоркской епархии и показал его одному священнику — монсьёру Франкино, который оплачивал счета за квартиру Галлирана. Но Франкино по поводу этих странных слов ничего не смог объяснить, а также заявил, что к отцу Галлирану не имеет никаких претензий.

Однако это не убедило Фармера, и чуть позже он тайно проник в кабинет Франкино, вскрыл его сейф и выкрал оттуда несколько папок с документами, которые впоследствии показал Дженнифер Лирсон. Некоторые бумаги оказались многовековой давности, другие посвежее, и рассказывали они о судьбах сотен разных людей. Но у всех этих личностей была одна общая черта: все они в свое время пытались покончить жизнь самоубийством, и все в один прекрасный день исчезали, появляясь вновь уже под новыми именами и совсем в другом качестве — как священники или монахини, причем слепые и парализованные.

Почему так случилось — ни Фармер, ни Дженнифер понять не могли. Но Фармер обнаружил среди бумаг и самую последнюю папку — дело на Элисон Паркер и некую сестру Терезу, в которую ей суждено было превратиться. Тогда он пришел к заключению, что Элисон под гипнозом была «закодирована», именно поэтому ей так неожиданно понадобилось съехать от него на собственную квартиру; по той же причине она нашла в газете никогда не печатавшееся там объявление и латинские фразы

в самой обыкновенной книге. Он также сделал вывод, что именно Элисон должна стать преемницей отца Галлирана, выполняющего долг какого-то Стража или Часового. Причем ее превращение в сестру Терезу должно случиться в ближайшую ночь. Он отправился в особняк, чтобы помешать этому и предупредить Элисон об опасности. Ну, а остальное вам уже известно: Фермера нашли мертвым... отца Галлирана тоже... А Элисон Паркер исчезла. Дженнифер Лирсон сказала также, что все документы Фермер взял с собой в особняк, но мы их там, естественно, не нашли.

После этого мы проверили буквально всех. Даже владельца дома — человека по имени Карузо. Кстати, он тоже работал у архиепископа и тоже впоследствии бесследно пропал. Но что самое странное, в Управлении епархии нам категорически заявили, что никогда не слышали о священнике монсеньоре Франкино. Что же произошло той ночью в особняке, нам так и не посчастливилось выяснить, и через шесть месяцев дело было закрыто.

— Чего и следовало ожидать, — сорвался Бен и стукнул кулаком по столу. — Потому что это самая идиотская история, какую мне когда-либо доводилось слышать!

— Послушайте, мой неверящий друг! — печально усмехнулся пожилой детектив. — Нравится вам все это или нет — вопрос уже далеко не первой важности. Ведь все дело в том, что монахиня, живущая по соседству с вами, как раз и есть та самая сестра Тереза. То есть Элисон Паркер, сменившая отца Галлирана... И теперь настало время менять ее. Бьюсь об заклад, что на эту должность подобрали не кого-нибудь, а вашу собственную жену. Следующим Стражем должна стать именно она!

— Но почему? Зачем? — растерялся Бен.

Гатц лишь вздохнул и пожал плечами.

— Чтобы охранять этот мир от приближения Сатаны.

— Что?!

— Вы слушали меня очень внимательно, и за это вам большое спасибо, — серьезным тоном прервал его детектив. — Но мне нужна еще минута вашего внимания... Поверьте, я не собираюсь разыгрывать вас. Да и не считаю это возможным при таком количестве трупов... Просто из попавших ко мне церковных документов следует, что Страж — это как бы ангел Божий на земле, своего рода преемник архангела Гавриила, которому Господь Бог приказал следить за Сатаной и не допустить его появления в нашем мире...

Бен вскочил на ноги.

— Гатц, да вы просто спятили! Неужели вы думаете, что кто-нибудь поверит хоть одному вашему слову?

Сыщик неторопливо поднялся из-за стола.

— Да. Я думаю, что вы мне поверите. Тем более что я обнаружил то место, где имеется надпись, которая очень многое вам подскажет... И еще кое-что мне удалось выкрасть из офиса архиепископа. Но это уже дополнительная информация... И если вам будет угодно навестить меня завтра в моей квартире, я с радостью представлю вам все необходимые доказательства.

— А если я откажусь?

— Значит, вы обыкновенный дурак... Правда, я знаю, что вы придете. — И он написал на салфетке свой адрес.

Бен выхватил у него салфетку, нахмурился и сунул ее в карман. Наступила долгая пауза. Потом Бен чуть слышно проговорил:

— Хорошо.

Гатц молча кивнул в ответ.

Официант подал счет, и Бен, ни слова не говоря, оплатил его.

— Бен, мы чудесно отдохнули в парке! — с доброй улыбкой сообщил Джон Сорренсон. Он держал на руках маленького Джои и направлялся к Бену и Гатцу, еще издали заметив их приближение. — Правда, я немного с ним вымотался, но сегодня, слава Богу, нет репетиции.

Бен взял у него малыша, который, узнав отца, тут же потянулся к нему.

— Очень хорошо, Джон. И огромное вам спасибо за помощь.

— Ну, какие тут могут быть разговоры! Я всегда к вашим услугам. А потом, когда я гуляю с ним, я и сам будто начинаю себя чувствовать моложе...

Бен повернулся к Гатцу.

— Это мой сын Джозеф, — улыбнулся он. — А это — наш сосед по этажу Джон Сорренсон.

Гатц и Сорренсон пожали друг другу руки.

— Мистер Гатц — частный следователь, он помогает полиции раскрыть то убийство... — пояснил Бен.

Сорренсон побледнел.

— Давайте лучше не будем об этом... Я и так уже две ночи не могу нормально заснуть.

Они подошли к подъезду, и Бен с удивлением взглянул на привратника.

— Бирок неожиданно прихворнул, — объяснил Сорренсон.

Тут Гатц выступил вперед и неуверенно произнес:

— Мистер Бэрдет, мне нужна еще минута вашего драгоценного времени...

— Хорошо. — Бен обратился к Сорренсону: — Джон, вы не могли бы отвезти малыша наверх?

— С удовольствием! — обрадовался старик. — И заодно погляжу, как чувствует себя Фэй.

— Да, пожалуйста. Дверь открыта.

Сорренсон подхватил мальчика и вместе с ним скрылся в подъезде. Гатц отвел Бена за угол дома и полез во внутренний карман пиджака. Оттуда он извлек фотографию женщины и вручил ее Бену. •

— Это Элисон Паркер.

Бен повернулся спиной к солнцу, чтобы яркие блики на глянцево... фото не мешали как следует рассмотреть его. Да, Элисон Паркер, несомненно, была очень привлекательной девушкой. Высокая, стройная... Кожа, как шелк, и длинные темные волосы, волнами спадающие на округлые плечи. Огромные голубые глаза, чувственные губы и маленький аккуратный носик.

— Оставьте этот снимок себе, — сказал Гатц.

— Зачем? — удивился Бен.

— Ну, просто так. Вдруг пригодится... У меня еще есть такие. Бен облокотился о крыло стоящей рядом машины.

— Теперь все, мистер Гатц?

Детектив кивнул.

— Да. Приходите завтра ровно в час дня. И будьте добры, сделайте мне еще одно одолжение... Не говорите никому ни слова о том, что я рассказал вам в кафе.

— Договорились.

Гатц резко повернулся и, даже не простившись, зашагал прочь.

Бен рассеянно смотрел ему вслед, но перед глазами у него все плыло, как в тумане.

Он снова посмотрел на фотографию Элисон Паркер, сунул ее в карман, покачал головой, вздохнул и пошел домой.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

На следующий день Бен взял такси и отправился в Бронкс по адресу, написанному на салфетке Гатцем. Дом, где жил Гатц, представлял собой пятиэтажное кирпичное сооружение, походившее на уродливого древнего монстра, и располагался в самом центре убогого квартала. Опасливо озираясь по сторонам, Бен зашел внутрь и осторожно поднялся по темной скрипучей лестнице на третий этаж.

248

Он постучал в дверь. Ответа не было. Сверившись с часами, Бен убедился, что уже без пяти минут час. Следовательно, Гатц должен ждать его дома. Ведь он сам назначил встречу именно на это время. Не мог же он в конце концов позабыть о ней. Вряд ли... Скорее всего ему просто понадобилось ненадолго отлучиться куда-то.

Постояв у двери еще пару минут, Бен спустился на первый этаж и позвонил в квартиру управляющего. Ему открыл низенький лысый мужчина, с виду похожий на Уинстона Черчилля и одетый в мешковатые полосатые штаны и синюю майку. В руке мужчина крепко сжимал пивную бутылку.

— Свободных квартир нет, — усталым голосом произнес он, перед этим смачно рыгнув. — А для ожидающих есть список очередников.

— Мне не нужна квартира, — поспешил успокоить его Бен.

— А-а... Значит, вы занимаетесь мелкой торговлей? Так нам тоже ничего не надо.

С этими словами он хотел уже закрыть дверь, но Бен удержал ее.

— Послушайте же!.. Я не торговец. И квартира мне не нужна. — Он зашуршал, лихорадочно соображая, что сказать дальше. — Я страховой инспектор из полиции. — По мнению Бена, это должно было произвести должное впечатление. — И на час дня у меня назначена встреча с мистером Гатцем относительно его пенсии. Но похоже, что его нет дома.

— Нет? — безразлично переспросил управляющий и лениво

почесал под мышкой. Это был самый вульгарный и грязный тип из всех, с кем до сих пор приходилось общаться Бену. — Значит, его и в самом деле нет.

— А вы не знаете, давно он уехал?

— Нет. Я не требую от жильцов отчета. Если хотят уходить, то уходят. И пусть они хоть из окон прыгают, лишь бы квартплата вносилась вовремя. Понятно?

И снова толстяк попытался закрыть дверь, но Бен крепко держал ее.

— Послушайте, а вы не возражаете, если я от вас позвоню?

— Не возражаю. Но позвонить вы все равно не сможете. Телефон не работает. И не откажите в любезности, не шатайтесь по холлу, пока будете его ждать. А то жильцы начинают от этого нервничать.

— Хорошо, я подожду в подъезде, — предложил Бен маленький компромисс. Ему совсем не светило стоять в таком районе у всех на виду. — А можно задать вам еще несколько вопросов?

— Послушайте, мистер, как вас там...

— Всего несколько. Все-таки дело касается полицейского... — не унимался Бен.

Управляющий помолчал, потом нехотя кивнул. Табличка на его двери гласила: «Хардман»¹. И эта фамилия как нельзя лучше характеризовала своего владельца.

— Вы хорошо знаете мистера Гатца? — начал расспрашивать Бен.

— Так себе.

— А он давно здесь живет?

Хардман почесал лысину и попробовал втянуть живот, свисающий у него над ремнем.

— Ну, лет десять, а может, и все двенадцать, — неуверенно протянул он. — Но он тихоня... Никогда ни с кем не разговаривает. Выходит из дому редко. И на беседу его особо не раскачаешь — он же бывший полицейский... А теперь вот на пенсии. Ну, все выяснили? Больше я ничего не знаю.

— А он никогда не упоминал при вас об Элисон Паркер?

— Как-как? Кто это?

— Да так. Просто девушка. — Бен сразу понял, что Гатц, разумеется, не говорил о ней с управляющим.

— Вы знаете, половая жизнь мистера Гатца меня совсем не волнует. У него есть своя конура, и слава Богу. Если он с кем-то и развлекается, то это его личное дело. Лишь бы не мешал соседям.

— Скажите, а вы не могли бы впустить меня в квартиру мистера Гатца? Тогда бы я подождал его там... — попросил Бен.

— Вы, мистер, случайно не сняли? Впустить вас в чужую квартиру? — изумился толстяк.

— Именно так. Гатц сказал, что если он немного и припозднится, то вы обязательно проведете меня к нему, — твердо заявил Бен.

— Черта лысого! И он об этом прекрасно знает. Кстати, если

¹ Хардман — трудный, тяжелый человек. (Прим. перев.)

вы действительно из полиции, так предъявите наконец ваш значок, — спохватился Хардман.

— Значок? — Бен замешкался. — Понимаете... Я ведь не совсем полицейский. Просто страховой инспектор. Насчет пенсии...

— А-а, понятно. Ну раз вы никакой не полицейский, тогда поскорее убирайтесь отсюда и возвращайтесь с кем-нибудь, у кого есть настоящий блестящий значок. И оставьте свои идиотские расспросы при себе. Я не желаю понапрасну тратить на вас свое время.

Он уже окончательно собрался захлопнуть дверь перед носом Бэрдета, как вдруг кто-то окликнул его из глубины квартиры. Хардман обернулся. Из кухни вышла хрупкая миловидная женщина в длинном желтом халате, с аккуратной прической и с тарелкой какого-то кушанья в руках.

— Дорогой, я тут случайно услышала ваш разговор... — застенчиво начала она.

Женщина произвела на Бена приятное впечатление, заставив его искренне удивиться, насколько разные люди могут оказаться супругами.

— Гатц сейчас у себя, — твердо заявила жена Хардмана. — Полчаса назад я выносила мусор и встретила его во дворе. Он как раз возвращался откуда-то. И еще сказал, что на час дня у него назначена очень важная встреча, от которой зависит чуть ли не вся его дальнейшая жизнь. И еще он попросил меня купить для него кое-каких продуктов, потому что сам он никак не мог отлучиться из квартиры. Я сразу поняла, что эта встреча действительно важная, раз уж он так спешит. Так что он наверху, молодой человек.

— Но это невозможно! — пробормотал Бен. — Правда, пока я стучался, он мог принимать душ и не слышать меня...

— Нет тут у нас никаких дверей, — мрачно буркнул Хардман.

— Значит, он должен был слышать. Я ведь колотил по его двери минуты две или три... — Бен был озадачен. — Что ж, пойду попробую еще раз.

Управляющий недоуменно посмотрел на жену.

— Он точно у себя, — еще раз подтвердила она.

— Тогда я тоже пойду с вами, — заявил толстяк, вышел на лестницу и первым зашагал наверх.

— Кстати, моя фамилия Хардман, — представился он по пути к двери Гатца.

— Бен Бэрдет, — в свою очередь отозвался Бен.

Дойдя до квартиры, они снова, теперь уже вдвоем, стали громко стучать по двери, но ответа так и не дождались. Бен выжидающе уставился на управляющего, тот недовольно буркнул что-то себе под нос, а потом достал связку дубликатов ключей и открыл замок.

В квартире кто-то основательно перевернул все вверх дном. Ящики шкафа были выдвинуты, белье разбросано по всей комнате. Даже занавески с окон и то умудрились сорвать. Матрас на кровати оказался вспорот и нещадно разодран, словно в нем что-то искали.

«Что же могло здесь случиться? — терялся в догадках Бен. —

И куда подевался сам Гатц?.. Ведь если миссис Хардман полчаса назад видела его в полном здравии, значит, нападение произошло совсем недавно — буквально за несколько минут до моего прихода сюда. Но Гатц, естественно, не стал бы молча стоять и смотреть на происходящее. Он или сам начал бы защищать свое жилище, или позвал бы на помощь. Однако, судя по всему, он не сделал ни того, ни другого. А если все это случилось еще ночью? Впрочем, нет, такого тоже не может быть. Ведь тогда бы Гатц непременно сказал о взломщиках миссис Хардман».

— Я думаю, лучше всего вызвать полицию,— посоветовал Бен, мрачно оглядывая помещение.

— Д-да уж,— запинаясь, произнес Хардман, протянул руку к лежащему на полу телефону и дрожащим пальцем стал крутить диск.— Дайте полицию,— пролепетал он, услышав голос телефонистки.

Бен начал осматривать разгромленную квартиру. Что же грабители могли искать в этом убогом жилище? Уж не связано ли это как-нибудь с Элисон Паркер?..

Он тщательно обыскал спальню, потом крошечную ванную комнату, но ничего интересного не обнаружил и перешел в кабинет Гатца.

— Что вы тут рыщете? — нахмурился управляющий.

— Сам не знаю,— безразличным тоном ответил Бен.

— Лучше подождать, пока прибудет полиция,— посоветовал Хардман.

Бен повернулся и с невинной улыбкой на губах произнес:

— Видите ли, друг мой, когда они будут здесь, я уже вряд ли смогу что-нибудь отыскать.

Ответа на это странное заявление не последовало — вся спесь с управляющего уже слетела. Опустив голову, он медленно побрел в кухню, и Бен услышал, как там с ревом открылся водопроводный кран.

Сам Бэрдет в это время исследовал полки и ящики письменного стола в кабинете. Большинство книг валялись на полу. Он начал поднимать их одну за другой, но ничего заслуживающего внимания не нашел. Потом Бен внимательно осмотрел следы, оставшиеся на пыльной мебели от стоявших на ней предметов, — видимо, Гатц редко протирал пыль в своей холостяцкой норе. На нижней полке книжного шкафа остались прямоугольные отпечатки каких-то папок или журналов. Исследовав пол, Бен понял, что как раз этих-то папок и недостает.

Из кухни раздался пронзительный вопль, а потом Хардман начал истошно звать Бена на помощь. Тот сломя голову рывачулся к нему.

Хардман стоял возле холодильника. Дверца была открыта, а внутри находилось мертвое тело детектива Томаса Гатца.

— Господи! — ахнул Бен.

— Что ж нам теперь делать? — прошептал Хардман.

— Ничего. Сейчас приедет полиция. Пусть они и разбираются,— твердо заявил Бен.

— Надо же! Прямо в моем доме... — причитал толстяк.— Прямо у меня под носом... И всего-то полчаса назад он разгова-

ривал с моей женой... Нет, не могу в это поверить... О Боже!..

— Бог нам вряд ли поможет. А вам лучше всего присесть. И если хватит сил, хорошенько умыться холодной водой — полегчает... — инструктировал Бен.

Хардман, пошатываясь, побрел в ванную. А Бен, не теряя времени, вернулся в комнату и еще раз обшарил все уголки. Так и не найдя ничего, он поднял с пола перевернутый стул и уселся на него верхом, сложив руки на спинке. Теперь главное — взять себя в руки и сосредоточиться. Через пару минут сюда придут полиция. Естественно, они начнут допрашивать его и первым делом заинтересуются, чего ради он пришел к Гатцу. Значит, надо заранее придумать версию, которая могла бы их удовлетворить. Разумеется, если он упомянет об убийстве в компакторе, они начнут тут же сопоставлять факты. Но уйти от этого все равно невозможно. И бежать уже поздно. Хардман видел его, к тому же Бен успел представиться, и его непременно разыщут.

Наконец из ванной появился бледный как смерть управляющий. Он проковылял в комнату и со стоном плюхнулся на край перевернутого дивана. С подбородка у него стекала слюна. Видимо, его сильно рвало.

— Наверное, теперь вопрос о пенсии уже мало волнует беднягу Гатца, — заплетающимся языком пробормотал Хардман.

— Согласен с вами, — мрачно кивнул Бен.

Управляющий тяжело вздохнул и закрыл руками лицо. Бен в прежней позе сидел на стуле. В комнате воцарилась полная тишина. Они ждали полицию.

Как Бен и предполагал, полицейские допрашивали его больше часа. Он рассказал им, что по приказу и с согласия инспектора Бурштейна из манхэттенского отдела по расследованию убийств мистер Гатц был подключен к следствию об убийстве в их доме. Заодно пришлось подробно пересказывать и всю историю со злосчастливым трупом в компакторе. Потом Бен пояснил, что при их первой встрече Гатц ничего особенного ему не сказал, а пригласил к себе домой для обстоятельного разговора. И добавил, что если им захочется все это проверить, то надо будет справиться у самого инспектора Бурштейна, который ведет дело об убийстве в подвале.

Полицейские, в свою очередь, сообщили Бену, что они уже давно и безуспешно пытаются найти лейтенанта Бурштейна, а потом связались с его помощником Уосо, и тот в общих чертах подтвердил историю, рассказанную Беню. Хотя сам ничего определенного о связях шефа с Гатцем сказать не мог.

Около четырех часов дня Бена наконец отпустили. Он с радостью покинул дом и, поймав такси, отправился напрямик в манхэттенский отдел по расследованию убийств.

Всю дорогу он тупо смотрел в окошко автомобиля, рассуждая о том, что могло случиться в квартире Гатца и как это связано с его вчерашним рассказом. Цепь происшедших событий начала серьезно тревожить Бена. А убийство Гатца совсем выбило его из колеи. Ведь этот пожилой джентльмен был довольно крепким малым и вовсе не из робкого десятка, так что нужна была

немалая сила, чтобы придушить его. Но, как бы там ни было, Гатц погиб и унес с собой в могилу все обещанные доказательства и разъяснения. И если теперь Бен вздумает идти дальше самостоятельно, то ему придется иметь дело уже с Бурштейном, а может быть, и с самой Элисон Паркер, у которой наверняка есть ответ на все волнующие его вопросы.

Выйдя из автомобиля возле полицейского Управления, он поднялся в отдел по расследованию убийств и тут же попросил дежурного позвать инспектора Бурштейна. Тот позвонил куда-то, и через несколько минут перед Беном предстал сержант Уосо еще с каким-то полицейским.

— Мистер Бэрдет, если не ошибаюсь? — вежливо спросил Уосо, протягивая Бену руку.

Бен ответил рукопожатием, а в это время Уосо представил ему второго полицейского — детектива по фамилии Якобелли.

— Пройдем в свободную комнату, — предложил Уосо.

— Но мне хотелось бы поговорить с Бурштейном, — заметил Бен, когда все трое зашагали по коридору.

— Да, но сначала я должен задать вам несколько вопросов относительно Гатца, — безапелляционно заявил сержант.

— Послушайте, мистер Уосо, меня только что допрашивали в течение двух часов, и я рассказал уже все, что мне известно, в отделе по расследованию убийств в Бронксе. Поговорите с ними. Вы, правда, с ними уже связывались, но, раз так надо, позвоните еще, и они вам все подробно изложат. Что же касается меня, то мне надо увидеться с мистером Бурштейном, а потом торопиться домой к жене. Это, я надеюсь, понятно?

— Расскажите мне все о Гатце, — еще раз неумолимо потребовал Уосо. — С самого начала. И по порядку.

Бен вздохнул и снова начал рассказывать. Он не упустил ничего, кроме разговора в пивной. Об этом он будет говорить только с Бурштейном. Тем более что сам Гатц просил его не особо распространяться на этот счет.

Уосо задавал все новые вопросы и строил самые невероятные теории относительно таинственной связи между убийством в подвале и смертью отставного инспектора.

Когда запас вопросов иссяк и полицейский замолчал, Бен сложил руки на груди и сердито спросил:

— Ну теперь, может быть, хватит? Я сижу в вашей комнате для допросов уже столько времени, что вы успели выжать из меня абсолютно все, что я знал, кроме, пожалуй, таблицы умножения. А теперь уж, будьте любезны, пригласите сюда лейтенанта Бурштейна. Я надеюсь, вы не откажете мне в этой маленькой просьбе?

— Нет, — согласился Уосо. — Но это будет чертовски трудно.

— Почему же? — удивился Бен.

— Потому что он умер! — отрезал Уосо.

Бен почувствовал, как сердце его куда-то проваливается, а перед глазами все начинает плыть и размазываться в цветные пятна.

— Он сгорел в своем собственном доме вместе с женой, прямо

во сне, — продолжал Уосо. — Мы узнали об этом всего час назад. По предварительным данным, там был поджог.

Бен онемел. Уосо помог ему встать и посоветовал ехать домой, на прощание напомнив, что, если Бен понадобится, его сразу же вызовут.

Минуту спустя Бен на ватных ногах вышел из полиции и, не в силах идти дальше, остановился на углу. А потом закинул голову и посмотрел в небо.

— Господи! — невольно вырвался у него отчаянный крик. И настолько громкий, что если бы Бог слушал его в этот момент, то непременно услышал бы...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Сначала неопознанное тело в компакторе. Потом смерть Гатца. И, наконец, Бурштейна.

Есть ли между всем этим какая-то связь?.. Возможно. Но, разумеется, все можно объяснить и простым совпадением. Старая монахиня скорее всего не имеет отношения к трупу в подвале. А Гатца задушил обыкновенный вор-взломщик, забравшийся к нему в квартиру... Что же касается Бурштейна, то он вместе с женой стал жертвой какого-то маньяка-пиромана. Но в глубине души Бен чувствовал, что все эти убийства связаны, и Гатца с Бурштейном убрали лишь потому, что им слишком многое стало известно. И Майкл Фармер тоже погиб из-за этого, равно как и старый священник — как его? — отец Галлиран. А теперь вот Бурштейн и Гатц...

254

Бен подвел итог кровавой статистике. Получилось, что одна лишь Дженнифер Лирсон еще в силах пролить свет на эту тайну, но и она куда-то исчезла. И если действительно кто-то пытается замести следы, то и мисс Лирсон наверняка уже следует искать среди трупов. А если нет, то она непременно станет следующей жертвой. Вот только чьей именно?.. Если верить рассказу Гатца, заговорщики каким-то образом связаны со старой монахиней, а значит, следы приведут его в Управление нью-йоркской епархии.

Бен ускорил шаг. Теперь — быстрее домой, к Фэй, расслабиться и хотя бы на время забыть обо всем.

Но в то же время он прекрасно понимал, что все как раз только и начинается, и если он не хочет, чтобы судьба дальше сама диктовала ему будущее, он должен действовать. Смело и решительно. Теперь Бен сам выяснит все до конца.

И начнет это завтра же утром!

— Что произошло? У нас вечеринка? По какому же поводу? — Бен стоял в дверях и растерянно улыбался.

— Я чувствую себя значительно лучше, — сообщила ему Фэй, а потом спрыгнула с кушетки, подбежала к мужу и обняла его.

— Вот видите! — усмехнулся старик Сорренсон, сидевший в кресле гостиницы. — Я же говорил вам: еще пара дней, и все это пройдет. Надо лишь проявлять к ней побольше внимания и заботы.

Из кухни появилась Грейс Вудбридж с подносом, уставленным чашками и блюдами.

— Вот,— сказала она,— чай и кофе. Разбирайте, кому что нравится.

— Поставьте лучше на стол,— предложила Фэй, провела Бена в комнату и усадила на диван рядом с Ральфом Дженкинсом.

— Милая, а ты уверена, что хорошо себя чувствуешь? — с сомнением в голосе произнес Бен.

— Да, я проснулась где-то час назад и почувствовала себя на миллион долларов! — С этими словами она взяла малыша из рук Дженкинса, который до сих пор нянчил его, и начала нежно укачивать. — И когда я увидела Джона, Ральфа и Грейс, мне стало еще лучше. Верить?

— Да... Могу представить себе.

— А где ты был? — поинтересовалась Фэй.

— Выходил ненадолго. А что, кто-нибудь звонил?

— Пока я был здесь, телефон молчал,— сообщил Сорренсон. — А я здесь, между прочим, с того самого момента, как ты ушел.

— Так, значит, вам пришлось пропустить репетицию? — расстроился Бен.

— Да ладно!.. Какая там репетиция, когда здесь я нужнее. Мы ведь друзья... И, кстати, я не единственный, кто пошел на такую жертву, если уж тебе больше нравится именно так воспринимать помощь друга. Вот Ральф, например, пропустил конференцию по проблемам античной культуры...

— Это все пустяки,— перебил его Ральф.— Так вы встретились с полицейским?

— Да,— коротко ответил Бен. Он не стал объяснять Дженкинсу, зачем идет к Гатцу, а просто упомянул, что такая встреча должна состояться сегодня в час дня. Теперь же Бен надеялся, что ни голос, ни выражение лица не выдадут его волнения. — Все в порядке,— бодро добавил он.

— Ну и чудесно! — подвела итог Грейс, заканчивая сервировку стола. — Пора уже забыть обо всех печалях и начать говорить в этом доме только о приятном. Макс тоже ушел на работу со стонами и вздохами. А когда я появилась здесь, то первым делом услышала, как Джон с Ральфом беседуют о конце света и о том, что скоро на всей земле начнутся страшные катаклизмы. Слава Богу, Фэй спала и ничего не слышала. Почему-то у всех мужчин вдруг разыгралось мрачное воображение. И надо сказать, я успела уже порядком устать от этого. Да и Фэй сейчас нечего нервничать и вступать в подобные разговоры. Так что все кончено и забыто!

— И вы, кстати, мне это обещали,— напомнила Фэй.

Она встала и закружилась по комнате с малышом на руках. От этого он начал громко смеяться, и вслед за маленьким Джоном рассмеялись все остальные. Да так весело и непринужденно, как не смеялись уже давно.

Грейс начала передавать по кругу закуски. Бен усадил Фэй рядом с собой на кушетку и возбужденно заговорил:

— Ты даже не представляешь, как я рад снова видеть тебя здоровой! И всех наших друзей рядом с тобой. Джона, Ральфа,

Грейс... Спасибо вам всем, что остались сегодня с Фэй. Вы настоящие друзья. Может быть, действительно все уже кончилось?.. Ну, а ты как считаешь, сынок? Наша мамочка и в самом деле поправи...сь?

Малыш помахал ручкой, и губы его растянулись в беззубой улыбке.

Бен поднялся и отошел к окну. Тут только он обратил внимание на пишущую машинку и толстую папку, в которой лежал его неоконченный роман. Он совсем забросил его.

— Дорогой, я хочу, чтобы ты скорее вернулся к своей работе, — проговорила Фэй, отхлебывая чай.

— Конечно, — неуверенно произнес Бен, перелистывая уже наполовину забытые страницы.

— Я ожидаю от вас шедевра, — сказал подошедший к нему Дженкинс.

— Правда? — удивленно спросил Бен, а сам подумал: «Да уж, Ральф... Если б вам было известно то же, что мне, то вам бы меньше всего хотелось сейчас заниматься этим проклятым романом».

— Я знаю все наперед, — похвастался Ральф. — Вы закончите роман, доведете его до совершенства, потом — к издателю; и очень скоро станете автором замечательного бестселлера.

— Вашими бы устами мед пить, — смущенно усмехнулся Бен. Дженкинс довольно кивнул. К ним присоединился Сорренсон, а Фэй и Грейс стали рассматривать журнал мод.

— Знаете, а я все же занялся нашей старой монахиней, — шепотом сообщил старик.

Бен резко взглянул на него.

— Это правда?

— Конечно. Я ведь обещал... Только не спрашивайте, как мне это удалось, но я выяснил, что ее счета за жилье оплачивает некто Леффлер.

— А кто он? — заинтересовался Дженкинс.

— Это я тоже установил. У меня один приятель работает в Управлении нью-йоркской епархии. Я попросил его навести справки, и он выяснил, что Леффлер — казначей в канцелярии архиепископа.

— И что это нам дает? — спросил Бен.

— Пока не очень многое. Мы ведь и так знали, что домом владеет Церковь, и подозревали, что они же платят и за квартиру монахини. А теперь мы знаем наверняка.

— Эй, о чем вы там снова шепчетесь? — раздался недовольный голос Фэй.

— Да о всяких пустяках, — тут же с улыбкой ответил Бен.

— Нет, вы разговаривали о монахине. Я угадала?

Бен прокашлялся.

— Ну, что-то вроде того.

— Да сколько можно! Я уже устала говорить, чтобы вы оставили ее в покое. Если сестре Терезе хочется сидеть у окна, пусть себе сидит.

— Что ты сказала? — вздрогнул Бен.

— Сестре Терезе... Так зовут эту монахиню.

— А откуда тебе это известно? — насторожился Бен.

Фэй неопределенно пожала плечами.

— Кто тебе сказал ее имя?

— Никто. — Она растерянно улыбнулась. — Просто я знала его...

Бен посмотрел на Ральфа и Джона, но они сами были удивлены не меньше его. Потом он сел рядом с Фэй и осторожно взял ее за руку.

— А что тебе еще известно о ней?

— В каком смысле, Бен?

— Ты сама знаешь, в каком.

Фэй промолчала. Он попытался взять ее за плечи, но она вывернулась.

— А как ее звали до того, как она стала сестрой Терезой? — не отступал Бен.

Сорренсон, Дженкинс и Грейс Вудбридж застыли как вкопанные.

— Как ее звали?!

Фэй задрожала.

— Элисон, — хрипло произнесла она. — Элисон Паркер.

Бен тяжело опустился на диван. Все молчали, боясь произнести хоть слово.

— Элисон Паркер, — повторил Бен, чуть не плача. — Да. Все верно. Элисон Паркер.

Гости давно уже разошлись, когда в прихожей раздался звонок. Бен вышел из спальни, чтобы открыть дверь.

— Надеюсь, я вас не потревожил? — извиняющимся голосом спросил Бирок.

Бен устало посмотрел на часы.

— Нет, Джо. Мы только собирались ложиться. Что-то я вас не видел ни вчера, ни сегодня...

— Вчера меня весь день не было, а сегодня я вышел поздно, во вторую смену. Мне разрешили немного отдохнуть... После того, что случилось, я неважно себя чувствовал.

— Понимаю, — кивнул Бен. — Вы что-то хотели?

— Нет, мистер Бэрдет, просто узнать, как чувствует себя миссис Бэрдет. Я не хотел беспокоить вас, но меня это так волновало, что я не удержался — и вот пришел...

— Да ладно вам, Джо! Мы рады видеть вас в любое время! А Фэй уже значительно лучше. Я передам ей, что вы заходили справиться о ее здоровье, она будет очень довольна.

Бирок улыбнулся.

— Вот это приятные новости! А то я так волновался... — Он открыл дверь и уже на пороге обернулся к Бену: — Мистер Бэрдет, я завтра на службе; если вам что-нибудь будет нужно, звоните мне вниз. Не важно, что именно. Я все устрою.

— Спасибо, Джо. Вы настоящий друг.

— Спокойной ночи, мистер Бэрдет.

— Спокойной ночи, Джо.

Бен закрыл за ним дверь и, уже лежа в кровати, вдруг почувствовал, будто его окатили ледяной водой. Но это был не

обычный холод, какой люди ощущают зимой. Холодно было не коже, а где-то внутри. Бену даже подумалось, что у него начала замерзать душа.

Фэй лежала рядом и читала книгу. Он искоса смотрел на нее и прислушивался к малышу, ворочавшемуся в своей кровати.

— Фэй,— позвал Бен жену.

— Да, дорогой,— ответила она, не отрывая глаз от книги.

— Ты можешь оставить на минутку чтение? Я хочу тебя кое о чем спросить.

— Конечно. Спрашивай.

— Тебе не кажется странным, что ты знаешь имя этой монахини?

Фэй удивленно посмотрела на мужа, а потом неуверенно пожала плечами.

— Наверное, мне его кто-то сказал. Откуда бы я еще могла знать?

— Но ведь ты не помнишь, чтобы кто-то тебе его говорил, верно?

— Не помню. Но ты уже спрашивал об этом.— Фэй недовольно нахмурилась.

— Хорошо. Оставим это. Тогда еще кое-что... Ты когда-нибудь пыталась покончить с собой?

Лицо Фэй приняло до того странное выражение, что Бен даже перепугался.

— Было такое? — уже тише спросил он.

— А зачем тебе знать?

— Это сейчас очень важно...

— Послушай, Бен. Мы женаты уже семь лет, а знакомы целых двенадцать. И вдруг ты задаешь такие вопросы...

— Фэй, милая, это же так просто! Если такого не было, что тебе стоит сказать, что не было, а?

Она сердито отбросила книгу и натянула одеяло повыше, почти до самого подбородка. Глаза ее смотрели куда-то в сторону.

— А что, если я пыталась убить себя? — с вызовом спросила Фэй, и голос ее показался Бену таким далеким, словно эти слова произнес кто-то другой.— Это что-нибудь изменит?

— Конечно, нет! Просто мне надо знать.

— Ну, хорошо,— сдалась Фэй, сверля его ледяным взглядом.— Я пыталась покончить жизнь самоубийством. Но это было очень давно, еще до нашего знакомства.

Бен долго молчал, а потом еле слышно произнес:

— Зачем? Почему?

— Давай закончим на том, что это было, и все. Я поклялась, что никогда не буду говорить об этом. И долго пыталась забыть...

— Фэй... Я...

— Я не хочу больше говорить. Не надо, пожалуйста... Я даже вспоминать об этом не могу. Обещай, что никогда больше не будешь меня расспрашивать, ладно?

— Ладно, обещаю,— после некоторой паузы выдавил из себя Бен. Это признание было последней каплей, окончательно побудившей его к действиям. К каким именно действиям, Бен пока

не знал, и поэтому просто спросил: — Кстати, почему мы до сих пор не спим?

Фэй ничего ему не ответила.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Бен вышел из дому в восемь утра. На улице бушевал проливной дождь, и не было видно ни одного свободного такси. Ему пришлось сесть в автобус и сделать несколько пересадок, чтобы добраться до Центрального парка, откуда он решил начать поиски. Когда Бен выходил из метро, в лицо ему хлестнул сырой порывистый ветер, и он поспешил укрыться в ближайшем баре, где заказал себе чашку кофе, достал из кармана плаща краткий справочник нью-йоркских агентств по найму манекенщиц и домов моделей и принялся изучать адреса. Некоторые находились совсем близко, другие — ближе к пригороду. Если ему повезет с такси, то в принципе можно объехать все центральные дома моды за один день. Правда, он рассчитывал, что ему не придется слишком долго колесить по городу, втайне надеясь выйти на Дженнифер довольно быстро. Хотя он и отдавал себе отчет в тех сложностях, которые могут встать на его пути. Ведь прошло уже целых пятнадцать лет! А для профессии манекенщицы, где главное — молодость и красота, это очень большой срок, и мало кто остается в этом бизнесе настолько долго. Но, может быть, она продолжает работать в какой-нибудь другой должности?

После второй чашки кофе Бен обошел пешком все агентства, расположенные в центре города. Но никто не слышал ни о какой Лирсон, и хотя две-три бухгалтерии все же вспомнили имя Элисон Паркер, они так и не смогли рассказать толком, что с ней случилось и куда она делась.

Чем больше агентов обходил Бен, тем сильнее он склонялся к мысли, что попусту теряет время. Наконец в одном доме мод ему сказали, что помнят какую-то манекенщицу, чье имя было связано с некими загадочными убийствами. Вместе с ней работала и другая девушка, по имени Расти. Но то агентство вскоре закрыли, хотя Расти продолжает работать, правда, теперь уже в другом месте — в доме моделей миссис Бланшар.

Бен уточнил адрес фирмы Бланшар и вышел на улицу. Агентство миссис Бланшар располагалось на втором этаже. Владелица оказалась приятной женщиной лет сорока. Кроме нее, здесь работало еще восемь женщин, и одной из них была та самая Расти.

— Меня зовут Бен Бэрдет, — представился он, пожимая худую веснушчатую руку женщины.

Расти была высокой стройной блондинкой с румяным лицом и мягким, располагающим голосом.

— А я — Расти, — просто ответила она.

Бен кивнул.

— Послушайте, Расти... Вы меня очень обяжете, если поможете в одном деле...

— Я постараюсь, если смогу, конечно. — Женщина видела, что Бен напряжен и взволнован.

Он присел рядом с ней на краешек кресла.

— Я разыскиваю Дженнифер Лирсон.

— Дженнифер Лирсон? — переспросила Расти. — О Господи, я сто лет уже не слышала ее имени... Ну, разумеется, я была с ней хорошо знакома. В свое время она считалась одной из лучших манекенщиц Нью-Йорка.

— Да, мне об этом тоже говорили, — подтвердил Бен. Он смотрел на Расти умоляющими глазами и ждал, когда она начнет рассказывать о Дженнифер.

— Она была лучшей подругой другой манекенщицы — Элисон Паркер. Я тогда занималась ими обеими — искала им выгодные контракты. Но то, что произошло с этими девушками, просто трагедия...

— И что же с ними случилось?

— Ну... Я, конечно, не знаю всех подробностей. Вам лучше обратиться в полицию... Они были прекрасными манекенщицами. И если бы ничего не произошло, они наверняка стали бы весьма популярными в своей области. Особенно Элисон. Нет, звездами им стать было не суждено, но я точно уверена, что будущее было бы за ними. Они всегда ходили вместе, как сестры, и вечно о чем-то болтали и хохотали, как заведенные. Если я не ошибаюсь, Элисон приехала из Индианы, а Дженнифер — из Мейкона, это в штате Джорджия. Они прожили здесь всего два года. Сначала снимали одну квартиру, а потом Элисон переехала к своему парню, юристу. Его звали Майкл Фармер.

Бен достал сигару и закурил. Он понял, что эта женщина знает многое и расскажет ему все, что ей известно.

— А потом произошло несчастье. Элисон бесследно исчезла, будто ее и вовсе никогда не было, а ее друга убили... Да... Об этом тогда много писали в газетах, велось полицейское расследование, только, мне помнится, они так ничего и не выяснили.

Бен облизнул пересохшие губы и кивнул, давая понять, что он с нетерпением ждет продолжения истории.

Расти вздохнула и опустила руки на колени, переплетя пальцы.

— Но особенно мне жалко Дженнифер.

— Почему?

— Ну... для нее наступили трудные времена. Конечно, то же самое могло случиться и с Элисон, но Элисон так никто больше и не видел, поэтому трудно судить, что с ней стало и что ей пришлось пережить. Вы меня понимаете?..

— Да, конечно, — участливо откликнулся Бен.

— После этого убийства Дженнифер долго не могла прийти в себя. А когда она снова появилась на работе, ее было не узнать. Перед нами будто предстал совсем другой человек... Я уже, кажется, говорила, что Дженнифер отличалась редкостной красотой. У нее были густые черные волосы, смуглая кожа, великолепная фигура и улыбка, способная растопить лед... И что же с ней стало! Бледная как смерть, похудевшая на двадцать фунтов — просто скелет, обтянутый кожей!.. Можно было подумать, что она только что сбежала из концлагеря. Под глазами — синяки и морщины, и вдобавок ее все время трясло. Когда мы ее

увидели, у нас как раз был обеденный перерыв, и у всех сразу же пропал аппетит. Она говорила, что ее замучили бесконечными допросами в полиции, а потом понесла какую-то несусветную чушь насчет Майкла и Элисон. Я сразу поняла, что у нее не все дома. Мысли ее сильно путались, и из того, что она говорила, было трудно что-либо понять. И еще у нее, очевидно, началась мания преследования. Она твердила о каком-то заговоре религиозных фанатиков, которые выслеживают ее, и тому подобное... Даже носила в сумочке пистолет на случай их нападения, чтобы обороняться. Я посоветовала ей хорошенько отдохнуть, уехать куда-нибудь на годик-другой. Но она твердила, что ей нужна работа, потому что четыре раза в неделю она ходит к психиатру, а денег на оплату счетов у нее нет.

Потом она исчезла на несколько месяцев. А когда появилась — выглядела еще хуже. Паранойя полностью одолела ее, начался маниакально-депрессивный психоз. А примерно через год после первого появления Лирсон я попыталась связаться с ней, потому что у нее остались неоплаченные чеки от фирмы. Но к телефону никто не подходил. Тогда я поехала к ней на квартиру и позвонила в дверь. Дженнифер открыла мне и впустила внутрь. Да, эту квартиру надо было видеть!.. Уборки там не производилось уже несколько месяцев. Везде лежал мусор — на полу, на мебели... Грязные тарелки с недоеденной пищей, раковина тоже забита грязной посудой... Бог мой, это было действительно ужасно! Я попыталась убедить ее переехать оттуда, но, разумеется, безрезультатно. Она объявила, что с профессией манекенщицы решила покончить, так как нашла себе более подходящий способ зарабатывать деньги. Я сразу поняла, что ей требуется много денег — на руках у нее были бесчисленные следы от уколов. Теперь она кололась наркотиками. Может быть, героин или морфий... Я уточнять не стала.

— И такое случилось с ней всего за один год? — изумился Бен.

— Да. Но с тех пор прошло уже четырнадцать лет... — Расти немного помолчала, а потом продолжила свой страшный рассказ: — Через пару месяцев я все же узнала, как именно Дженнифер зарабатывает на жизнь. Мне рассказала об этом другая манекенщица, Виктория, которая хорошо знала и ее, и Элисон. Виктория в тот вечер гуляла со своим приятелем по Бродвею, и вдруг они заметили на углу девушку, пристающую к мужчинам. Она была в сильном наркотическом опьянении. И ею оказалась Дженнифер... Виктория пыталась заговорить с ней, но Дженнифер не отвечала. А потом из соседнего подъезда вышел сутенер и предложил ее какому-то пуэрториканцу, который тут же подхватил Дженнифер и затащил в свою машину. Они сразу уехали, а Виктория, потрясенная этой встречей, еще долго не могла сдвинуться с места. Она хотела расспросить о ней сутенера, но тот отказался отвечать на вопросы и скрылся в подъезде.

Я не слышала о ней очень долго, — продолжала женщина. — Наверное, года два... И вот как-то вечером... Я хорошо помню это. Был как раз канун Рождества... Зазвонил телефон, я сняла трубку и услышала голос Дженнифер. Он был какой-то слабый и дрожал. Она объяснила мне, что ввела себе очень большую

дозу наркотика. Я сразу же позвонила в полицию, и Дженнифер отвезли в психиатрическую лечебницу. Я разыскала телефон ее родителей и связалась с ними. Но отец Дженнифер заявил, что к судьбе дочери не имеет больше никакого отношения и ему на нее наплевать. Если умрет, значит, пусть умирает. И повесил трубку. Это было невероятно!.. А через пару месяцев я сама попробовала поговорить с Дженнифер — ее выпустили из больницы, и теперь она лечилась амбулаторно. Но на этот раз ее фантазии приняли совсем уж угрожающий характер, и сразу после этого она снова исчезла. А объявилась только через полтора года, сообщив, что ее насильно уперли в психушку, но зато там окончательно вылечили. Она снова хотела вернуться к профессии манекенщицы. Я попросила ее заехать, хотя прекрасно понимала: не важно, как выглядит теперь Дженнифер — прошло уже слишком много времени... Слава Богу, она приехала перед самым закрытием, когда из агентства уже почти все ушли. Ей ведь не было еще тридцати, но выглядела она, как старуха. А ее взгляд мог напугать кого угодно — безумный, блуждающий, как у загнанного зверька. Я попросила задержаться еще одну нашу сотрудницу, потому что оставаться с Дженнифер наедине мне было страшно. И попыталась толково объяснить ей, что с этой работой у нее пока ничего не выйдет. Я боялась, что она начнет психовать, но все обошлось — она вела себя спокойно и тихо. Просто стояла и слушала, будто знала заранее, что я отвечу именно так. А потом повернулась и молча ушла. С тех пор я ее больше не видела.

Бен судорожно курил сигару. Неожиданно он почувствовал, что его охватывает нервная дрожь. «Боже мой! — пронеслось в голове. — Как же все это получилось?!»

— Так вы точно ее больше не видели? — напряженно спросил он. — И даже не знаете, где ее можно найти?

— А вот этого я не говорила.

Бен подался вперед.

— Так где же она?

— В психиатрической клинике.

— В какой именно?

— В Риверхеде, на Лонг-Айленде. Правда, что с ней сейчас стало, я не знаю, но не надо меня вмешивать, если можно. Я не хотела бы снова встречаться с ней.

— Разумеется! — поспешил заверить ее Бен. — Не знаю, как вас и благодарить.

— Не стоит. Надеюсь, я была вам полезной.

— Конечно! Огромное спасибо.

— Мистер Бэрдет, — вдруг сказала она. — Я забыла спросить вас, а зачем вам понадобилось так подробно узнавать судьбу Дженнифер? Почему вы ею так интересуетесь?

Бен улыбнулся и внимательно посмотрел в зеленые, как у кошки, глаза Расти.

— Почему? — повторил он. — Потому что, сдается мне, я нашел Элисон Паркер.

— За последние шесть или семь лет, — начал свой рассказ

доктор Тагуичи, — ее клали в больницу несколько раз. Хотя диагноз был ясен с самого начала. Но что странно: несмотря на тяжелый психоз, она проявляла симптомы и других болезней.

— Я вас что-то не понимаю, — признался Бен.

Они направились к больничному корпусу через ухоженный зеленый дворик.

— Видите ли, — продолжал врач, — в большинстве случаев мы наблюдаем комплекс характерных симптомов, которые позволяют нам безошибочно установить у больного шизофрению. А вот у Дженнифер Лирсон проявились еще и другие депрессивные и параноидальные тенденции. Она всегда была напряжена, подозрительна, а иногда даже враждебно и агрессивно настроена. И при этом постоянно развивала одну и ту же теорию преследования, которую никогда не меняла, а только расширяла год от года.

— И что же это за теория?

— Если даже предположить, что бред преследования насчет заговора против нее католической церкви и имеет под собой какие-то основания, кроме него у Дженнифер возникала масса других версий, которые уж точно никак не назовешь истинными. Она, например, убеждена, что священники постоянно выслеживают ее с целью убить. Был, правда, и еще один вариант: она считала, что ее хотят захватить и сделать преемницей Элисон Паркер, то есть живой жертвой церкви, выполняющей роль некоей Божьей стражницы на земле. Вообще судьба и личность Элисон занимала очень большое место в ее голове. Потом появились галлюцинации. Она слышала голоса, видела устрашающие картины. Сначала ей померещилось, будто ее сжигают на костре, как Жанну д'Арк, потом показалось, что у нее начало расти сердце... Мистер Бэрдет, это классический случай осложненной галлюцинаторно-параноидной шизофрении. Но, как я уже говорил, кроме этого, у нее есть признаки других расстройств психики. Так, с некоторого времени у Дженнифер начались речевые нарушения. Иногда было совершенно невозможно понять, что она хочет сказать. Потом она заговорила отдельными словами, словно это были какие-то одной ей понятные символы, а затем стала отвечать на любые вопросы уже совсем абсурдной «словесной крошкой». У нее наступала немота, эхололия, вербигерация¹ — короче, все возможные расстройства речи. И каждый раз, когда ее снова доставляли сюда, эти симптомы все больше усиливались. Менялась и ее внешность, и поведение. Она совсем перестала реагировать на окружающую действительность, потеряла всякую способность эмоционального восприятия мира.

— Доктор... Но вы ведь описали мне абсолютного инвалида! Как же вы могли в таком случае выпускать ее из больницы?

— Понимаете, поначалу мисс Лирсон добровольно принимала курс лечения. Тогда болезнь еще поддавалась контролю, и мы имели возможность на время выпускать ее, когда не было обострений. Дома она сама принимала лекарства, которые мы ей

¹ Вербигерация — навязчивое повторение бессмысленных слов или фраз психическими больными. (Прим. перев.)

рекомендовали. Когда какой-то препарат переставал действовать, мы назначали новый... Мы пробовали и различные методы психотерапии, к сожалению, без особого успеха.

— А возвращалась она к вам добровольно?

— О нет! Каждый раз ее насильно приводили родители. Несколько раз она пыталась изувечить себя, а однажды чуть не убила какого-то мужчину, который, очевидно, пытался расплатиться с ней за сексуальные услуги. К тому же галлюцинации стали учащаться и приобрели затяжной характер.

Бен и доктор поднялись на второй этаж и двинулись вперед по длинному белому коридору.

Бен тяжело вздохнул.

— Может быть, мне удастся как-то улучшить ее состояние, — робко предположил он. — Может, то, что я ей расскажу, как-нибудь сдвинет дело с мертвой точки?

— Боюсь разочаровать вас, мистер Бэрдет, — грустно покачал головой доктор, — но она — одна из неизлечимых пациенток нашей больницы. Это очень тяжелый случай. Хотя, конечно, это только мое личное мнение. Правда, оно подтверждается тем, что мы сейчас увидим... Но даже если бы она находилась сейчас в параноической фазе, вы вряд ли смогли бы поговорить с ней. Дело в том, что вот уже четыре года после принудительного помещения сюда дела у мисс Лирсон идут все хуже, и, вероятно, сейчас она находится уже в самой последней стадии заболевания.

Бен непонимающе посмотрел в глаза доктору.

— Она стала кататоником.

— Кем? — переспросил Бен.

— Видите ли, мистер Бэрдет, она совсем утратила связь с действительностью. Сейчас такое состояние встречается довольно редко, но раньше оно было весьма распространено среди подобных больных. Современная терапия в большинстве случаев позволяет вывести человека из этого состояния. Но, к сожалению, ни один из существующих методов на мисс Лирсон не подействовал. Ей не помогли ни нейролептики, ни инсулиновые комы, ни электрошок. Ничего. Вот уже два года она неподвижно лежит на кровати, иногда проявляя полную каталепсию — ее конечности остаются в том положении, которое вы им придадите, постоянно течет слюна... Короче, сейчас сами увидите. — Заметив ужас и отчаяние в глазах Бена, доктор сочувственно поглядел на него и беспомощно развел руками.

Наконец они остановились перед одной из дверей, врач открыл ее, и они вошли внутрь.

Бен едва сдержал крик. Ему стало невыносимо плохо.казалось невероятным, что женщина, которую он сейчас видит, была когда-то красавицей. Перед ним лежала грязная уродливая старуха. Сморщенное пожелтевшее тело, лицо без всякого выражения и пустые бессмысленные глаза.

Пока они стояли в палате, доктор продолжал рассказывать о незавидном состоянии Дженнифер. Один раз Бену даже почудилось, будто она пошевелила губами, но потом он понял, что ошибся. Он пробовал заговорить с ней, перечислял имена, кото-

рые могли бы, по его мнению, разбудить ее спящий мозг: Элисон Паркер, Майкл Фармер, следователь Томас Гатц, монсеньор Франкино... Но она была немой и безучастной ко всему, оставаясь в аду, созданном ее собственным рассудком. Бен почувствовал, что еще немного — и он сам начнет сходить с ума. Он с тревогой посмотрел на Тагуичи.

— К сожалению, мы ничего пока не можем с ней сделать, — как бы извиняясь, сообщил доктор. — Но мы, конечно, не оставляем надежды и продолжаем пробовать разные методы...

— Я хотел бы уйти отсюда, — проговорил Бен, чувствуя, что реальность начинает отползать от него при виде живого трупа мисс Лирсон.

Тагуичи понимающе кивнул и проводил его к выходу.

— Доктор, если намечаются какие-нибудь сдвиги... Ну, вдруг наступит какое-то улучшение... Я хочу, чтобы вы сразу дали мне знать, — попросил Бен.

— Ну, разумеется, — охотно согласился Тагуичи.

Бен глубоко вздохнул. Сейчас ему нестерпимо хотелось рассказать доктору, зачем он приходил сюда, какие у него были причины, и почему он соврал, что является дальним родственником несчастной Дженнифер.

Но ради собственной безопасности, ради спасения Фэй он не мог позволить себе сделать это.

Бен посмотрел на врача, снова вздохнул и опустил глаза, чувствуя себя в полной беспомощности.

Через несколько секунд доктор скрылся за калиткой, а Бен медленно побрел к железнодорожной станции.

Он прождал поезд почти двадцать минут, но наконец по звенящим рельсам к платформам с гулом подкатила нью-йоркская электричка.

Бен осторожно подошел к краю перрона и, держась рукой за поручень возле двери, вошел в вагон, внимательно глядя себе под ноги. Он вдруг испугался, что нечаянно свалится на рельсы, — он, кажется, начал бояться буквально всего.

Поезд тронулся. Бен снял куртку и с тяжелым вздохом опустился на свободное сиденье в конце вагона напротив веселого седого старичка с длинными закрученными усами и коричневой кожаной спортивной сумкой. Молния сумки была расстегнута, и оттуда торчало десятка два пожелтевших старых газет и бутылочки с апельсиновым соком.

— Алекс Харди, — тут же представился чудаковатый попутчик.

— Бэрдет, — буркнул Бен, одарив старика долгим тоскливым взглядом.

Тот понял его по-своему.

— Скучаете, молодой человек? — осведомился старик, усмехнувшись в усы. — Да-а, до Нью-Йорка еще часа полтора. Хорошо хоть после Манорвилла — без остановок.

Бен согласно кивнул, по опыту зная, что вступать в разговор с таким типом — значит, всю дорогу только и слушать его рассказы.

— Я в свое время торговал машинами, — продолжал между

тем мистер Харди. — Много пришлось поездить... И вот что я вам скажу: лучшее дело в дороге — это чтение. — Тут он опять усмехнулся чему-то. — Правда, читать последнее время особенно нечего. И лично я всему прочему предпочитаю старые газеты. — Он с заговорщическим видом указал Бену на свою сумку. — Да и как-то спокойней на душе, когда знаешь, что все эти события, о которых там пишут, давно уже кончились... — С этими словами бывший торговец автомобилями извлек из сумки «Нью-Йорк таймс» двухгодичной давности, «Уолл-стрит джорнэл» и биржевое приложение к «Вашингтон пост». — Вот, очень рекомендую. — Он протянул Бену потрепанную «Таймс». — Чего-нибудь узнаете, а заодно и время убьете...

Бен поблагодарил старика, с облегчением подумав, что дальнейшей беседы, кажется, не последует, и от нечего делать развернул газету на середине.

Неожиданно его внимание привлекла маленькая статья под заголовком «Призрак-заступник?..». Чуть ниже жирным шрифтом было набрано: «Девушка из Сиракуз, пережившая страшную трагедию на вершине горы Адриондак, рассказывает историю об убийстве, граничащую со сверхъестественным».

Бен устроился поудобней и погрузился в чтение.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

В начале четвертого утра Бен вылез из люка на крыше и двинулся в сторону фасада здания.

— Мы здесь, — раздался из темноты чей-то голос.

Бен напряг зрение, но все равно разглядеть ничего не смог. Ему казалось, что с таким же успехом он мог бы всматриваться в черную дыру.

— Мистер Бэрдет! — снова окликнул его кто-то сзади.

Он оглянулся и только теперь заметил двух мужчин в спортивных тапочках и черных комбинезонах, которые шли ему прямо навстречу.

— Простите, я немного опоздал, — извинился Бен.

— Ерунда, — отмахнулся Зеленский, бригадир высотников строительной компании «Уайгатч-9». — Познакомьтесь — это Фил Тэрнер.

Бен кивнул второму мужчине, тот улыбнулся и поправил лыжную шапочку, поглубже натянув ее на уши.

— Люлька готова? — осведомился Бен.

Зеленский довольно кивнул.

— Да, мы подвесили ее еще днем.

— Как же вы прошли в дом? — удивился Бен. — Вас никто не остановил?

— Даже не пытался. Мы сказали привратнику, что управляющий заказал нам кое-какие работы, и нас впустили без разговоров.

Бен подошел к самому краю крыши и посмотрел вниз. Люлька висела прямо перед ним на расстоянии примерно трех футов. Он пощупал крюки, и они показались ему довольно надежными.

— А вы уверены, что эта конструкция выдержит нас троих? — спросил он.

Зеленский только рассмеялся в ответ.

— Послушайте, мистер Бэрдет, нам приходится делать это каждый день. Неужели мы стали бы рисковать своей жизнью, как вы считаете?.. Мы тщательно проверяем всю систему. Канаты, блоки, крепеж... Короче, все до мелочей. — Он улыбнулся и ловко перелез через невысокое ограждение крыши, оказавшись в люльке. Тэрнер еще раз проверил крепление и последовал за своим напарником.

— Мистер Бэрдет, не делайте никаких резких движений, — посоветовал Тэрнер. — Представьте себе, что вам предстоит сейчас залезть в теплую ванну, и действуйте.

— Понял, — коротко ответил Бен и перелез через ограждение. Зеленский и Тэрнер подхватили его и помогли устроиться в люльке, которая немного покачнулась под тяжестью его тела.

— Не волнуйтесь, — успокоил его Зеленский. — Мы все сделаем сами. Спуститься надо всего на несколько футов — это пустячное дело — не займет и минуты.

Напарники разошлись по разным концам люльки и принялись тянуть за канаты, заставляя платформу медленно ползти вниз.

— Знаете что, мистер Бэрдет, — заговорил вдруг Зеленский. — Я, конечно, не очень любопытный человек и не хочу навлекать на себя лишние неприятности, но, скажу вам, это самое сумасшедшее предприятие, в котором мне приходилось участвовать. Я видел вашу монахиню в окне и думаю, что она не очень-то обрадуется нашей затее.

— Успокойтесь. Она глухая, немая, слепая, и к тому же полностью парализована.

— Все равно...

— И потише, пожалуйста, — предупредил Бен.

Люлька дошла до верхнего края окна монахини.

— Теперь помедленней, — шепотом скомандовал Зеленский.

— Все в порядке, — кивнул Тэрнер, крепко держась за канат руками в толстых прорезиненных перчатках.

Бен встал на колени и прижал ладони к стеклу. Вот появилась кружевная занавеска, потом лицо и фигура сидящей женщины. Но даже вблизи он не мог как следует разглядеть ее — слишком уж темно было на улице и за окном.

— Закрепляй! — отдал команду Зеленский.

Тэрнер укрепил канат со своей стороны и кивнул, давая понять, что все сделано, после чего остался на месте. Зеленский же, зафиксировав канат на своем конце люльки, подошел к Бену и заглянул в окно.

— Спать можно от всего этого, — вздохнул он и недовольно покачал головой. — Старая баба с распятием у окна... На вашем месте я не стал бы даже близко подходить к ней.

— Я ценю вашу заботу о моей персоне, мистер Зеленский, — ответил Бен. — Но, как мне помнится, я плачу деньги за вашу работу, а не за лекции, которые вы тут вздумали мне читать. Ясно?

— Конечно. Уже молчу.

Порыв ветра неожиданно качнул люльку, и Бен судорожно вцепился в перила. Зеленский не смог сдержать смеха.

— Да успокойтесь, мистер Бэрдет! Ничего с вами не случится.

— Помогите-ка лучше поднять раму. Надо открыть окно.

Некоторое время они безуспешно пытались сделать это, потом Бен еще раз внимательно осмотрел его и снова опустился на колени.

— Странно. Замок открыт. Наверное, просто раму где-то заело.

Зеленский достал из кармана пару отверток, дал одну Бену, они воткнули инструменты под нижний край рамы и стали расковыривать присохший к ней слой грубой фасадной краски. Потом Бен снова попробовал поднять раму, и на этот раз она поддалась. Еще несколько движений отвертками — и окно наконец послушно открылось.

Бен отодвинул в сторону тюлевую занавеску.

— О Господи! — ахнул он и едва сдержал крик, готовый слететь с его губ.

Женщина представляла собой самое уродливое создание, какое ему только доводилось встречать. Высохшая, вся в трещинах кожа, вздутые вены на шее и руках, распухшие сосуды на лбу и глубокие морщины, избородившие каждый дюйм ее тела. Спутанные седые волосы напоминали ком заплесневелой паутины, а глаза были затянuty плотными бельмами катаракты.

Одета старуха была в черную монашескую робу. На костлявых руках бугрились страшные окостенелые мозоли, а нестриженные ногти угрожающе торчали в разные стороны.

— Эй! У нас, кажется, начинаются неприятности... — содрогнулся Зеленский, напряженно прислушиваясь к глухим щелчкам наверху.

— Что там стряслось? — прошептал Тэрнер со своего конца люльки.

— Ничего. Оставайся пока на месте. — Он повернулся к Бену. — Знаете что, давайте-ка побыстрее сматывать удочки. Что-то не нравится мне все это...

— Но я сделаю все очень быстро. Прощу вас!

Бен вынул из кармана стеклянный стакан, обернутый носовым платком, и попробовал высвободить руку монахини. Но та сжимала крест с такой силой, словно успела уже прирасти к нему. Бену пришлось просить помощи у Зеленского. Тот нехотя потянул монахиню за руку, и наконец ее левая ладонь соскользнула с металла. Бен расправил пальцы старухи, аккуратно прижал к ним стакан, чтобы остались отпечатки, а потом снова завернул его в платок и бережно положил в карман.

Неожиданно поднявшийся ветер начал угрожающе раскачивать люльку перед окном.

— Все. Поднимаемся, — сказал Зеленский тоном, не терпящим возражений.

— Ну, еще секунду! — взмолился Бен, доставая фотобпарат.

— Вверх! — скомандовал Зеленский Тэрнеру.

Тот начал медленно тянуть канат.

Бен наскоро установил выдержку и стал щелкать затвором, пытаясь запечатлеть монахиню как можно большее число раз.

— Вверх! — что есть силы закричал Зеленский и, рванувшись на свой конец люльки, всем телом повис на канате.

Тэрнер продолжал тянуть свой край люльки вверх.

— Ну, теперь держитесь покрепче, мистер Бэрдет, — предупредил Зеленский. Но тот, казалось, не слышал его, а продолжал, как сумасшедший, делать снимок за снимком.

Очередной порыв ветра чуть не перевернул всю платформу, и только тогда Бен поспешно сунул фотоаппарат в карман.

— Ладно, поднимаемся, — сдался он. — Только надо закрыть окно...

— Да к черту окно! Вы что, не соображаете? Мы же сейчас разобьемся! — орал на него Зеленский.

Вдруг Тэрнер указал куда-то вверх.

— Смотрите!

Бен и Зеленский одновременно посмотрели туда, куда указывал Тэрнер.

— Канаты! — закричал бригадир.

Правая подвеска на глазах стала ослабевать, будто подрезанная.

— Господи! — Бен покрылся холодным потом.

Люлька угрожающе накренилась, прижавшись поручнями к стене дома. Бен вцепился в свободный конец каната.

— Не поможет! — выкрикнул Тэрнер и осторожно двинулся к центру платформы. — Надо прыгать в окно!

Зеленский ухватился за нижний край рамы. Тэрнер едва успел уцепиться за подоконник. А Бен не удержался на ногах и упал. Фотоаппарат вывалился у него из кармана и отъехал к самому краю люльки. Но он пополз за ним и, дотянувшись рукой, сунул его за пазуху.

В это время Тэрнер уже ввалился через окно в квартиру монахини.

— Ребята, скорее! — нервно кричал он.

Зеленский подтянулся и, весь взмыленный, тоже запрыгнул в комнату. Один канат уже лопнул. Крепко держась за край люльки, Бен дюйм за дюймом продвигался к распахнутому окну.

Зеленский и Тэрнер высунулись по пояс, пытаясь схватить Бена за куртку и втащить в проклятую квартиру.

Мир перед глазами Бена перевернулся, теперь он висел над улицей вниз головой. А там, наверху, было слышно, как один за другим лопаются канаты.

Наконец порвался последний канат с правой стороны, платформа стала уходить у него из-под ног и повисла вертикально, держась лишь на остатках левой подвески. Откуда-то неслись крики, но Бен их уже не слышал. Он вцепился в последний спасительный канат на высоте десятого этажа.

— Попробуйте раскочкаться! — крикнул ему Зеленский.

Бен попробовал лезть по канату вверх, но он был слишком тонким и впиался ему в ладони, разрывая их в кровь. А тело, казалось, становилось тяжелей с каждой секундой, будто наливалось свинцом.

Ветер беспощадно хлестал в лицо. Он в ужасе смотрел то вниз,

то наверх и видел, что последний канат тоже начинает ослабевать.

— Помогите! — взмолился Бен.

Но ни Зеленский, ни Тэрнер уже ничего не смогли сделать.

— Подтягивайтесь! — кричал над головой Зеленский. — Сильнее!

Бен сжал канат с такой силой, что на глаза навернулись слезы. Внизу под собой он увидел, как в квартире у Вудбриджей зажегся свет.

Наконец последний крепежный блок развалился, и платформа с диким лязгом грохнулась оземь, пролетев все десять этажей.

В квартирах стали зажигать свет.

Бен с выпученными от ужаса глазами начал раскачиваться на последнем канате, как Тарзан на лиане. Зеленский и Тэрнер тянули руки, пытаясь схватить его. Наконец Бен качнулся так сильно, что буквально влетел в объятия Зеленского и вместе с ним повалился на пол в квартире монахини. Он был не в силах пошевелиться; его тело тут же беспомощно обмякло и забилося крупной дрожью.

В квартире было темно, но Бен заметил, что, кроме стула, на котором сидела монахиня, никакой другой мебели здесь вообще нет.

Зеленский и Тэрнер, отдуваясь, привалились к стене. Из-за закрытой входной двери слышались голоса сбежавшихся на шум соседей. Бен узнал голоса Сорренсона, Дэниэла Баттиля и одной из секретарш.

От того, что могло случиться минуту назад, у Бена перехватило дыхание. Еще один дюйм, еще несколько секунд — и он был бы уже мертв.

— Если не ошибаюсь, вы уверяли меня, что канаты проверены и надежно закреплены, — сердито проворчал он.

Зеленский заканлялся.

— Все правильно. И они совсем новые — куплены меньше месяца назад. И пользовались-то мы ими всего раз десять, не больше... Я могу еще допустить, что один канат по какой-то дикой случайности мог порваться. Но чтобы все четыре?!

— А может быть, их специально кто-то подрезал? — прищурился Бен.

— Исключено. Они хранятся у нас под замком. И к тому же, перед тем как отправиться сюда, мы их еще раз проверили. Все было нормально.

Бен оглядел комнату. Он видел перед собой только сгорбленную спину монахини, которая зловещей тенью возвышалась над ним, словно тягостное видение из кошмарного сна.

— Но ведь что-то же заставило эти веревки порваться! — с отчаянием в голосе выпалил он.

— А почему бы вам не спросить об этом у самой монахини? — огрызнулся Зеленский. — Я ведь предупреждал, что ей вряд ли понравится наша затея. Да вы только посмотрите на нее! Неужели вы думаете, что это нормальный, живой человек, а? Ну, если так, то вы просто сошли с ума. Это кто угодно, только не человек. Я не знаю, откуда и как она по-

явилась здесь, но мне ясно одно: я не хочу больше участвовать в этом деле.— С этими словами он поднялся с пола, помог встать Тэрнеру и пошел к двери. Шум в коридоре к этому времени уже окончательно стих.

— Теперь она в вашем полном распоряжении, мистер Бэрдет,— на прощание сказал Зеленский.— Но позвольте дать вам один совет... Как-никак, это приключение стоило мне новой люльки...

— Я возьму убытки,— прервал его Бен.

— ...и чуть не закончилось для всех нас трагически. Если после этого вы будете продолжать свои авантюры в том же духе, то я должен сказать вам, что вы настоящий псих.

Зеленский открыл замок, вытолкнул в коридор Тэрнера, потом вышел сам и захлопнул за собой дверь.

Бен остался в комнате наедине с сестрой Терезой. Проверив фотоаппарат и убедившись, что тот на месте, он слегка успокоился. На месте был и стакан. И камера, и стакан каким-то непостижимым образом уцелели.

Бен осторожно шагнул к монахине и вдруг замер, как вкопанный. Только теперь до него дошло, что распятие, которое она держала в руках, было точной копией того, что лежало сейчас в его собственном письменном столе под бумагами.

Бен почувствовал, как вокруг сгущается темнота, и внезапно его охватило тревожное ощущение безысходности, замкнутости пространства, которое часто испытывают страдающие клаустрофобией. Что-то будто мешало ему подойти к монахине ближе, словно между ними возник незримый барьер.

— Что вам нужно от нас? — жутким голосом спросил он старуху.

Она молчала. Бен попытался к двери и с тяжелым стоном закрыл глаза. Как ему хотелось бы, чтобы эта дьявольская фигура сейчас исчезла!..

Потом он открыл дверь и выскользнул в коридор.

Бен вытер пот со лба и продолжил рассказ:

— Ты представляешь, когда я вернулся домой, Фэй мирно спала. Шум и грохот даже не разбудили ее, хотя остальные соседи тут же повскакивали с постелей. Я оставил ее с сыном в парке, а сам пришел к тебе. Ну, как идут дела?

— Прекрасно, батенька,— ответил Виктор Рубцевич, проворно обрабатывая стакан под косыми лучами настольной лампы.— Думаю, через минуту будут первые результаты.

Бен смотрел, как он водит по стеклу магнитной кистью с налипшей на нее гроздью мелкого железного порошка.

Он познакомился с Виком в спортивном клубе. Это был крупнейший специалист по дактилоскопии во всей нью-йоркской полиции. И хотя он уже несколько лет не работал там, а содержал небольшой ресторанчик в Гринвич-Вилледж, он не успел еще растерять былых навыков.

— Значит, так и не удалось выяснить, почему лопнули все канаты? — озабоченно покачал головой Вик.

— Не удалось,— вздохнул Бен и прислонился плечом к стене

крошечного кабинета, в котором они сейчас находились. — Наверное, они были с каким-то браком.

Рубцевич кивнул.

— И все равно я не могу представить себе, что заставило тебя пойти на такой риск.

Бен поднял брови и развел руками.

— Вик, к сожалению, пока не могу тебе всего рассказать, так что поверь мне на слово — все это для меня очень важно. Договорились?

— Ну, разумеется! Я и не собирался вмешиваться.

Вик еще несколько минут занимался стаканом, окуривая его парами йода и внимательно осматривая на свет, а потом повернулся и вручил стакан Бену.

— Прими мои поздравления, — сказал он. — Ты прошел сквозь огонь и воду напрасно. Никаких впечатлений здесь нет.

— Как это нет? — изумился Бен. — Я же плотно прижимал пальцы, чуть не изо всей силы!

— Очертания пальцев есть, но внутри пусто, никаких папиллярных узоров.

— Ничего не понимаю, — растерялся Бен.

— Я и сам пока понять не могу. — Рубцевич пожал плечами. — Но это именно так.

— Проклятие! — Бен в сердцах стукнул кулаком по столу.

— Ну и что ты теперь собираешься делать? — поинтересовался Вик.

— Угостить тебя обедом, чтобы хоть как-то компенсировать твои труды и потраченное время.

— Лучше пригласи в ресторан свою жену. Впрочем, я имел в виду не себя, а монахиню. Что ты с ней собираешься делать дальше?

Бен лишь замотал головой и как-то натянуто улыбнулся.

— Понятия не имею! — произнес он.

Расставшись с Рубцевичем, Бен наскоро выпил кофе в ближайшей закусочной и на такси отправился в театральный район города, попросив водителя остановиться на 47-й улице перед фотолабораторией «Техниколор».

Его уже ждал специалист по обработке пленок, с которым он договорился заранее по телефону. Взяв у Бена кассету, он попросил его подождать немного, объяснив, что дело не такое уж скорое.

Бен сел в кресло в холле, взял с журнального столика свежую «Дейли Ньюс» и погрузился в чтение. Прервался он всего один раз, чтобы позвонить домой и сообщить Фэй, что вернется приблизительно через час. А спустя минут пять после этого к нему уже вышел улыбающийся лаборант.

— Все готово, — объявил он и протянул Бену несколько снимков, не удержавшись от комментария: — Обалденная старушечка!..

Бен кивнул и стал внимательно разглядывать фотографии.

— Все вышло просто великолепно! — похвалил он лаборанта и одобрительно хлопнул его по плечу. — Как раз то, что нужно.

— Где же вы нашли такую каргу? — полюбопытствовал лаборант.

— Она моя соседка, — весело отозвался Бен. — Послушайте, а не могли бы вы оказать мне еще одну услугу?

— С радостью, если это в моих силах.

— Можно оставить у вас негативы на хранение? Если я вдруг потеряю эти снимки, мне понадобится сделать такие же еще раз. А монахиня вряд ли согласится позировать по новой. Я и первый-то раз ее слишком долго уламывал...

— Понимаю. Почему бы и нет?.. Вы вполне можете оставить негатив здесь, в лаборатории. А когда он будет вам нужен, вы мне позвоните.

— Договорились.

Бен поблагодарил его, расплатился и вышел на улицу. На углу Бродвея он остановился, чтобы еще раз рассмотреть снимки при солнечном свете. Приходилось признать, что монахиня была настоящей — из плоти и крови. И эта жуткая, омерзительная, отталкивающая реальность действительно существовала. Бен невольно вздрогнул, и по телу его побежал озноб. Он торопливо сунул фотографию в карман, прошелся до 42-й улицы и спустился в метро.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

В десять утра Бен вышел из самолета, с небольшим опозданием прибывшего в Сиракузы, штат Нью-Йорк, и направился к стойке такси, держа в руках тонкую кожаную папку. В ней лежала статья из газеты, любезно подаренной Бену мистером Харди, старое цветное фото Элисон Паркер и снимки монахини. Через двадцать минут таксист привез его в respectableный зеленый пригород, где по адресу улица Ирокезов, 625, Бен обнаружил трехэтажный белокаменный особняк в колониальном стиле. Он вышел из автомобиля и, нажав кнопку звонка, приготовился ждать. После пятого звонка дверь открыл высокий мужчина, чем-то напоминающий Авраама Линкольна.

— Мистер Бэрдет? — осведомился он с долей уверенности в голосе.

Бен кивнул.

— А вы — мистер Томпсон... — в свою очередь, уточнил он.

— Да, — ответил хозяин дома. — Пожалуйста, проходите.

Бен последовал за Томпсоном в широкую, просто обставленную гостиную, не лишенную, однако, деревенского очарования.

— Присаживайтесь, мистер Бэрдет. Будьте как дома, — предложил хозяин.

Бен огляделся и выбрал кресло-качалку.

— Я очень ценю ваше участие... — заговорил Бен. Он был в полной растерянности. Как начать? С чего?.. — Я знаю, что вам это очень тяжело... но мне необходимо будет увидеть вашу дочь.

В глазах Томпсона читалась непроходящая боль.

— О чем тут говорить, мистер Бэрдет... Вы, судя по всему, можете помочь мне точно так же, как я вам. — Он саркастически

усмехнулся.— Если бы у меня была хоть какая-то надежда... Я отдал бы все за любой шанс помочь Энни.

Бен понимающе кивнул.

— А она здесь, наверху? — спросил он.

— Да, с ней сиделка. Мы поговорим, а потом поднимемся к ним. Последние два года, мистер Бэрдет, были для меня сущим адом,— признался Томпсон.— Вы меня понимаете?

— Конечно,— с искренним сочувствием кивнул Бен.

— Я люблю свою дочь больше жизни,— продолжал хозяин дома.— Она — единственное, что у меня осталось. Моя жена умерла, когда Энни еще была совсем крошкой, и я воспитывал ее сам. Поверьте, мистер Бэрдет, она всегда была чудесным ребенком, нежной и любящей дочерью. И очень красивой... У нее, наверное, во всем мире не нашлось бы врагов и завистников. Вы представляете, как все это на меня подействовало? Трудно объяснить... Словно кто-то залез ко мне внутрь и вывернул наизнанку всю душу. Лучше бы она погибла тогда! Я бы просто повесился, и теперь все уже было бы закончено...

— Не надо так говорить, мистер Томпсон,— попробовал утешить его Бен.

— Да бросьте вы! — с отчаянием махнул рукой Томпсон.— Это я уже слышал. Я знаю — надо притворяться, будто ничего и не случилось... Перенести все это в самый дальний уголок подсознания... Забыть о том, что я не спал спокойно уже Бог знает сколько ночей подряд. Забыть, что моя дочь превратилась в настоящего зомби!..— Он нервно встряхнул головой.— Не обижайтесь на меня, мистер Бэрдет, но я уже привык к подобным советам... Мне твердили об этом буквально все — терапевты, психологи, психиатры и даже полицейские. Но, разумеется, более красноречиво, чем я попытался вам передать.

Бен опустил глаза, чувствуя себя готовым провалиться сквозь землю. Он всем сердцем жалел несчастного отца. Но еще больше жалел сейчас самого себя.

— Мистер Томпсон, мне очень трудно говорить, и я хочу, чтобы вы знали это... Вместо того чтобы впадать в отчаяние, давайте лучше попробуем объединиться. Я знаю, что пришлось пережить вашей дочери. А вы знаете мое положение... Если же по телефону что-то было вам непонятно, я с радостью перескажу все сейчас.

Томпсон напрягся.

— Нет-нет, вы объяснили все очень толково.

— Мне приходится жить в постоянном страхе,— продолжал Бен.— И я уверен, что ваша дочь встретилась тогда в горах именно с той самой монахиней, сестрой Терезой, которую должна сменить на посту моя жена...

Томпсон чуть заметно кивнул.

— И если мы действительно установим, что это одна и та же монахиня, то придется поверить и во все остальное, что рассказал мне покойный детектив Гатц. А тогда... станет возможным все.

— Что же именно? — взволнованно спросил Томпсон.

— Пока я и сам не знаю... Но что-то точно произойдет. Может быть, мы сумеем разыскать священников, участвующих в заговоре... Мы доберемся до самых верхов католической церкви. И тогда можно будет обратиться в ФБР, в газеты, к Генеральному прокурору...

Томпсон удивленно поднял брови.

— Что вы такое говорите, мистер Бэрдет? Обращаться к этим людям за помощью?! Позвольте, я вам кое-что расскажу... С того самого дня, как мою дочь нашли на той проклятой поляне, все — и полиция, и газетки, и прокурор — начали тыкать в нее своими грязными пальцами, осуждая за то, что она оказалась неспособной постоять за себя. Если угодно, я могу показать вам целый ворох статей, от которых любому нормальному человеку стало бы тошно. А окружной прокурор даже пригрозил, что начнет над ней суд по обвинению в убийстве.

— Да вы шутите! — не веря своим ушам, произнес Бен.

— Совсе нет, — грустно ответил мистер Томпсон. — Там ведь не нашли ни отпечатков пальцев, ни других следов, подтверждающих присутствие кого-то постороннего, кроме Энни и Бобби Джо. И этого оказалось вполне достаточно, чтобы обвинить во всем Энни.

Бен покачал головой.

— Скажите, а она была... в здравом рассудке, когда ее привезли с гор?

— Временами, да. Но в основном — нет. — Он тяжело вздохнул. — Потом ее состояние очень быстро начало ухудшаться... И власти, конечно, со своей стороны, сделали для этого все возможное, не пытаясь даже поддержать бедную девочку.

— А что считают врачи? — спросил Бен.

Томпсон неопределенно пожал плечами.

— Они ни черта не понимают. Сначала сказали, что у нее стал развиваться психоз. Потом решили, что это физическое заболевание, затем — и то, и другое вместе. Но ни один тест этого не подтвердил. Честно говоря, я их уже давно сюда не пускаю — все равно никакого толку.

— Я вас понимаю, — посочувствовал Бен, облизнув пересохшие губы. — Простите, у вас не найдется немного воды?

— Да-да, конечно! — тут же засуетился Томпсон, пошел на кухню и вскоре вернулся с полным стаканом. Бен отметил про себя, что ступает он очень тяжело, несмотря на стройную, даже атлетическую фигуру. Видимо, эмоциональное потрясение подорвало его физические силы.

Бен сделал несколько глотков и, отставив стакан на журнальный столик, вынул из папки фотографию Элисон Паркер.

— Вот это и есть Элисон, — объяснил он. — Снимок передал мне детектив Гатц.

Томпсон молча кивнул.

Потом Бен передал ему фотографию монахини.

— А это я снял сам пару дней назад.

Томпсон медленно и внимательно разглядывал снимки. На лице его выступили капельки пота.

— Гатц был убежден, что это одна и та же женщина. Я тща-

тельнейшим образом сравнивал фотографии, но все равно не могу быть уверенным на все сто процентов. А вы как считаете?

— Не знаю,— задумчиво произнес Томпсон. Он неотрывно изучал снимки, и удивление на его лице росло с каждой секундой.

И тут Бен заметил, что глаза Томпсона заблестели от слез.

— Да, это она,— наконец произнес несчастный отец, бросив фотографии на стол.— Это та самая женщина, которую видела моя Энни.

— А почему вы так в этом уверены?

— Я знаю наверняка. Да вы и сами читали в газете ее описание. Так что сомневаться тут не в чем — все сходится, как Энни и говорила. Вы ведь тоже не сомневались в этом.— Томпсон неожиданно разрыдался.— Боже мой, Боже мой... за что?..

Бен склонился к нему и осторожно тронул его за плечо.

— Прошу вас, не надо... Я прекрасно понимаю, как вам сейчас тяжело, но нужно взять себя в руки. Теперь нам как никогда понадобится самообладание. Я хотел бы увидеть вашу дочь.

— Простите,— тихо прошептал Томпсон.— Со мной такое часто случается.

— Я понимаю,— сочувственно вздохнул Бен.— Ну, пойдете.— Он помог Томпсону подняться на ноги, и они зашагали по коридору к самой дальней комнате.

Энни Томпсон лежала в кровати, укутанная толстым стеганным одеялом. Рядом стояло два стула, на одном из которых расположилась полная пожилая женщина.

Бен застыл в дверях, с ужасом уставившись на больную девушку. Это была точная копия Дженнифер Лирсон, начиная от цвета кожи и бессмысленного выражения на лице и кончая отвратительным запахом, идущим от ее тела.

Превозмогая тошноту, Бен медленно приблизился к кровати. Глаза девушки были открыты. Он не сомневался, что она видит его, хотя никакой реакции с ее стороны не последовало.

Томпсон нежно заговорил с дочерью, объясняя, что он привел с собой друга.

— А она слышит вас? — осторожно поинтересовался Бен.

Томпсон лишь уныло пожал плечами.

Бен прикоснулся к ее коже. Холодная и сухая. Он отдернул руку и машинально потер пальцы, чтобы избавиться от неприятного ощущения.

— Здравствуй, Энни,— сказал Бен.— Я пришел, чтобы помочь тебе. Я знаю, ты не можешь отвечать, но все-таки постарайся понять меня. Я друг твоего отца и хочу тебе кое-что показать.

Томпсон настороженно склонил голову. Его беспокоили намерения Бена.

— Сейчас я покажу тебе фотографию. Если ты вспомнишь, кто это, дай мне как-нибудь знать. Моргни или пошевели пальцами. Дай любой знак. Я замечу.

— А вы уверены, что это необходимо? — с тревогой в голосе спросил Томпсон.

— Во всяком случае, мы ничего не теряем,— успокоил его Бен. Он достал фотографии монахини, перебрал их и отыскал,

на его взгляд, самую лучшую. Потом повернул снимок так, чтобы Энни могла рассмотреть его, не меняя направления взгляда.

Наступила напряженная пауза.

— Она не понимает, чего вы хотите; — тихо вступила в разговор сиделка.

— Тссс! — запищел на нее Бен, подняв вверх указательный палец.

Неожиданно веки девушки дрогнули. Что-то должно было произойти прямо здесь и сейчас, в этой комнате. Энни беспокойно заворочалась под одеялом.

От испуга Томпсон как подкошенный сел рядом с ней на кровать и схватил дочь за руку.

— Она узнает ее! — возбужденно воскликнул Бен.

Теперь Энни будто бы ожила.

— Да, узнает. Узнает!!!

Томпсон начал звать дочь по имени, прижимался к ней всем телом и снова расплакался.

— Ты ведь видела эту монахиню, да? — начал расспросы Бен. Девушка напрягалась все больше.

— Это она? — не отставал Бэрдет.

И тут Энни резко вскочила с кровати. Томпсон бросился вслед за ней, стараясь удержать дочь на месте. На губах девушки выступила пена.

— Боже мой! — кричал Томпсон. — Помогите же удержать ее!

Началась страшная возня. Энни лягалась и пронзительно визжала. Сиделка пыталась повалить ее на кровать, Бен помог ей, как мог. Но тут Энни изо всех сил лягнула его пяткой в пах, отчего он согнулся и отступил, задыхаясь и корчась от боли.

Томпсон тщетно пытался удержать дочь за плечи. Сиделка что-то кричала. Энни вдруг превратилась в истошно вопящую истеричку, сжимавшую в руке фотографию старой монахини.

— Бог мой... — бормотал Бен, отчаянно пытаясь ухватить ее за ноги. — Ее надо связать! — крикнул он Томпсону.

И в этот момент девушка с размаху ударила отца по лицу. Из уголка его рта заструилась кровь.

— Ч-черт! — стиснув зубы, простонал Бен. Энни больно укусила его за руку, вырвалась и начала колотить всех троих. На ее лице была гримаса безжалостной ярости. Вдруг девушка рванулась к двери, опрокинув сиделку на пол. На бегу она ударилась о дверной косяк, но фотографию не выпустила, все так же крепко сжимая ее в руке.

— Остановите ее! — крикнул Бен.

Томпсон бросился за дочерью в коридор, пытаясь ухватить ее за ногу, но у самой лестницы неожиданно споткнулся и, не удержав равновесия, кубарем скатился вниз, беспомощно распластавшись на полу в холле. Сиделка первой подбежала к Томпсону и запричитала, потрясенная неожиданным ходом событий.

— Энни! — закричал Бен.

Он сломя голову кинулся вниз по лестнице, лишь на секунду задержавшись возле Томпсона, чтобы оценить его состояние. Тот

лежал неподвижно. Видимо, без сознания. А может быть, даже мертвый. Но Бен не стал размышлять над этим, а бросился на улицу за девушкой.

Она успела удалиться от дома на полквартила и неслась к оживленному перекрестку, привлекая изумленное внимание пешеходов.

— Остановите ее! — призывал Бен окружающих.

Но ни один человек не двигался с места. Эта картина так шокировала всех, что никто не мог даже сообразить, что надо делать. А Энни по-прежнему бежала вперед.

Бен изо всех сил работал ногами, чувствуя, что легкие его вот-вот лопнут от напряжения. Наконец двое мужчин сумели схватить ее за руки. Но девушка тут же вырвалась, не замедлив движения. Бен припустил еще сильнее, постепенно нагоняя ее.

— Энни! — звал он, смахивая ладонью пот, который заливал глаза, не давая ему ничего разглядеть перед собой.

Наконец девушка споткнулась и остановилась, затравленно озираясь по сторонам в полной беспомощности. Заметив в своей руке фотографию, она издала страшный вопль, растянув рот в гримасе дикого ужаса. Теперь она стояла возле самого перекрестка и пристально смотрела на Бена, словно ждала от него помощи или надеялась, что сейчас он схватит ее и избавит наконец от страданий, которыми стала ее жизнь.

Бен замер на месте футах в десяти от нее. Их взгляды наконец встретились. Машины за спиной девушки отчаянно гудели и тормозили, а водители высовывались из окон, наблюдая очень странное зрелище. Пешеходы тоже останавливались, не в силах пройти мимо увиденного. Посреди тротуара стояла девушка с каким-то снимком в руке и безумно кричала, а ее преследовал некий молодой человек.

— Энни... — собравшись с духом, заговорил наконец Бен. — Я хочу, чтобы ты шла со мной. Я могу помочь тебе. — Он пытался перевести дыхание и успокоиться. — Я прошу тебя, Энни! Я знаю, ты понимаешь все, что я тебе говорю.

Но она молчала. Из рта несчастной продолжала капать липкая пена. И вдобавок ко всему ее начала колотить страшная дрожь.

«Что же с ней происходит? — отчаянно думал Бен. — Девушка, скованная в движениях, два года пролежавшая в кататоническом ступоре, неожиданно ожила и стала непредсказуемой и агрессивной... Что теперь делать — броситься на нее или подождать?..»

— Я прошу всех... отойти от нас, — тихо выговорил Бен. Краем глаза он успел заметить, что любопытные уже начали сжимать вокруг них кольцо, в толпе послышался шепот, кое-где зазвучал неуместный смех. — Эта девушка серьезно больна. Пожалуйста, отойдите.

Девушка начала мерно покачиваться. По щеке ее поползла слеза. Губы задрожали, и вдруг она издала такой душераздирающий вопль, что толпа испуганно отпрянула. Ничего подобного Бену не доводилось слышать за всю свою жизнь. Он не раздумывая шагнул ей навстречу, и в тот же миг девушка повернулась

и бросилась прямо на мостовую. Автомобили, скрипя шинами, пытались объехать ее, оглушительно визжали тормоза, но она, словно не замечая ничего, медленно брела против движения. Бен осторожно следовал за ней. Одна машина больно задела его за бедро. Он выругался, но не остановился.

Из-за угла показался автобус. Энни шла прямо на него. Водитель рванул ручной тормоз, улица огласилась визгом прохожих, но было уже слишком поздно. Автобус на полном ходу врезался в припаркованный у обочины «джип», мощным бампером придавив к нему Энни. Кровь фонтаном хлынула у нее из носа и рта прямо в лобовое стекло автобуса. Подбежав, Бен застал лишь предсмертную судорогу.

— Нет, только не это... — прошептал он, чувствуя, как рот наполняется горечью. — Боже мой...

Толпа сразу же обступила их, вдали раздался вой полицейской сирены. И тут кто-то ударил его по голове. Бен рухнул на мостовую. Прошла целая вечность, пока туман перед его глазами рассеялся. Он встал на колени и принялся искать фотографии. Но их нигде не было. Бен заполз под автобус, заглянул под ближайšie машины... Снимки бесследно исчезли.

Тогда он, шатаясь, поднялся на ноги, решив поскорее убраться с этого места. Надо вернуться в дом Томпсонов и попытаться спасти хотя бы отца Энни. И ни в коем случае не попадаться на глаза полиции. Он вряд ли выдержит сейчас еще один длинный допрос.

Вернувшись в дом, Бен обнаружил, что мистер Томпсон по-прежнему лежит на полу. Сиделка находилась в гостиной и безутешно рыдала.

— Что с ним? — спросил Бен, заглянув в комнату.

— Он умер, — сквозь слезы сообщила сиделка. — Я уже вызвала полицию и «Скорую помощь».

Бен кивнул.

— Все ясно, — кратко резюмировал он.

— Меня попросили назвать ваше имя и фамилию, но я их не знаю... А еще просили вас задержаться здесь до приезда полиции.

— Ясно, — повторил Бен. Теперь ему надо было как можно скорее сматываться и отсюда.

— Они скоро приедут, — добавила женщина.

— Вот и хорошо, — сказал Бен, дико озираясь по сторонам. — Знаете что, мне надо проверить машину. Я сейчас вернусь.

Сиделка кивнула.

Бен вышел в холл, на секунду остановился возле мертвого тела мистера Томпсона, а потом решительно зашагал к двери.

Энни обрела покой, как и ее несчастный отец. Возможно, это был лучший выход для них обоих, рассуждал Бен, сворачивая за угол.

Бен плотно закрыл за собой дверь кабины телефона-автомата и посмотрел на часы. До посадки в самолет на Нью-Йорк оставалось еще десять минут. Уйма времени!..

Он вынул из кармана клочок бумаги, взглянул на записанный

там телефон лаборатории «Техниколор» и принялся вращать диск. Трубку поднял приемщик. Бен попросил позвать нужного ему лаборанта и через пару минут услышал знакомый голос.

— Мистер Бэрдет?.. — неуверенно произнес тот.

— Послушайте, — перебил его Бен. — У меня сейчас самолет, поэтому я буду предельно краток. Я потерял все фотографии, которые вы для меня сделали. И теперь мне надо заново отпечатать все снимки. Причем как можно скорее.

Наступила пауза.

— Алло, вы меня слышите? — забеспокоился Бен.

— Да, мистер Бэрдет, слышу. Но исполнить вашу просьбу, к сожалению, невозможно.

— Почему? — прохрипел Бен, чувствуя, как сжимается его горло.

— Понимаете, ночью кто-то забрался в лабораторию и украл ваши негативы.

После долгого молчания Бен наконец спросил:

— Только мои?

— Это невероятно, но пропала именно ваша пленка. Все остальное не тронули.

Бен отнял трубку от уха и бессмысленно уставился на нее.

— Мистер Бэрдет? — кричал голос с другого конца провода. — Алло, мистер Бэрдет! Вы меня слышите?!

Бен осторожно повесил трубку, вышел из кабинки и направился к огромному окну, выходящему на летное поле.

В его мозгу крутились одни и те же слова. Они звучали отрывисто и кратко, словно передавались по телетайпу. ТЕ-ПЕРЬ. НАДО. БОРОТЬСЯ. ЗА СВОЮ. СОБСТВЕННУЮ. ЖИЗНЬ.

Окончание следует.

**Перевод с английского
СЮЗАННЫ АЛУКАРД И ВАДИМА ТЕРЕЩЕНКО.**

Чтобы жизнь была кудрявой...

У лысых, по здравому смыслу, масса преимуществ: они экономят на парикмахерской, а также на шампунях, бальзамах, краске для волос и прочей специальной парфюмерии. Однако число желающих отражать собственной лысиной солнечные блики вопреки здравому практицизму не растёт, а сокращается. Причем прямо пропорционально числу методов борьбы за роскошную шевелюру.

В США, Японии, Норвегии и Дании, например, явно не страдающих от отсутствия всевозможных средств для укрепления волос, большой популярностью пользуется метод, который предлагают специалисты индийской фирмы «Лакшми-Ганеш». Способ, который они используют в своей лечебной практике, проверен веками. Он разработан на основе применения травы ши-дзе, растущей в высокогорьях Индии. По своим фармакологическим свойствам она не уступает знаменитому женьшеню.

Втирая раствор препарата из этой травы в кожу головы, пациент в корне изменяет структуру волос — они становятся толще, гуще, эластичнее, перестают выпадать, приобретают естественный блеск. Более того, уже в процессе лечения притормаживается образование седины и начинается активный рост новых, здоровых волос. Многие пациенты отмечали, что использование препарата благотворно воздействовало на весь организм: им удалось избавиться от «мешков» под глазами, головных болей, заметно улучшилась и кожа лица.

— Ничего удивительного в этом нет, — говорит господин Ганеш, директор фирмы «Лакшми-Ганеш», недавно открывшей в Москве Центр здоровья и культуры Индии. — Биологически активные вещества, которые содержатся в этой траве, омолаживающе воздействуют на организм, повышая жизненный тонус, улучшая настроение.

Метод индийских специалистов помог уже тысячам пациентов убедиться в том, что их клинический случай не является безнадежным. Сотрудники Центра охотно рассказывают о наиболее любопытных историях из их практики: и смешных, и трогательных, и почти невероятных. Однажды порог Центра переступила элегантная дама, модно одетая и хорошо подстриженная. «Вы действительно улучшаете волосы?» — недоверчиво спросила она. «Да вам-то это зачем? — изумились сотрудники. — У вас и так прекрасные волосы!» Женщина грустно улыбнулась и... сняла парик, под которым было голо. После первого же курса лечения волосы у пациентки начали расти!

— Это огромная радость — реально помогать людям, видеть результаты своей работы, — продолжает господин Ганеш. — Именно поэтому мы назначаем минимально возможные расценки, чтобы воспользоваться нашим методом могло как можно больше людей. Более того, мы дифференцированно устанавливаем цену за курс лечения: в зависимости от финансовых возможностей пациента она колеблется от 6,5 до 10 тысяч рублей. Люди малообеспеченные, пенсионеры платят меньше, чем, скажем, преуспевающий бизнесмен, — такова политика фирмы, которую она проводит во всех странах, где имеет свои представительства.

Для сравнения заметим, что курс криотерапии, преследующей те же цели, что и лечение препаратом ши-дзе, стоит в московских клиниках пока свыше 25 тысяч рублей. А стимулирование роста волос отнюдь не безобидным методом фотосинтеза — 40 с лишним тысяч. Остается добавить, что метод индусских врачей не только удобен для пациента, но и абсолютно безвреден: никаких отрицательных побочных явлений его использование не несёт.

**Телефоны: 174-15-74, 211-67-20,
113-63-49, 128-10-23,
301-65-52, 150-46-57, 244-06-82.**

Шахматная эпиграмма

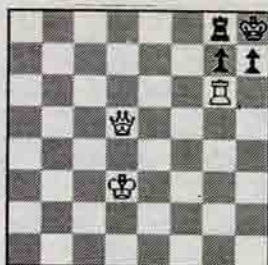


Под редакцией
международного гроссмейстера
ВИКТОРА ЧЕПИЖНОГО

Начинаем публикацию оригинальных задач-миниатюр, присланных на III международный конкурс «Смены» (условия конкурса см. в № 12, 1993 г.). Обращаем внимание начинающих составителей, что присылка композиций в начале года увеличивает шансы публикации их в журнале.

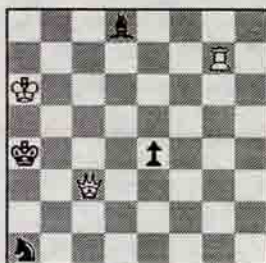
Приглашаем участвовать в конкурсе всех любителей шахмат!

1. А. ДАШКОВСКИЙ
г. Черкассы, Украина



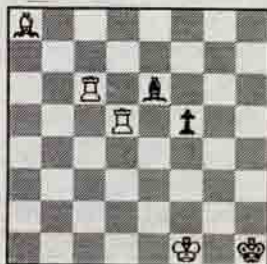
Мат в 2 хода

2. М. ЧЕРНУШКО
г. Уссурийск

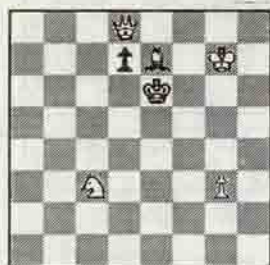
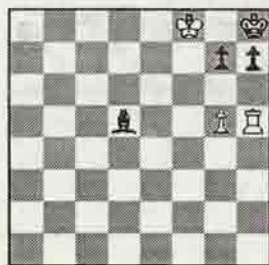
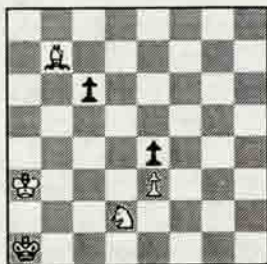
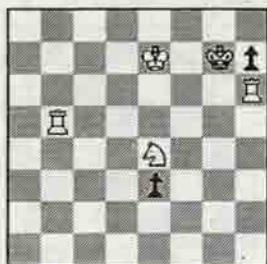
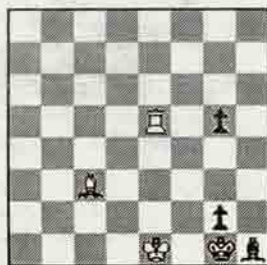
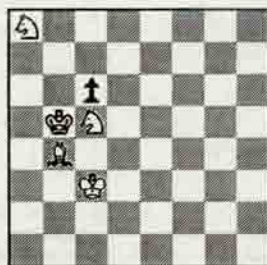


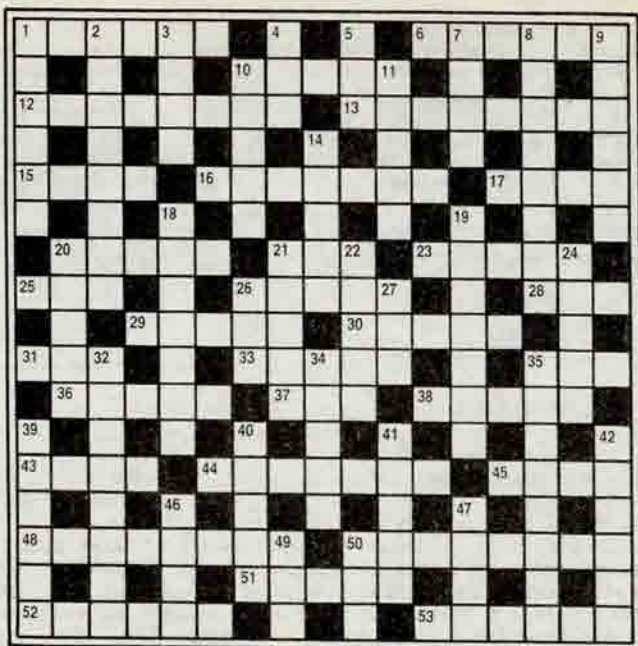
Мат в 2 хода

3. В. МАРКОВЦИЙ
п. Ильница, Украина



Мат в 2 хода

4. Ю. ЛУБКИН*Москва***Мат в 2 хода****5. А. КАРГАПОВ***с. Чистое
Курганской обл.***Мат в 3 хода****6. Н. ЧИСТЯКОВ***г. Омск***Мат в 3 хода****7. В. ЕВСТИГНЕЕВ***г. Кувандык
Оренбургской обл.***Мат в 3 хода****8. В. МОРОЗОВ***Москва***Мат в 4 хода****9. М. МАРАНДЮК***г. Новоселица, Украина***Мат в 10 ходов**


ЗРУДИТ По горизонтали.

1. Иудей, глава киевских еретиков XV века. 6. «Московский ...» — картина В. Поленова, копию с которой он сделал для И. Тургенева. 10. «Припрыжки, каблук, усы — все те же; их не изменила лихая мода, наш тиран, ... новейших россиян» (А. Пушкин. «Евгений Онегин»). 12. Автор первой в России монографии о генетике «Менделизм». 13. Африканская обезьяна, кочующая в поисках аспилии, чьи листья она глотает целиком. 15. Зазноба, милая. 16. Головной убор, при первой демонстрации которого на улицах Лондона толпа зевак едва не растоптала прохожего. 17. «Взбадриватель» Дидро. 20. Состояние скорби, которое в Японии длится сто дней. 21. Предмет с Гаити, подаренный Колумбом королеве Изабелле Кастильской. 23. Врач, первым в России сделавший в 1832 году переливание крови. 25. Название североафриканских пустынь с оазисами. 26. Хищник, в чьем языке около тридцати звуковых сигналов. 28. Автор палиндрома из сказки А. Толстого о Буратино: «А роза упала на лапу Азора». 29. «Двигатель» большинства географических открытий. 30. Идеальное воплощение колеса. 31. Пальма, священное дерево в Древнем Египте. 33. Одно из русских названий ласки (зверька). 35. Напиток, часто упоминаемый в английских романах. 36. Короткое японское кимоно, парадная накидка с гербом. 37. Известная в русской торговле китайская монета (по В. Далю). 38. Дерево, чьи шишки плотно запечатаны

смолой. 43. Доллар Западного Самоа. 44. Англичанин; еще в 1806 году, задолго до появления пишущей машинки, изобрел копирку. 45. Аристотель по отношению к суточному ритму. 48. Страна, где Вячеслав Иванов изучал историю Древнего Рима. 50. Спортивное увлечение К. Войтылы, ставшего папой Иоанном Павлом II. 51. Икра в пленке. 52. Город, где, по свидетельству Мельгунова, чекисты жарили белых офицеров в топках. 53. Сказочная птица с телом льва и клювом орла.

По вертикали.

1. Царский мех. 2. Возникший из лагеря римских легионеров город, в котором в 1555 году был заключен мирный договор между католиками и протестантами. 3. Страна, где возник сатанизм — вера в дьявола. 4. Львиный ... — цветок, объект генетических исследований. 5. Кустарник, похожий на завалы колючей проволоки. 7. Птица, натаптывающая тропинки в камышах. 8. Сын У. Черчилля, написавший биографию отца — самую длинную биографию в мире. 9. Канадская провинция, где индейцам неведомо головокружение от высоты. 10. Аполлон как пастух и охранитель стад. 11. Мера объема сыпучих тел у ингушей и чеченцев. 14. Сокол, дорогой сердцу царя Алексея Михайловича. 18. Самый большой из полностью принадлежащих Индонезии островов. 19. «Неподражаемый, совершенно исключительный русский камень» (А. Ферсман). 20. Название затрешины в повести Н. Гоголя «Майская ночь». 21. Один ... во щах не варят (поговорка). 22. Деревянный якутский сосуд. 24. Имя последней жены Н. Некрасова. 26. Вождь венгерской революции, загубивший в Крыму тысячи и тысячи россиян. 27. Круглый женский головной убор. 32. Французский поэт, сказавший: «Всё упраздняется в сомнении высочайшей игры!» 34. Царь в древней Индии. 35. Специалист, которого, по шутке К. Леви-Строса, тянет, как и людоеда, на человечину. 39. Бедро. 40. Африканская страна с одноименной высшей точкой. 41. Каждый из тех, кто, по М. Горькому, украшает мир. 42. Номинальный повелитель Древнего Египта, а на деле марионетка в руках жрецов. 46. Латвийский журнал, где редактором десять лет был Михаил Таль. 47. Бытовое русское название инсульта. 49. Сборник обычного монгольского права, составленный, по преданию, Чингисханом. 50. Приз победителю на чемпионате Швейцарии по борьбе швинген.

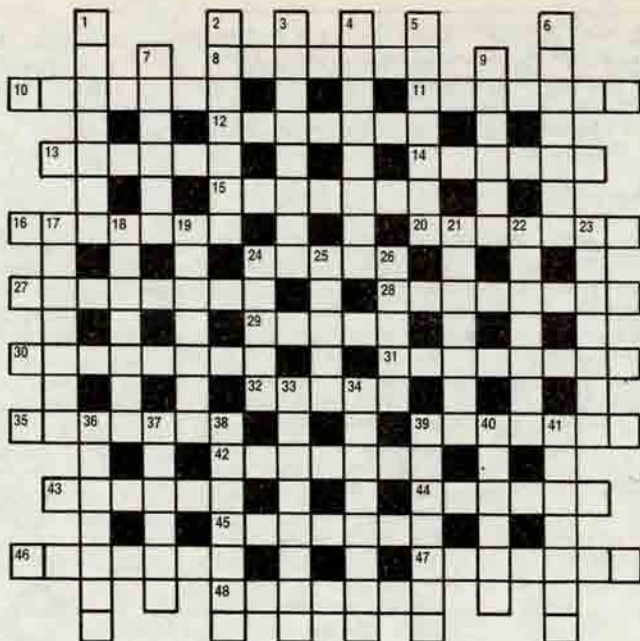
ОТВЕТЫ НА «ЗРУДИТ», НАПЕЧАТАННЫЙ В № 12

По горизонтали.

1. Футбол. 6. Шюцкор. 10. Жакоб. 12. Гиндукуш. 13. Наутилус. 15. Риал. 16. Чаадаев. 17. Овца. 20. Чигар. 21. Сильвестр. 23. «Шея». 25. ...тау... 26. Голод. 27. Иосиф. 28. Цеп. 31. ...дно. 32. Плотность. 33. Ханжа. 37. Дыня. 38. Зорхана. 39. Екан. 42. Имитатор. 44. Леопарди. 45. ...вогул... 46. Ансырь. 47. Бештау.

По вертикали.

1. Фигура. 2. Танзания (Килиманджаро). 3. Обур. 4. Маш. 5. Сон. 7. Юрта. 8. Киловатт. 9. «Руслан». 10. Жулан. 11. Батеньков. 14. Сдвиг... 18. ...радость... 19. Левират. 20. ...череп... 22. Райна. 24. Ломоносов. 29. Планциус. 30. ...утеха. 31. Джекфрут. 34. Ядвига. 35. Ангел. 36. Энкиду. 40. Каир. 41. Улие. 43. Ром. 44. Лук.



КРОССВОРД
Составил
П. СИЛЬЧЕНКО,
село
Лиски
Воронежской
области

По горизонтали.

8. Истинное исходное положение теории. 10. Атака, штурм. 11. Итальянский скульптор раннего Возрождения, автор изящных портретных медалей. 12. Вид боевых действий. 13. Пряное растение, выросшее на горе Ида во время бракосочетания Зевса с Герой. 14. Время трудных испытаний. 15. Животное, один из символов Австралии. 16. Боеприпас, упоминаемый в знаменитой песне о матросе Железняке. 20. Инвентарь для игры в теннис. 24. Мощный порыв ветра, например, во время грозы. 27. Умение быстро и ловко справляться с делом. 28. Работник северной отрасли сельского хозяйства. 29. Детеныш тюленя. 30. Удел Ужа из горьковской «Песни о Соколе». 31. Композитор, автор вокально-симфонической поэмы «Памяти Сергея Есенина». 32. Пометка, черточка на детали. 35. Пристань на Ишиме. 39. Маршал Жуков по умению рассчитывать ход сражений. 42. Моллюск, который подают со льдом и с лимоном. 43. Замкнутая плоская кривая. 44. Первый станковый пулемет. 45. Футбольная команда. 46. Город в Турции. 47. Столярный инструмент. 48. Каждая из музыкальных «птиц» в стихотворении Б. Пастернака «Импровизация».

По вертикали.

1. Трудовой коллектив. 2. Застежка на мужской рубашке. 3. Ключ, родник. 4. Сельскохозяйственное ору-

дие разного назначения. 5. Веселый, разговорчивый человек, шутник. 6. Музыкальный инструмент, возникший из старинного французского шалюмо. 7. Деталь фотоаппарата. 9. Кустарник, в плодах которого до семидесяти процентов масла. 17. Совокупность надпалубных частей корабельной оснастки. 18. Особенность внутренней поверхности винтовочного ствола. 19. Представительница народа, раньше жившего в кочевых селениях — аалах. 21. Драгоценный камень, из которого сделан знаменитый бюст Траяна, некогда увезенный Наполеоном из Пруссии. 22. Куманика — это ...несская. 23. Итальянский порт на берегу Ионического моря. 24. Инструмент для тонкой обработки поверхности деталей. 25. Славянский бог «всей Руси» в отличие от Перуна — бога княжеской дружины. 26. Рыбацкий порт на севере Эстонии. 33. Пауза, перерыв, промежуток. 34. Мерило оценки. 36. Сто венесуэльских сентимо. 37. «Прощай, свободная ...! В последний раз передо мной ты катишь волны голубые и блещешь гордою красой» (А. Пушкин. «К морю»). 38. Рельефная кладка или облицовка стен грубо обработанными камнями. 39. Незаменимый прибор на русском чайном столе. 40. Прием операторского искусства при киносъемках. 41. Произведение искусства из нескольких частей, но на одну тему.

**ОТВЕТЫ
НА КРОССВОРД,
НАПЕЧАТАННЫЙ
В № 12**

По горизонтали.

7. Канова. 9. Монако. 11. Рокки. 13. Жерлянка. 14. Трамплин. 15. Гипюр. 18. Форма. 19. Шаламов. 20. ...монах... 22. Чижов. 24. Детвора. 28. Вахтанг. 31. Сельдь. 32. База. 33. Прямоук. 35. Лакрица. 36. Илот. 37. ...Ленька. 38. Норейка. 42. Сосунок. 45. Пульс. 48. Циник. 49. Задушки. 50. Хомяк. 52. Рокер. 54. Фроттола. 55. Ярошенко. 56. Штамп. 57. Инженю. 58. «Инония».

По вертикали.

1. Варламов. 2. Сосна. 3. Карагач. 4. Дмитров. 5. Ункас. 6. Экспромт. 8. Экипаж. 10. Реноме. 12. Дизайн. 16. «Илиада». 17. Юмор. 21. Креолка. 23. Казаков. 25. Триер. 26. Осмий. 27. Алкоа. 28. Вальс. 29. Хакас. 30. Анион. 34. Бельше. 39. Офиура. 40. Египтяне. 41. Худо. 43. Уложение. 44. Оляпка. 45. Парашют. 46. Лукиан. 47. Скрябин. 51. Хорей. 53. ...горох.

**ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ
«СМЕНЫ» —
МОСКВИЧИ И ЖИТЕЛИ ПОДМОСКОВЬЯ!**

Если вы хотите и впредь читать наш журнал, но не имеете возможности платить лишние деньги почте за доставку или киоскерам, продающим «Смену» с большой наценкой, приезжайте к нам в редакцию, и мы подпишем вас с любого номера по цене, указанной в каталоге. При этом у вас будет стопроцентная гарантия, что вы получите журнал в срок.

Более подробную информацию об условиях подписки мы даем по телефонам:

257-30-55, 212-15-07.



**ВЛАДИМИР БОРОВИКОВСКИЙ. Портрет А. Г. Гагариной и В. Г. Гагариной.
(Читайте стр. 122)**

ИНДЕКС 70820



Музыкальная антенна представляет:

Наталья
Ветлицкая